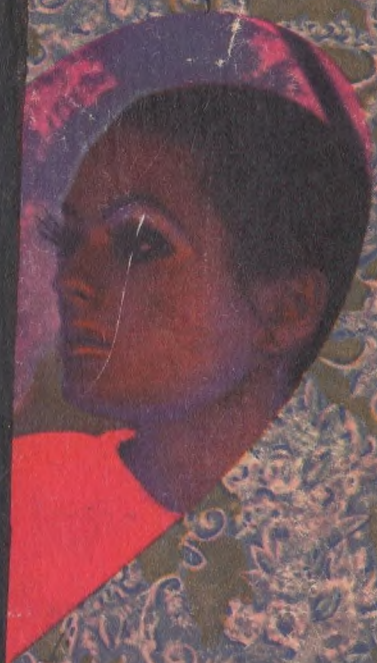


МЭРИ МАККАРТИ



ОКИНЬ ХОЛОДНЫМ ВЗГЛЯДОМ





Mary McCarthy



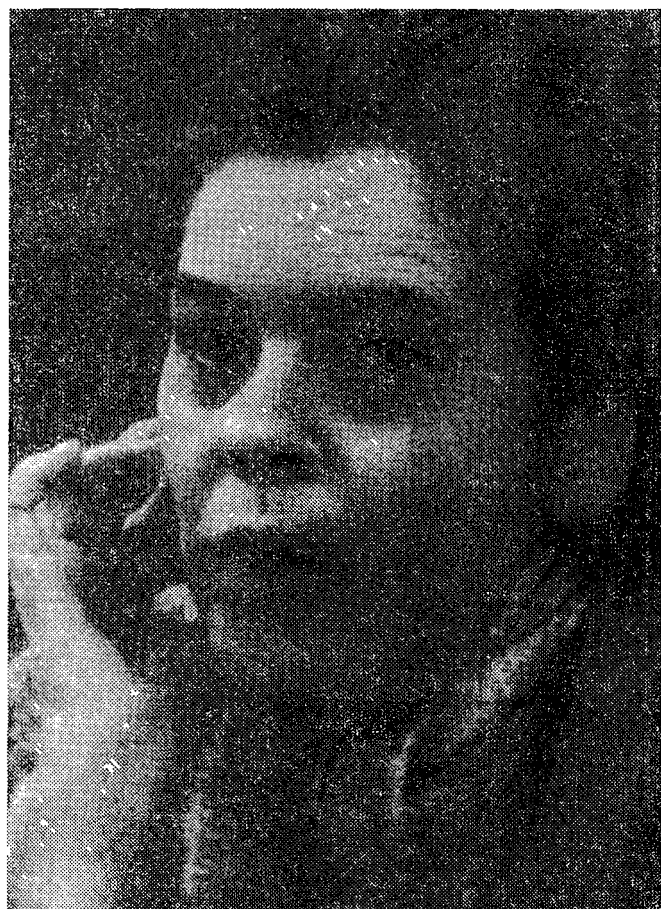
CAST
a COLD EYE



Мэри Маккарти
ОКИНЬ
ХОЛОДНЫМ
ВЗГЛЯДОМ

И (Амер)
М15

Перевод с английского Ю. Родман
Редактор перевода Е. Короткова
Художник И. Блиох





ВЬЕТНАМ

МЭРИ МАККАРТИ И УВИДЕННЫЙ ЕЮ ВЬЕТНАМ*

О вьетнамской войне Соединенных Штатов Америки написано много — о ней писали люди разных, порою противоположных взглядов, как побывавшие во Вьетнаме, так и не видевшие этой истерзанной и героической земли. И это понятно. Ведь вьетнамский очаг, разожженный империализмом Соединенных Штатов, — крупнейшая после второй мировой войны и самая длинная война, которую вела Америка за всю свою историю. Это опаснейший очаг международной напряженности, влияние которого сказывается далеко за чисто географическими пределами вьетнамской земли. Девять лет этой войны обошлись Соединенным Штатам, по неполным официальным подсчетам, более чем в 300 тысяч убитых и раненых американских солдат и офицеров. Более миллиона вьетнамцев были убиты, миллионы ранены и изувечены американскими бомбами и снарядами, пулями и напалмом — в своих деревнях и за колючей проволокой явных и замаскированных концлагерей. Сотни тысяч продолжают томиться в тюрьмах и концентрационных лагерях на одной пятой южновьетнамской земли, остающейся под контролем интервентов и марионеточного сайгонского режима.

Кто, во имя чего развязал эту войну? Что в действительности происходит в Южном Вьетнаме? За чьи интересы воюют и гибнут американские парни? Как относятся ко всему этому сами вьетнамцы? Нельзя ли найти выход из создавшейся обстановки? Эти вопросы задают многие американцы, которым дороги справедливость, свобода и независимость.

Известная американская писательница Мэри Маккарти в своих очерках пытается дать ответ на эти вопросы, описав все, что она увидела и пережила в Южном Вьетнаме весной 1967 года. Ее небольшие по объему очерки, все больше отдаляющиеся от нас быстротекущим временем, тем не менее представляют большой интерес для всех, кто пытается разобраться в событиях, происходящих на южновьетнамской земле.

В этих очерках нет или почти нет ничего о боевых сражениях, бомбардировках, и все-таки они о войне, а точнее, об оборотной, но не менее важной ее стороне — я имею в виду ярко описанные американской писательницей встречи с американскими и прочими интервентами на оккупированной ими территории, рассказ о деятельности агентов Центрального разведывательного управления США и его южновьетнамских наемников; рассказ о сайгонском марионеточном режиме, погрязшем в пресмыкательстве перед Вашингтоном, в предательстве на-

* Очерки М. Маккарти о Вьетнаме печатаются в сокращенном виде.

циональных интересов и коррупции. Все это показано убедительно, я бы сказал, крупным планом.

Мэри Маккарти удалось вскрыть подоплеку широко рекламируемой Пентагоном и ЦРУ «программы умиротворения» сельских районов, проводимой на временно оккупированной территории, и рассказать об этом читателям. А ведь надо напомнить, что американско-сайгонские каратели возлагают на эту программу большие надежды в деле военного разгрома сил национально-освободительного движения Южного Вьетнама.

И еще на один момент в очерках Мэри Маккарти хотелось бы обратить внимание читателя. Американской писательнице одной из немногих удалось побывать в скрытых и открытых концлагерях (по неполным данным, в них за колючей проволокой содержится более 200 тысяч политических заключенных) и дать потрясающий своей правдивостью рассказ, который звучит как обвинение, как суровый приговор.

Следует отметить, что Мэри Маккарти, гневно осуждая разбойничью войну Соединенных Штатов, принимает активное участие в том бурном антивоенном движении, которое продолжает за последние годы набирать силу в Америке.

Но вместе с тем хотелось бы обратить внимание и на то, что, заявляя во весь голос свое «нет!» преступной войне США во Вьетнаме, американская писательница в своих очерках оставляет в стороне вопрос о своем отношении к силам национально-освободительного движения в Южном Вьетнаме. Ее больше интересует, как добиться того, чтобы Соединенные Штаты ушли из Вьетнама, оставив Вьетнам вьетнамцам, чем то, по какому пути пойдет дальше развитие этой страны.

В очерках очень мало сказано о национально-освободительном движении, и чаще всего мимоходом, устами интервентов и их прислужников. В этом, мне кажется, сказывается известная ограниченность писательницы, которая занимает, по существу, пацифистские позиции.

В связи с этим хотелось бы напомнить читателю ряд важнейших вех в истории борьбы вьетнамского народа против американского вмешательства в дела Вьетнама.

Второго сентября 1945 года в Ханое известный революционер, коммунист Хо Ши Мин провозгласил рождение на месте бывшей французской колонии Демократической Республики Вьетнам — первого государства рабочих и крестьян в Юго-Восточной Азии. За короткий срок народно-демократическая власть установилась по всей стране от Ханоя до Гуэ и Сайгона. Французские колонизаторы силой оружия попытались восстановить утраченное господство. К концу 1946 года война заполыхала по всей стране. На оккупированной интервентами территории создается марионеточный режим во главе с бывшим императором Бао Даем. Но республика не сдавалась, и ее вооруженные силы постепенно вновь захватили военную инициативу. В марте 1950 года на помощь французским колонизаторам пришел Вашингтон. Американские воен-

ные суда появляются у оккупированного Сайгона. И тогда на улицы Сайгона 19 марта выходят 500 тысяч демонстрантов. Они несут лозунги: «Янки, убирайтесь вон!» Корабли были вынуждены уйти в открытое море. И тем не менее США продолжали поддерживать грязную войну. К тому времени, когда были подписаны Женевские соглашения (июль 1954 года), Соединенные Штаты оплачивали около четырех пятых всех расходов французских колонизаторов и их марионеток на грязную войну против ДРВ.

Женевские соглашения, явившиеся результатом героической борьбы вьетнамского народа и могучего движения международной солидарности, положили конец войне, признали за страной право на независимость, свободу, единство и территориальную целостность. Вьетнам был временно — до всеобщих выборов, намеченных на лето 1956 года, — разделен по 17-й параллели на две части. Однако окопавшиеся на юге реакционные силы, за спиной которых стояли США, сорвали всеобщие выборы и взяли курс на длительный раскол страны, на создание в Южном Вьетнаме проамериканского сепаратного режима. На сторонников Женевских соглашений и мирного объединения страны обрушились жесточайшие репрессии. Южный Вьетнам покрывался сетью концлагерей и тюрем, в которые были брошены сотни и сотни тысяч патриотов.

Но борьба не прекращалась. В январе 1959 года в одном из районов Южного Вьетнама состоялось совещание руководителей революционных организаций, на котором было принято решение развернуть широкое движение за свержение марионеточного режима и изгнание империалистов США из Южного Вьетнама.

К концу 1960 года под контролем патриотических вооруженных сил находилась уже треть территории Южного Вьетнама. 20 декабря 1960 года был создан Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама, объединивший организации, оппозиционные американским интервентам и их прислужникам. С января 1960 года Пентагон ведет официальный подсчет своим потерям на южно-вьетнамском фронте. Однако вооруженное вмешательство Вашингтона уже не может спасти положение. К концу 1964 года НФОЮВ контролирует более двух третей страны.

И в феврале 1965 года Вашингтон принимает решение резко расширить вооруженную интервенцию в Южном Вьетнаме, без объявления начать пиратскую войну против ДРВ. В 1967 году (именно в разгар этих событий Мэри Маккарти и побывала в Южном Вьетнаме) пентагоновские генералы еще надеялись, что мощью американского оружия им удастся сломить становой хребет Вьетконга (или вьетнамских коммунистов; так окрестила империалистическая пропаганда национально-освободительное движение в Южном Вьетнаме).

Но планам империалистов не суждено было сбыться.

С весны 1968 года народные вооруженные силы освобождения переходят в контрнаступление по всему фронту. В 1968—1969 годах в освобожденных и партизанских районах, которые занимают уже три четверти территории Южного Вьетнама, организуются демократические выборы в народно-революционные советы общин, уездов и провинций, создаются на местах органы народной власти.

Шестого июня 1969 года на территории, контролируемой патриотическими силами, было провозглашено образование Республики Южный Вьетнам и сформировано Временное революционное правительство РЮВ. 26 государств, в том числе СССР, официально признали Временное революционное правительство и установили с ним дипломатические отношения.

Во всем мире ширится движение против агрессии США во Вьетнаме. И в этой явно неблагоприятной для него ситуации Вашингтон вынужден был прибегнуть к ряду маневров.

Тридцать первого октября 1968 года президент США объявил о безоговорочном прекращении пиратской войны против ДРВ. В январе 1969 года, после многомесячных проволочек, официальные представители Соединенных Штатов сели за стол четырехсторонних переговоров с представителями ДРВ и РЮВ для обсуждения вопроса о политическом урегулировании вьетнамского вопроса. В начале 1969 года Вашингтон заявил о своем намерении постепенно вывести свои войска из Южного Вьетнама, однако все это сопровождалось такими оговорками, которые позволили бы в любой момент отказаться от провозглашенного курса. Более того, сама программа, получившая название «деамериканизации» или «вьетнамизации», по существу, лишь предусматривает продолжение войны иными средствами — с более значительным использованием «пушечного мяса» марионеточных войск. Мира она не обеспечивает. Впрочем, и с выводом своих войск Пентагон тоже явно не спешит — за первые шестнадцать месяцев было выведено лишь около 115 тысяч солдат и офицеров.

Парижские переговоры тоже пока еще ни к чему не привели, так как делегация США упорно уходит от обсуждения ключевых вопросов.

Агрессия Соединенных Штатов продолжается. И поэтому очерки Мэри Маккарти, писательницы и гражданки США, добивающейся прекращения этого империалистического разбоя, безусловно, актуальны и важны сегодня, они помогают вести борьбу за мирное небо над многострадальной и героической землей, за прочный мир во Вьетнаме.

Иван ЩЕДРОВ
Апрель 1970 года, Вьетнам

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА



На бангкокском аэродроме война встретила пассажиров «Эр-Франс» сильным запахом бензина, отчего мы то и дело потягивали носом воздух, пока, словно члены какой-то делегации, завтракали за длинным столом, посредине которого торчал, как наше знамя, флажок «Эр-Франс». Снаружи, за решетчатой оградой, вытянувшись в линию, будто в салоне магазина, стояли новенькие, с иголки, американские бомбардировщики, за которыми виднелись огромные бензоцистерны фирмы «Эссо». На самом аэродроме, в нескольких ярдах от нашего «боинга-707», готовились к взлету американские грузовые самолеты, американские вертолеты порхали в воздухе вперемишку с ласточками, американские военные грузовики подвозили грузы. Откровенность происходящего ошеломила.

— Мне казалось, что они постараются это как-то замаскировать, хотя бы из-за туристов, — сказала я немецкому корреспонденту.

Как только «боинг-707» поднялся в воздух и направился к Сайгону, туристы, летевшие в Токио и Манилу, смогли любоваться охваченными огнем холмами Южного Вьетнама, поглощая прохладительные напитки, поданные стюардессой. Сверху эта картина наводила на мысль о лесных пожарах: невозможно было поверить, что здесь только что пролетели бомбардировщики. Сайгонский аэропорт был забит военными самолетами; в «гражданском» секторе, где мы приземлились, пассажирский реактивный самолет принимал на борт джонни, улетающих отдохнуть и поразвлечься на Гавайях. Присутствие Америки чувствовалось на каждом шагу, и, хотя мы читали об этом и знали, что здесь, как принято говорить, идет война, зрелище американского могущества, попирающего чужую землю с равнодушием капрала,

поставившего сапог на ящик чистильщика, производило гнетущее впечатление.

— Они даже не пытаются этого скрывать! — твердила я про себя, как будто выставленная напоказ грубая мускульная сила нуждается в покрове стыдливости.

Но через несколько часов ощущение, что происходит нечто удивительное и невероятное, пропало; на следующее утро, проснувшись в номере гостиницы и увидав в своем блокноте слово «скрывать», я не могла понять, что имела в виду (подобно тому, как невозможно расшифровать запись своего сна, сделанную сразу после пробуждения), и недоумевала, почему эта ничем не прикрытая откровенность должна уязвлять мою национальную гордость.

Пока мы в гуще других машин добирались до центра Сайгона, я пережила еще одно потрясение, оказавшись в городе, который выглядел вполне американским и ничуть не отличался от любого захолустного городка на западном побережье, в котором есть китайский квартал и некоторое количество азиатского населения с раскосыми глазами. На каждом шагу нам попадались не только военные машины всех образцов и видов, но и «шевроле», «крайслеры», «мерседес-бенцы», «фольксвагены» и «триумфы»; повсюду — американцы в спортивных рубашках и немнущихся брюках. Эта гражданская оккупация поражала еще больше, чем военная. Для американцев сегодняшний Сайгон гораздо менее экзотическое место, чем Флоренция или площадь Согласия. Новые дешевые административные здания современного типа, кишачие раздраженными запыхавшимися секретаршами и их вашингтонскими боссами, обложены мешками с песком и охраняются военной полицией; новенькие пастельных тонов коттеджи, предназначенные в аренду американцам, или еще строятся, или уже начинают облупливаться и выцветать. Даже убрав мысленно мешки с песком и пулеметы и вновь насадив деревья, срубленные, чтобы расширить дорогу на аэродром, человеческое воображение не в силах воссоздать картину «старого» Сайгона. Сейчас он напоминает гигантское военно-торговое предприятие. Чуть ли не все американцы несут коричневые бумажные сумки для покупок, полные виски и сладостей; все одеты в клетчатые рубашки, в нагрудных карманах которых сверкают ряды шариковых ручек. Какой-то пожилой человек в шапочке с козырьком выгружает из стоящего перед коттеджем автомобиля клюшки для гольфа, а его белокурая жена в ярком ситцевом платье, с очками, висящими на шее, стоит рядом, уперев руки в бока, и наблюдает за работой.

Одежда самая непринужденная, как в местах отдыха; белые рубашки и галстуки носят только местные жители. Вьетнамцы — старики и мальчики — в широких конусообразных шляпах, разъезжающие на велосипедах с коляской (современная разновидность рикш), вьетнамки на высоких каблуках, в тончайших платках местного покроя розового, бледно-лилового или пурпурного цвета, надписи и приветственные лозунги на вьетнамском языке только подчеркивают принадлежность Сайгона к Соединенным Штатам, придавая окружающему «местный колорит» и создавая впечатление, что вы находитесь в китайском ресторане где-нибудь в Сан-Франциско или в японском сакияти под раскачивающимися бумажными фонариками, где еду подают женщины в кимоно, а вы сидите на циновках и шутки ради пытаетесь есть палочками.

Пожалуй, больше всего Сайгон похож на никогда не успокаивающийся Лос-Анджелес с его пригородами — Голливудом, Венис-Бичем и Уотсом. Вдоль улиц Ле Лой и Нгуен Хюэ все еще стоят прилавки, но товары, которыми здесь торгуют, довольно необычны для Азии. Предметов местного производства почти нет, за исключением цветов, кое-каких продуктов питания и шуток в канун Нового года, ну и, конечно, кукол-сувениров. Уличные торговцы и дети носят лотки с американскими сигаретами и сетки с бутылками виски: Джонни Уокер, Хэг энд Хэг и Блэк энд Уайт (которое идет по ценам черного рынка, если виски украдено из гарнизонной лавки, или по дешевке, если оно поддельное); рекламы агентств по продаже автомобилей расхваливают «триумфы», «сандербердсы», «эмджи» и «корветты», «которые можно приобрести здесь или в Штатах на выгодных условиях». Вьетнамцы победнее разъезжают в «хондах» и «ламбреттах».

В Сайгоне есть фотолаборатории, мастерские, где можно проявить киноплёнку, сшить европейский костюм, почистить одежду, починить радиоприемник и телевизор, есть установки для кондиционирования воздуха и пишущие машинки «Оливетти», комиксы, «Тайм», «Лайф», «Ньюсуик», свежие газеты — доставка авиапочтой. Среди игрушек, предназначенных для вьетнамских детей (американцы, как правило, оставляют своих жен и детей в Штатах), можно увидеть обычные американские перочинные ножи, револьверы и ремни из искусственной кожи с кобурами, правда, ковбойские костюмы и индейские военные уборы из перьев мне не попадались. Фармакология процветает: молодые вьетнамки из высшего общества поступают в фармацевтические школы, чтобы потом открыть аптеку, а на огром-

ном рекламном щите над одним из зданий, окружающих центральную рыночную площадь, изображен улыбающийся белозубый негр — может быть, бывший сенегальский стрелок, — советующий всем покупать зубную пасту «Хинос».

Если днем Сайгон представляет собой что-то вроде огромной гарнизонной лавки, то вечерами, когда над головой переливаются бесчисленные огни, он напоминает международную ярмарку или выставку в каком-нибудь американском захолустье. К вашим услугам китайские рестораны, множество французских ресторанов (что не удивительно), но, кроме них, есть рестораны «Дольче вита», «Вильгельм Телль» и «Паприка» (испанский ресторан на крыше дома, где подают паэлью и сангрию). Единственная национальная кухня, которой американцы не интересуются, — это вьетнамская. В феврале в Сайгоне гастролировал немецкий цирк. В Тёлоне, местном китайском квартале, изготавливают «французское» вино. Что касается ночных клубов, то, если бы не официантки, можно было бы подумать, что находишься на пароходе, совершающем кругосветное путешествие; chanteuse * из Сингапура поет через микрофон модные когда-то французские, итальянские и американские песенки; итальянский фокусник похищает часы у пожилого вьетнамца из публики, а когда подают торт, джаз исполняет «Поздравляю с днем рождения» **. «Порок» в Сайгоне, во всяком случае, по моим наблюдениям, так же пресен, как в журнале «Плейбой».

Что же касается добродетели, то однажды в воскресенье я зашла в кафедральный собор на площади Джона Ф. Кеннеди (смесь готического и романского стиля с легкой примесью мавританского) в надежде услышать мессу на вьетнамском языке. Вместо этого я попала на проповедь, посвященную проблеме женской одежды, которую американский священник ирландского происхождения прочел перед большой группой белых прихожан, состоящей из солдат, строительных рабочих и газетных корреспондентов; кроме них, на скамьях сидели несколько женщин — секретарш из посольства и других американских учреждений — и очень немного вьетнамцев, мужчин и женщин, принадлежащих к средним слоям населения. Оказалось, что я попала на «американскую» мессу, начавшуюся в полдень. Вьетнамские отслужили утром. Вначале священник заявил, что не станет говорить присутствующим здесь женатым мужчинам

* Певца (франц.).

** Традиционная песня, исполняемая в честь именинника в Америке и Англии. (Здесь и далее примечания переводчика.)

о том, что ежегодное изменение длины юбок является «травмирующим опытом» для женщин, после чего он сравнил современные центры моды — Нью-Йорк, Чикаго и Сан-Франциско — с древними религиозными центрами — Римом, Антиохией и Иерусалимом. Его мысль, как я поняла, заключалась в том, что различия между церковными обрядами (католическими, коптскими, армянскими, маронитскими — он их подробно обсудил) — это не более чем различия в модах. Что вынесли из этой католической мессы на английском языке по-воскресному нарядные вьетнамки, на чьей одежде не отразились потрясения, переживаемые «центрами моды», трудно сказать. Так же как трудно сказать, что вынесли из американской телевизионной программы для взрослых те вьетнамские дети, которых я видела в сиротском приюте южно-вьетнамской армии, где они смотрели телевизор, когда им давно пора было спать, не говоря уже о том, что некоторые из них были так малы, что ходили нагишом.

Сайгон страдает от смога; проблема уборки городского мусора здесь так же остра, как в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, кроме того, существует транспортная проблема, проблема несостоятельности властей, инфляции и юношеской преступности. Короче говоря, Сайгон отвечает всем требованиям современного западного города. Молодые солдаты не любят Сайгон с его высокими ценами и кабачками, где их постоянно обманывают и обкрадывают. Каждый пытается им что-нибудь продать или что-нибудь у них купить. Шестилетние мальчишки, прилипчивые, как мухи, хватают их за одежду.

— Пошли к моей сестре. Она у нас самая первая шлюха.

Чтобы оградить джонни от соблазнов — и выкачать из него побольше денег, — ему предлагают в гарнизонной лавке беспошлинные брильянты и норковые шкурки. (В тот день, когда я посетила это заведение, норок не было, но я видела шкатулку с брильянтовыми кольцами стоимостью до 900 долларов.) К сожалению, гарнизонная лавка — это тоже соблазн, соблазн заняться перепродажей. Солдата обманывают водители такси, его предупреждают, чтобы он не пользовался велорикшами (среди них могут быть вьетконговцы), и он может угодить во вьетнамскую тюрьму, как некоторые его дружки, которые попались на том, что делали то же, что и все, — занимались незаконными операциями с валютой. Если он направляется в центр города после наступления темноты, ему приходится прокладывать себе путь среди сбившихся кучками людей, которые тут же на грязной улице готовят пищу или спят. Чтобы

попасть из аэропорта в город, ему надо пересечь излучину реки, по берегам которой теснятся жалкие хибары, и со свойственным американцам юмором он окрестил это место холерной бухтой.

Военные считают Сайгон помойкой. Они предпочитают базовый лагерь, где по крайней мере чисто. Американский офицер, ведающий прессой, твердит одно и то же всем прибывающим корреспондентам:

— Убирайтесь из Сайгона. Вот вам мой совет. Уезжайте в районы боевых действий.

Как будто там, где идут сражения, воздух может быть чище.

Но в какой-то степени он прав. Процесс американизации выглядит оттуда менее неприглядно, во всяком случае для американцев, хотя его и освещает пламя напалма. К тому же там есть враг, которого можно уважать. Для многих солдат, участвующих в боях, и особенно для молодых офицеров, вьетконговцы — единственные вьетнамцы, которых стоит принимать в расчет. «Если бы на нашей стороне сражались они, а не эта проклятая армия Вьетнамской республики, мы бы выиграли войну» — это высказывание очень любят цитировать газетчики. Я сама ни разу его не слышала, но я убедилась, что об американцах во Вьетнаме можно судить по их отношению к Вьетконгу. Если американец называет северовьетнамцев «чарли» (смотри, например, у Джона Стейнбека), это или какой-нибудь потерявший голову штатский, или примитивное животное в мундире, или наивная жертва военной пропаганды. Настоящие солдаты и офицеры называют их вьетконговцами. Тот же кодекс чести принят и в южновьетнамских кругах; для вьетнамцев, обладающих чувством юмора, «вьетконговец» звучит почти как ласкательная кличка противника. Большинство американских военных высокого мнения о боевых качествах вьетконговцев, а самые умные из них (причем они далеко не самые лучшие) высоко ценят их «убежденность». Во второй половине нашего века американцы стали поразительно нелюбопытны, но вьетконговцам удалось пробудить любопытство людей, которые сражаются против них. Сидя в лагере, окруженном колючей проволокой и мешками с песком, американцы, отчасти забавляясь, отчасти восхищаясь, изучают их повадки; между ними и скрытым от их глаз врагом, который, возможно, как раз в эту минуту тщательно маскирует, мину-ловушку в нескольких стах ярдах от лагеря, протягиваются невидимые нити. Но они не достигают северовьетнамской армии, так как в этом случае контакты возникают реже. У военных есть все основания опа-

саться вьетконговцев, но те, кому не пришлось лично пострадать во время патрульной службы или увидеть собственными глазами, как идущий рядом товарищ гибнет от мины или снаряда, не питают к ним ненависти и не называют диверсантов в черной одежде чудовищами, как это принято в сайгонских канцеляриях.

К тому же там, где идут бои, о войне не разговаривают — там это свершившийся факт. Дело нужно довести до конца — таково общее мнение. В Сайгоне не верят, что война может когда-нибудь кончиться. В средних классах Сайгона никто не сомневается, что, если уйдут американцы, придут вьетконговцы; через два года, через пять, через десять лет, но придут, как они приходят в «умиротворенные» деревни в новогодние праздники, чтобы оставить, так сказать, визитную карточку — напоминание, что они по-прежнему здесь. И в то же время в самом Сайгоне выгода от присутствия американцев, или, иными словами, от войны, представляется более чем сомнительной, так как реальные последствия войны — разложение моральное и физическое — очевидны для всех. Американский солдат, трясаясь в «джипе» или на бронетранспортере, возмущается, видя всех этих азиатов в новеньких «кадиллаках». Он знает о коррупции, и часто из первых рук, так как сам вносит свою лепту в общее дело, когда берет взятки или обкрадывает управление международного развития или военные склады в порту. Ему кажется отвратительным, что местные продавщицы тащат что попало из гарнизонных лавок, а потом инсценируют забастовку, если заведующая выстраивает их в шеренгу и обыскивает перед тем, как они выходят из помещения. К тому же до него доходят слухи, что эти «обезьяны», как их называют некоторые американцы, копят деньги в банках Швейцарии или Франции.

Всегда, конечно, были люди, которые наживались на войнах, но это никогда не делалось так откровенно, так напоказ. То, что эта война не повлекла за собой, казалось бы, неизбежных тягот: введения карточной системы, обычных нехваток, затемнения, делает ее особенно аморальной и будничной в глазах тех, кто должен жертвовать своей жизнью — во имя чего? Во имя того, чтобы сайгонцы и другие штатские могли наживаться без зазрения совести? Солдаты и офицеры тоже наживаются, но это не мешает им видеть, что делается в Сайгоне, скорее даже наоборот. Атмосфера жертвенности действует возбуждающе, именно это возбуждение и опасность рождают веселость в столицах военного времени. В Сайгоне невесело. Странная осо-

бенность Сайгона заключается в том, что, несмотря на множество молодых солдат, слоняющихся по улицам, и множество молодых журналистов, охотящихся за новостями, Сайгон кажется таким пожилым, застывшим, равнодушным и скучным. Я думаю, это связано с тем, что все интересы сайгонцев сосредоточены на деньгах — единственной ценности, постоянно находящейся в движении, подобно затхлому воздуху, циркуляцию которого поддерживают в гостиницах и учреждениях вентиляторы под потолком и специальные кондиционные установки.

Говорят, что войну нельзя выиграть ни в Сайгоне, ни на поле боя, а только в деревнях и деревушках. Эта идея, теперь уже достаточно приевшаяся (она появилась на свет во времена Дьема, и с тех пор ее неоднократно переименовывали: «Новая жизнь деревни», «Сельское строительство», «Контрповстанцы», «Создание нации», «Революционное развитие», «Программа завоевания умов и сердец»), эта идея является главным источником вдохновения для множества миссионеров — гражданских и военных, — которые рассматривают свою деятельность как крестовый поход. Не только как крестовый поход против коммунизма, а осуществление некой положительной программы. В пятидесятые и в начале шестидесятых годов война изображалась как выгодное помещение капитала. Налогоплательщиков убеждали, что, преградив сейчас дорогу коммунистическому движению во Вьетнаме, они избавятся от необходимости бороться с ним потом в Таиланде, Бирме и т. д. Это была теория домино, от которой теперь наши ведущие государственные деятели, не боясь попасть в смешное положение, старательно отрещиваются в комиссиях конгресса, так что вдруг оказалось, что у этой теории никогда не было сторонников. Предложение сделать крупный вклад, чтобы в конечном счете сэкономить деньги, естественно, нашло отклик среди наций домовладельцев, но сейчас американцы уже не так уверены в получении «своей доли» прибыли во Вьетнаме, так как ставки растут («Когда же они окупятся?»), а война с каждым днем становится все более жестокой и разрушительной. Вот почему началась «другая» война, объявленная президентом Джонсоном в Гонолулу, война, которая, по его словам, является стратегическим маневром, предпринятым, чтобы выиграть войну номер один, и вместе с тем неотложной жизненной необходимостью. И действительно, во Вьетнаме бывают такие моменты, когда «другая» война кажется единственной причиной присутствия американцев, и нашим официальным представителям, преисполненным гражданских чувств, она, разумеется, нравится гораз-

до больше, чем та, которую Америка ведет с воздуха. Американцы не любят выступать в роли разрушителей, а «другая» война — это созидание.

Чтобы увидеть «другую» войну, нужно, конечно, расстаться с Сайгоном, но перед отъездом вас попросят явиться в одно из новых административных зданий и расскажут о том, что именно вам предстоит увидеть. В штабе округа или штабе провинции кто-нибудь из военных снова расскажет вам то же самое, и часто все, что вам удастся узнать о «Новой жизни деревни», «Реконструированной деревне» и «Объединенной деревне», сводится к диаграммам, схемам, картам и условным обозначениям, которые демонстрирует с помощью указки какой-нибудь темпераментный полковник или бойкий чиновник, вручающий вам на память заранее отпечатанный текст, полный статистических данных и снабженный приложением о «терроре вьетконговцев». В письменном изложении и в форме диаграмм все это выглядит очень убедительно, особенно если вы в состоянии не обращать внимания на взрывы бомб, сбрасываемых с самолетов Б-52, и не замечать, как дрожат стекла и колыхнутся диаграммы. Чиновник, проводящий беседу, с энтузиазмом расскажет вам, какие успехи были достигнуты, когда, например, организации, подчинявшиеся раньше управлению международного развития, перешли в управление гражданских операций. Вы смотрите на диаграмму, висящую на стене комнаты, и не видите в ней ни логики, ни последовательности («Почему, — недоумеваете вы, — управление делами молодежи должно входить в сектор городского строительства?»), а чиновник потирает руки от удовольствия:

— Сначала мы организовали эту работу по вертикали. Сейчас мы организуем ее по горизонтали!

Он не скажет вам, что управление гражданских операций было создано главным образом для того, чтобы отвлечь внимание от некоторых аспектов деятельности ЦРУ.

В сайгонском тылу вам расскажут, что сделали силы «свободного мира» для общественного здравоохранения. И вы снова услышите доклад о блистательных успехах. В 1965 году во Вьетнаме работали 180 врачей из «свободного мира», в 1966 году их стало 700 — то есть примерно в четыре раза больше. Одновременно численность войск, о чем докладчик, конечно, не упоминает, возросла с 60 до 400 тысяч, то есть более чем в шесть с половиной раз. Увеличение численности войск, естественно, привело к увеличению числа мирных жителей, нуждающихся в медицинской помощи. Но об этом доклад-

чик тоже не говорит. Когда ему начинают задавать вопросы, он с некоторым раздражением признает, что мирные жители, пострадавшие в результате несчастных случаев, составляют от 7,5 до 15 процентов хирургических больных, лежащих в больницах. Какой процент среди них приходится на пострадавших от военных действий, ему неизвестно, так как он «не проявлял особого интереса к этому вопросу, о котором теперь столько шумят». И конечно, он никогда не интересовался, какой процент жертв несчастных случаев среди мирного населения вообще не попадает в больницы.

Так же бесполезно спрашивать его о том, что происходит с ранеными вьетконговцами, — об этой неприятной проблеме я не слышала ни слова за весь тот месяц, который я провела во Вьетнаме. Очень немногие из них находятся в госпиталях — кто-то из журналистов недавно видел их в Кантхо, — а мать морского пехотинца, погибшего во Вьетнаме, опубликовала в одной из техасских газет письмо своего сына, в котором рассказывалось, что он пережил, когда ему приказали вернуться на поле боя, чтобы добить выстрелами в голову раненых вьетконговцев (на что тут же последовало опровержение официальных представителей морской пехоты).

Американские власти на местах не проявляют беспокойства по поводу расхождения между общим числом раненых вьетконговцев и числом тех, кто находится в госпиталях: в мае в течение одной недели американцы оказали медицинскую помощь 225 раненым солдатам Вьетконга, в то время как к концу апреля число раненых с начала года составляло 30—35 тысяч человек.

Но — вернемся к «тылу» — помощь жертвам войны, оказывается, вовсе не входит в число тех медицинских задач, которые ставит себе «другая» война. Эта война проводится по программе мирного времени: укрепление медицинских школ, улучшение оборудования госпиталей, бесплатная передача медикаментов и антибиотиков (как я узнала из другого источника, местные сестры потом продают их пациентам, которым они назначены), контроль за эпидемическими заболеваниями — чумой и холерой, — распространение среди населения полезных гигиенических навыков. Американцы и их союзники обучают вьетнамцев, живущих в контролируемых правительством деревнях, кипятить воду, а их детей — чистить зубы. Они раздают зубные щетки и показывают, как ими пользоваться.

— Если к этому привыкнут дети, родители начнут им подражать, — разъясняет чиновник, занимавшийся до недавнего

времени вопросами социального устройства; по-видимому, он исходил из опыта первого поколения семей, эмигрировавших в Америку.

Во Вьетнаме широко применяются прививки против оспы и других инфекционных заболеваний среди населения, которое оказывается в пределах досягаемости; легче всего проводить эту работу среди беженцев и принудительно эвакуированных, которых можно выстроить в шеренгу и сфотографировать, пока производится проверка и выдаются справки — медицинские свидетельства политической благонадежности.

Все это делается не только на бумаге. В различных районах страны действительно можно увидеть медицинские отряды, разбившие прямо под деревьями временные поликлиники для недельного или двухнедельного «обслуживания на дому» какой-нибудь деревушки: здесь раздают лекарства, выстукивают, выслушивают, обрабатывают и перевязывают раны; наиболее распространенный диагноз — подозрение на туберкулез. В провинции Тайнинь я наблюдала за работой филиппинского отряда в одной буддийской деревне. Врач осматривал обнаженного по пояс изможденного старика.

— Очевидно, болен туберкулезом, — сказал он мне, черкая что-то на карточке, которую потом передал старику.

— Что же будет дальше? — поинтересовалась я.

Врач объяснил мне, что старик должен пойти в больницу, где ему сделают рентгеновский снимок (для этого и дается карточка) и, если диагноз подтвердится, его будут лечить.

Это произвело на меня впечатление. Но (как я узнала позже из очередной беседы) в Южном Вьетнаме всего 60 больниц примерно на 16 миллионов населения; поэтому, вернее всего, единственное, что получил старик от консультации под открытым небом, — это бесплатное предупреждение, что у него, по всей вероятности, туберкулез.

Через дорогу было установлено несколько зубоврачебных кресел, и врачи с большим успехом рвали зубы у женщин и детей всех возрастов. Я спросила, как обстоит дело с зубными щетками, о которых я слышала в Сайгоне. Майор-филиппинец рассмеялся:

— Да, мы их раздаем. Они играют с ними как с игрушками.

Некоторое время спустя я видела, как филиппинский генерал — очень красивый, высокий мужчина с наголо остриженной головой, похожий на Юла Бриннера, — раздавал новогодние подарки и сладости в сиротском приюте као-даистов и фо-

тографировался, обняв за плечи маленькую слепую девочку. За несколько часов до этого он был в католической деревушке и позировал, раздавая продовольствие — отходы «свободного мира» в виде консервированной свеклы. Эти фотографии, как мне объяснили, помогут добиться одобрения филиппинских акций в законодательном собрании в Маниле, где «левые» элементы пытаются заморозить финансирование вьетнамской операции. Войска этого генерала только что расчистили большой участок джунглей (мы обошли его в сопровождении конвоя, одетого в пуленепробиваемые жилеты и вооруженного ружьями и пулеметами на случай встречи с вьетконговцами) — на этом участке строилась деревня для беженцев из других районов. Школа была уже готова, но, когда мы остановились, чтобы ее осмотреть, к удивлению генерала, оказалось, что окружное начальство заняло ее под свою канцелярию. Этот отряд, возможно потому, что филиппинцы тоже азиаты, казался, вполне ладил с населением. В других местах — в Гонконге, в дельте Меконга — больные, по моим наблюдениям, относились к врачам с недоверием, и я слышала, что работавший там вьетнамский врач-гинеколог и испанские и американские медицинские отряды враждовали друг с другом. Мне и моему товарищу по путешествию сказали, что из всех «чужаков», включая врачей, живущих при больнице, мы были первыми, кого вьетнамский врач допустил в свои владения — самую чистую и самую современную часть больницы, где находилось родильное отделение, в котором лежала одна женщина. Так же ревниво вьетнамцы относились к немецкому медицинскому отряду в Гуэ. В довольно грязной хирургической палате гонконгской больницы лежало двое детей с тяжелыми ожогами. Я спросила у сопровождавшего нас ответственного чиновника, есть ли основания считать, что эти ожоги получены в результате военных действий. Ему пришлось признать, что, в общем, да. Я поинтересовалась, сколько всего в больнице раненых.

— Кажется, четверо детей, — сказал он и, подумав, прибавил: — Еще один старик.

Филиппинцы относились к программе мирного строительства довольно спокойно; возможно, потому, что они не принимали участия в боях (ох уж эти мне «левые» элементы в законодательном собрании!) и, следовательно, не должны были играть роль спасителей вьетнамского народа. Американцы, наоборот, настроены фанатически, особенно чиновники, сидящие в сайгонских канцеляриях, хотя в местах сражений тоже можно встретить правого американца, такого рыжеватого, подстри-

женного ежиком полковника с проникновенным взглядом, который жалуется на «сложности и трудности» осуществления задуманной программы и с радостью сообщает вам, что она наконец-то завоевала столь необходимую ей «поддержку низов». Узнать у этого человека, чем именно он занимается, обычно невозможно; на помощь приходит его адъютант и говорит, что их люди очищают территорию, чтобы там могли начать работу отряды научно-исследовательского управления, призванные, по словам полковника, выяснить, «чего хочет народ». Полковник не знает, проводилась ли земельная реформа в контролируемой им области — это касается только вьетнамцев, — и, по существу, вообще не представляет себе, кто и на каких условиях владеет охраняемой им землей. Зато он прекрасно умеет ладить с людьми: все его вьетнамские коллеги — полковник, который, будучи главой провинции, «сидит на двух стульях», мэр — отставной генерал — «чудесные, замечательные люди», а генерал морской пехоты, действующий в этом районе, — «один из самых замечательных людей и офицеров», которых ему приходилось встречать. Для другого армейского фанатика каждый вьетнамский офицер, с которым он имеет дело, — «выдающаяся личность».

Эти энергичные воины с пружинистой походкой и горящими глазами — военные или штатские, из управления международного развития или из управления объединенными действиями (занятого главным образом умиротворением) — пробуждают полузабытые воспоминания о тех президентах американских колледжей, которые отличались особым умением находить богатых жертвователей: их речь пересыпана остротами и оксюморонами («Когда разразится мир», «И вот ширпотреб пошел в наступление»), как речь президента колледжа, выступающего на торжественном обеде перед своими бывшими питомцами. Они считают себя воспитателями, насаждающими американский образ жизни, пропагандистами новой веры. Когда я в Сайгоне спросила одного из представителей управления гражданских операций, что делали его подчиненные во вьетнамской деревне, чтобы «подготовить» — это его слово — жителей к выборам, он коротко ответил:

— Разъясняли сто первый параграф гражданского кодекса. Мы пытаемся расшатать старую экономическую систему, основанную на товарообмене, и приобщить вьетнамцев к рыночной экономике. Тогда они действительно встанут на ноги.

— Мы обучаем их свободному предпринимательству, — торпливо объяснил нам американский чиновник в мрачном город-

ке Фукионге. Он говорил о «беженцах» из «Железного треугольника», выселенных в принудительном порядке из родных деревень, которые вслед за этим были сожжены и сровнены с землей во время операции под названием «Падающий кедр» («Расчищай и разрушай»). Всех этих людей — 1651 женщину, 3754 ребенка, 582 мужчин, по большей части стариков, — переселили в наспех построенный лагерь с домиками под железными крышами, покрашенными красной и белой краской, так что с воздуха они походили на гигантский красный крест. Крестьянам разрешали перевезти кое-какой скарб, а также горшки, кастрюли, свиней, цыплят и мешки с припрятанным рисом; принадлежавших им буйволов перевезли на баржах, и теперь они доживали свои дни на сухой песчаной равнине, поросшей редкой жесткой травой.

— Мы обучаем пленников, — возбужденно продолжал чиновник. — В этом залог нашего успеха.

Задача состоит в том, чтобы обучить крестьян свободному предпринимательству и, по всей видимости, 101-му параграфу гражданского кодекса, когда станет ясно, что они к этому «готовы». Пока же правительству приходится считать их «гражданами, враждебными режиму». Эти жены, дети и отцы мужчин, большинство которых, очевидно, сражаются на стороне Вьетконга, всего несколько недель назад возделывали рис. Теперь они должны приложить все старания к тому, чтобы научиться выращивать овощи, так как место, выбранное для их окончательного размещения, к несчастью, не годится для разведения риса. Насильственный отрыв от привычной жизни открыл перед этими бедными крестьянами заманчивые перспективы. Они смогут купить и построить свои собственные жилища по тому образцу и из тех материалов, которые заранее для них выбраны; 1700 пиастров даст им государство, все остальное — за их счет. Казалось бы, элементарная справедливость требует, чтобы им предоставили дома бесплатно, но мне объяснили, что это было бы неправильно; только вложив в эти дома свой труд и свои деньги, они будут считать их действительно своими. «Бог помогает тем, кто помогает себе сам» — эта великая заповедь всех работников социального обеспечения благодаря неистребимому самодовольству американцев превратилась на территории искалеченного войной Вьетнама в другую заповедь: «Соединенные Штаты помогают тем, кто помогает себе сам».

В лагере открыли школу. Из разговоров с родителями выяснилось, что больше всего им хочется, чтобы дети учились, так как они уже пять лет не ходят в школу. Я сказала, что мне

это кажется странным, потому что коммунисты обычно уделяют большое внимание образованию. Чиновник настаивал:

— Дети пять лет не ходили в школу.

Однако другой американец, один из молодых людей, действительно работавших в лагере, рассказал мне, что, как это ни странно, тамошние дети знали таблицу умножения и, по-видимому, были знакомы с буквами, чего он никак не мог объяснить. Он же говорил, что в одной из разрушенных деревень американцы наткнулись на тетради, из которых было видно, что кто-то учил школьников употреблению причастия прошедшего времени в английском языке, используя латинские образцы.

Возможно, когда их спрашивали, родители говорили то, что хотелось услышать американцам. Во Вьетнаме всюду, где, хотя бы только на время, прекращаются военные действия, армейские офицеры и офицеры морской пехоты с гордостью показывают школы, построенные или восстановленные их солдатами в деревнях, где они с ружьями на плечах несут патрульную службу. В Ратькиене в дельте Меконга (образцово-показательный проект Пентагона) я видела маленькую школу, о которой в январе 1967 года писал Стейнбек, и голубые парты, которые при нем красили солдаты. Парты по-прежнему стояли на солнце около школы, так как помещение все еще не было достроено, хотя с тех пор прошел уже месяц, — ждали материалов. Казалось, что в этой деревне, как в сказке о Спящей красавице, жизнь внезапно остановилась в тот роковой день, когда ее посетил Стейнбек; с тех пор здесь ничто не изменилось. Само собой разумеется, что набросанная Стейнбеком картина призрачного поселения, возвращающегося к гражданской жизни, вызывала лишь улыбки у принимавших его здесь офицеров: «Ему помогло воображение». В других деревнях я видела достроенные школы и даже одну работающую.

— В школе грязь, — рывкнул дежурный полковник на перепуганного директора, одного из работников «Революционного развития», утверждавшего, что он первым перевел Перл Бак на вьетнамский язык.

Это один из примеров бестактности американцев, хотя, по существу, воинственный полковник был прав. Один молодой вьетнамец, занимающийся проблемами социального устройства, печально сказал мне, что ему хотелось бы, чтобы американцы перестали строить школы.

— Как они не понимают, что у нас нет учителей.

Тем не менее эта маленькая, выкрашенная в кремовый цвет школа очень важна для американцев, так как без нее им труд-

но закрыть глаза на то, что наши войска делают во Вьетнаме, и по этой же причине солдатам очень важно верить в то, что во вьетконговских деревнях школы находятся под запретом.

Если вы спросите какого-нибудь младшего офицера, ради чего мы воюем во Вьетнаме, он ответит не задумываясь:

— Ради того, чтобы наказать агрессоров.

Втягивать его в дискуссию о том, что такое агрессия и чем она отличается от защиты (бухта Кучинос, Доминиканская Республика, Гоа?), просто бесчеловечно, так как у него нет ни малейшего представления об этих вопросах.

Все дело в том, что молодой американец не подозревает, что он отравлен пропагандой, и ему, наверное, кажется, что он мыслит, произнося эту формулу. И все-таки есть некая общая идея, в которую он действительно глубоко верит, хотя и не всегда может ее сформулировать, эта идея — свободное предпринимательство. В представлении американца свободное предпринимательство — это родильные дома, канализация и водопровод, дороги, порты, школы, воздушные линии сообщения, виски «Джек Дэниэлс» и автомобили с откидным верхом. Это тот комплекс понятий, который составляет суточную дозу калорий, необходимую для поддержания его жизнедеятельности. Американские военные не совсем уверены, что свободное предпринимательство надо защищать с помощью бомбежек с воздуха, артиллерийских обстрелов и дефолиации (разве ему угрожает что-нибудь серьезное?), но они собираются выйти из войны, сохранив свои основные ценности в полной неприкосновенности. А это означает, что они должны распространять свои взгляды среди все большего и большего числа людей, пока каждый не убедится в преимуществах американского образа жизни, так же как в высокой сортности американских семян и в превосходстве американских свиней. Во многих случаях они открыто декларируют свои убеждения. К северу от Дананга рядом с военноморской базой построен комбинат мороженого, на котором большими буквами написано: «Комбинат мороженого. Провозвестник новой жизни».

Часто главным мотивом является выгода. Я летела в Гуэ на большом самолете С-130 и слышала, как пилот и помощник пилота говорили о своих личных целях в этой войне — они мечтали сразу после ее окончания нажиться на каком-нибудь вьетнамском земельном участке. Разглядывая с воздуха территорию Вьетнама, они обсуждали представлявшиеся возможности и решили, что «роскошные песчаные пляжи» в Нячанге подходят им больше, чем «пустыня» на берегу залива Камрань. Раз-

ногласия возникли только в вопросе о том, как лучше использовать эти земли: пилот считал, что нужно строить первоклассные гостиницы и дорогие виллы, а его помощник был убежден, что будущее за дешевыми домами. Мне казалось, что я слышу все это во сне, однако на следующий день в Гуэ я встретила полковника морской пехоты, который, уже побывав в отставке, вновь надел мундир; в свое время сражаясь в Японии, он разбогател на «освоении» Окинавы и вложил деньги в импорт (из Японии) замороженных креветок, которыми снабжал рестораны Сан-Диего. Война, эта дешевая форма массового туризма, открывает множество возможностей для предпринимателей.

...Необычайное внимание прессы и телевидения к этой войне, несомненно, заставляет ее участников чувствовать, что их «выставили напоказ», обязав участвовать в некоем театральном представлении.

Никому не хочется походить на чудовище, и меньше всего офицеру-протестанту, чувствующему, что ему досталась роль злодея, из-за того, что при распределении ролей во Вьетнаме произошла какая-то ужасная ошибка.

«Другая» война дает ему возможность как-то компенсировать зло, причиняемое бомбами, которые вопреки его желанию иногда все-таки обрушиваются на мирных жителей. Ведь он говорил им, чтобы они уходили; он сбрасывал листовки, в которых предупреждал о своем скором приближении и призывал чарли бросать все и переходить на другую сторону; позднее в умиротворенных районах он принимал даже такие меры предосторожности: прежде чем обстрелять или разбомбить какой-нибудь объект, просил деревенского старосту позаботиться о том, чтобы поблизости не было людей, дабы офицер, делающий ежедневные сообщения для прессы, мог пробубнить:

— Операция «Блокгауз». По сообщениям, сегодня ранено двадцать девять мирных жителей. Двое в тяжелом состоянии. Объект был избран с одобрения начальника округа.

Как же мало благодарят нашего военного героя за его невероятные усилия! Зато, занимаясь мирным трудом, он может показать свое настоящее «я» во всей его чистоте и подлинности. Вот почему он роет колодцы (очень неприятно пить солоноватую воду), чинит дороги («До нашего появления здесь была только тропинка через джунгли», — говорит капитан, хотя незадолго перед этим в другой части леса полковник, под начальством которого он работает, рассказывал, что его инженеры обнаружили великолепную мощеную дорогу, проложенную французами восемь-десять лет назад) и строит дом для вдовы.

вьетконговца (до сих пор не смилившейся со своей потерей; на это нужно время).

Американские офицеры в районах боевых действий становятся вдруг необычайно сентиментальными, как только начинают размышлять о том, какое доброе дело они делают и сколько еще хлопот доставят им местные жители, одураченные Вьетконгом. Генерал морской пехоты, ведавший транспортом и снабжением 9-го военного округа, с глубоким волнением рассказывал, как его люди помогают восстанавливать жилые дома для беженцев, используя обрезки досок и листовое железо (обычно для этого применяются картонные коробки и расплющенные жестянки из-под пива), в свободное время сколачивают парты для школы, жертвуют свои рождественские деньги на постройку новой средней школы, разрабатывают проект новой рыночной площади. Морская пехота подарила Вьетнаму детскую больницу, и в этой больнице — вон там, прямо по дороге («Дорожные знаки вас приведут», — он произносил это почти как «денежные знаки») — лежала маленькая девочка, раненная во время одного из рейдов морской пехоты.

— Мы ее выхаживаем, — произнес он нараспев и сделал паузу, как священник, привыкший в этом месте слышать «аминь»; офицер службы внешней информации трижды кивнул.

В больнице я попросила разрешения повидать девочку.

— Она уже дома, — сказал тот же офицер. — Мы ее выхаживали.

На самом деле девочка была все еще в больнице, хотя ее раны действительно почти зажили.

Молодой, голубоглазый, очень красивый врач в форме морского пехотинца переходил от кровати к кровати, рассказывая, чем болен каждый ребенок и что сделано для его выздоровления. Среди детей был только один раненый, остальные страдали от дистрофии (наиболее распространенное заболевание), кожных болезней и глистов; у одного было большое сердце, у двух тяжелые ожоги от неосторожного обращения с печью и у одного, в инфекционном отделении, чума.

Джон Морган рассказал в лондонской «Санди таймс» о маленькой вьетнамской девочке, жившей по соседству с демилитаризованной зоной, — может быть, в каждом батальоне есть такая девочка? — которая пострадала от пуль морских пехотинцев («Ранена на войне, — торжественно повторял генерал, — ранена на войне») и которую однажды вечером у него на глазах при свете прожекторов, освещавших ее перевязанные ноги, внесли на носилках на какой-то вечер, где пе-

хотинцы совали ей сладости и долларовые бумажки и фотографировались рядом с ней; ему говорили, что у нее больше кукол, чем в магазине Мейси, и что девочку «вконец избаловали». Избаловать ребенка, раненного по вашей вине, и вернуть родителям, наградив куклами, чтобы они напоминали ему о случившемся, — это добродетельный поступок только с точки зрения фарисея, так же как только фарисеи могут накормить ребенка досыта и отправить его домой, где он снова будет голодать. Молодой врач, поскольку он был врачом, по видимому, понимал, что «чудесное исцеление» его больных, с точки зрения медика, ответственного за свои поступки, не более чем жульничество; наверное, поэтому он и хмурился.

...Перед нами американские парни, и мы их сразу узнаём даже на фоне азиатского пейзажа, когда они сюсюкают с азиатским младенцем. Мы не узнаём их только в шлемах, когда они сидят в бомбардировщиках, сбрасывающих напалмовые бомбы на крытые соломой домики какой-нибудь деревушки. В эту минуту мы внезапно перестаём верить собственным глазам.

Расставшись с больницей, я села в «джип» и отправилась на юг, подпрыгивая на сиденье, хватаясь руками за что придется и глотая пыль; разъезженные и разбитые дороги были покрыты рытвинами и ухабами, как практически вся территория Вьетнама, раздавленная тяжестью американских грузов. Мы миновали военную прачечную — протянувшиеся на многие ярды веревки с темно-зелеными мундирами, развешанные около лачуг местных жителей, для которых эти мундиры означали деньги. Дальше по дороге был лагерь беженцев, но его посещение не было предусмотрено нашим планом. Насколько я поняла, как раз здесь находился «дом» тех детей, с которыми мы только что расстались. Каждая семья, живущая в лагере, получала от правительства по десять пиастров в день (шесть центов), иногда по двадцать, если в ней было двое взрослых. Над входом в лагерь кто-то сделал надпись на английском языке: «Они убежали от коммунизма».

Это было уже слишком. Детская больница рассказала нам то, о чем американцы изо всех сил старались забыть. Зачем же еще это жульничество? И кого хотели провести таким образом? Во всяком случае, не беженцев, так как они не умеют читать по-английски, к тому же, если это обычные беженцы, кто-то из них убежал от вьетконговцев, кто-то от американцев, а некоторые пришли в лагерь просто потому, что бомбежки или артиллерийские обстрелы разрушили их жилища.

Но ведь и не журналистов, которые прекрасно все понимают. Кто бы ни сделал эту надпись, старательно выводя каждую букву, бравый морской пехотинец или штатский, он употребил свою дьявольскую хитрость только на то, чтобы обмануть самого себя.

ЖЕРТВЫ УСПЕХА



Вылетев из Сайгона на вертолете, вы тут же становитесь свидетелем бомбежек; в какую сторону вы направились, это практически безразлично. Как только кончается зона пригородных огородов, вы замечаете что-то странное: вначале вам кажется, что внизу горят костры, вроде тех, которые обычно жгут ранней осенью; густой дым поднимается с полей и свертывается кольцами над небольшими рощами. На западе широкие черновато-коричневые полосы свидетельствуют о последних достижениях в области дефолиации; красновато-коричневые — это результат прошлогодней деятельности. Когда вертолет снижается так, что едва не задевает верхушки деревьев, и его пулеметы занимают боевое положение, приглядитесь к этим кострам — и вы сумеете отличить рисовое поле, подожженное крестьянами, от дымящихся объектов бомбежек. Но новичок еще ни в чем не может разобраться и в страхе отказывается верить собственным глазам, чтобы не сделать слишком поспешных выводов. Однажды утром, во время полета над дельтой я увидела знакомые кольца дыма, лениво поднимавшиеся от земли, и едва успела напомнить себе, что нельзя торопиться с выводами («Еще ничего не известно»), как заметила небольшой самолет, который описал несколько кругов, потом нырнул вниз, сбросил бомбы и, сделав красивый разворот, снова начал бомбежку; вспыхнуло пламя, и новый, более темный столб дыма потянулся вверх. На некотором расстоянии два маленьких самолета кружились в небе, как комары под потолком комнаты. Они ожидали своей очереди. Мы продолжали полет.

Вернувшись во второй половине дня в Сайгон, я ожидала услышать о «моих» двух воздушных атаках на пресс-конференции, ежедневно устраиваемой для нас в пять часов вечера, но о воздушных налетах в этом секторе не было сказано ни слова — слишком обычная вещь, чтобы о них упоминать, за-

метил кто-то из репортеров. В течение одного наугад выбранного дня (день рождения Вашингтона) военно-воздушные силы совместно с частями морской пехоты зарегистрировали 460 вылетов «для поддержки наземных сил» в Южном Вьетнаме; стоит какому-нибудь подразделению попасть в трудное положение, как оно тут же обращается за помощью к авиации. Помимо того, что поджоги и взрывы, которые они, в свою очередь, вызывают, засчитываются как «очко» в местах напряженных военных действий, вся территория Вьетнама постоянно страдает от пожаров, ставших, кажется, такой же естественной частью пейзажа этой страны, как могильные холмы на рисовых полях и пастбищах. Обуглившиеся участки земли, которые вы видите, возвращаясь в середине дня из очередного полета, — это еще тлеющие остатки утренних пожаров, а новые дымки, так мирно свертывающиеся в спираль, — свидетельства дневной работы. И зловещая пара рысущих в небе самолетов (они, видимо, всегда держатся парами, как агенты ФБР) воспринимается во Вьетнаме почти как неизменная принадлежность светлого времени суток.

Сами сайгонцы не подозревают о размерах постигшего их бедствия, потому что они не располагают необходимыми транспортными средствами и не могут посмотреть на свою страну с воздуха; они только видят, что на улицах спят беженцы, и слышат, как Б-52 сбрасывают бомбы в нескольких милях от них. Наблюдая за войной с воздуха, из гущи «скайрейдеров», «суперсейбров», «фантомов», самолетов-наблюдателей и самолетов, ведущих психологическую войну (они сбрасывают листовки), вы спрашиваете себя, сколько еще может продержаться Вьетконг; страна так мала, что при существующих темпах разрушения ее жители скоро лишатся возможности прятаться даже под водой, дыша через соломинку. Экипажи самолетов и вертолетов внимательно следят, не шевельнется ли что-нибудь на полях, в лесах и устьях рек; напряженно нагнувшись вперед, они пристально вглядываются в землю. А по ночам появляются летающие чудовища, изрыгающие осветительные ракеты и стреляющие из пушек.

Самолеты кажутся вездесущими, как око господне, и создается впечатление (ложное, будем надеяться), что под их испепеляющей тенью скоро все будет сровнено с землей, предано огню и лишено естественного покрова. Наказание тоже может быть тотальным. Один корреспондент возбужденно описывал, как он летел на маленьком самолете, а внизу ехал на велосипеде вьетнамец, который вдруг остановился, посмотрел на небо,

слез с машины, поднял ружье и выстрелил; пилот покарал его, сбросив весь свой груз напалма, достаточный для уничтожения целого взвода. В этой ситуации любой честный человек не может не стать на сторону велосипедиста, но понятие чести просто атрофировалось у американцев, находящихся во Вьетнаме, хотя оно и считается характерной чертой англосаксонской расы. Когда мы слышим о терроре вьетконговцев, у нас вытягиваются лица, но мы все забываем, что Вьетконг не обладает самым мощным средством террора — воздушным флотом, который, по крайней мере над территорией Южного Вьетнама, действует почти безнаказанно. Победа в этой войне была бы ужасным несчастьем для нашей страны.

В конце февраля личный представитель президента Джонсона объявил собравшимся в Сайгоне корреспондентам, что в то время как десять месяцев назад основные трудности для Соединенных Штатов были связаны с «жествами покаяния» (читай: «жертвами поражения»), сейчас они связаны в основном с «жествами близкого успеха». У этого Меркурия с Мэдисон-авеню, бывшего агента ЦРУ, губы растягивались как резина; он завершал свою молниеносную поездку по стране, поэтому, отвечая на вопросы, откровенно смотрел на часы и хмурился; через час или около того ему предстояло перенестись в Вашингтон. Среди перечисленных им «жертв успеха» значились и беженцы. Столь стремительное превращение пассива в актив очень характерно для современного подхода Америки к вьетнамской проблеме.

Надо сказать, что потерпевшие поражение французы не знали этих трудностей. Один прямодушный полковник морской пехоты так и заявил на командном пункте своей батареи:

— Мы сами плодим беженцев. Когда вьетнамцы воевали с французами, никаких беженцев не было и в помине. Днем они воевали, а вечером расходились по домам.

Сейчас всё переменялось. В начале февраля сотрудник управления гражданских операций подсчитал, что в настоящее время беженцы составляют 10 процентов всего населения — полтора миллиона человек, считая с января 1964 года, по его данным. После каждой новой операции американцев их число, естественно, увеличивается. Но технические средства, позволившие создать рекордное количество бездомных людей и оказавшиеся в этом смысле значительно эффективнее наводнений и землетрясений, могут быть использованы в совершенно иных целях; когда возникает реальная опасность каких-то чрезвычайных осложнений, с помощью этих же средств проводятся меро-

приятия, направленные на спасение людей и одобренные милосердием в духе Красного Креста. В таком исключительном положении оказались в январе жертвы операции «Железный треугольник» в количестве 8 тысяч мирных жителей, число которых каким-то образом «сократилось» затем до 5987 человек, размещенных в лагере в Фукуонге.

Совершенно очевидно, что назвать их беженцами в точном смысле этого слова нельзя (словарное определение: «Беженец — человек, оставляющий свой дом или свою страну, чтобы найти убежище в другом месте во время войны, из-за политических или религиозных преследований» и т. п.). Они не убежали от бомбежек, хотя Б-52 могли бы заставить их это сделать; они оказались в лагере, потому что войска Соединенных Штатов планомерно предавали огню их жилища. Хорошо еще, что благодаря мировой прессе и телевидению никто не посмеет сказать, что эти люди «проголосовали ногами», присоединившись к «свободному миру». Им даже не понадобились ноги; они были доставлены в лагерь на армейских грузовиках или лодках. И здесь начинается рассказ о том, как воодушевление и предприимчивость превращают пассив в актив, причем вовсе не с помощью словесных ухищрений, а благодаря конкретным действиям, которые говорят сами за себя. Американцы сделали решительную попытку создать в противовес неблагоприятному общественному мнению другое, благоприятное для них мнение. Они изменили свой облик, как часто делают водевильные актеры, наспех переодеваясь тут же за кулисами.

Я хочу быть честной. Конечно, когда принималось решение проявить особую заботу об этой группе «беженцев», чисто человеческие соображения тоже играли определенную роль. В армии наверняка нашлись люди, которых глубоко поразили поступавшие сверху приказы о проведении операции «Падающий кедр», и не только поразили, но и возмутили. Вполне вероятно, что советники Джонсона искренне сожалели о тех мероприятиях, которые они считали необходимыми с военной точки зрения для «приближения конца войны», для «спасения жизни американцев» или во имя какой-нибудь другой идеи. Во всяком случае, в Вашингтоне решили с помощью этих «беженцев» восстановить справедливость.

И эта деятельность приносит плоды. Лагерь в Фукуонге превратился в выставочный зал. Корреспондентов и других посетителей доставляют сюда на военных вертолетах — это недалеко от Сайгона, — чтобы каждый мог осмотреть его собственными глазами. Лагерь полностью доступен для обозрения, и во-

преки тому, что может подумать подозрительный человек, здесь никто не пытается вас обмануть. В зависимости от желания вы можете расспрашивать *évacués** с помощью местного переводчика или привезти переводчика с собой и разговаривать без посторонних. Военные грузовики ежедневно доставляют в лагерь свежую воду, и солдаты перекачивают ее в специальные резервуары. В тот день, когда я приехала, внезапно испортился насос, но тут же появившийся полковник инженерных войск почесал рыжеватую голову, призвал на помощь свою американскую смекалку и починил его.

— Эти люди привыкли жить около реки, они тратят столько воды... — сказал мне один из молодых надзирателей.

В лагере построены примитивные уборные. Руководители пытаются научить своих подопечных не присаживаться на корточки около хижин, собирать мусор в специально отведенные для этого места, а не раскидывать его на дороге, и не расплескивать воду, набирая ее из резервуара. Инструкции на вьетнамском языке развешаны на каждом шагу.

В полдень один из работников «Революционного развития», одетый в черную куртку и черные брюки, наблюдал за раздачей риса. В лагере разрешена свободная торговля; как мне было сказано, это внове для оказавшихся там крестьянок и стариков. Из города приезжают торговцы, продают свежие овощи и покупают излишки консервов и концентратов, накапливающиеся у жителей этого лагеря, так как, кроме питания, они получают плату за выполняемую ими работу и деньги на благоустройство своих новых жилищ. Вначале торговцы обманывали крестьян, не знающих рыночных цен на американские продукты, но американцы быстро положили этому конец. «Беженцы» осваивают производство кирпичей, из которых они выкладывают основания своих будущих домов; они используют глину, воду и небольшое количество цемента и изготавливают кирпичи по американскому способу, известному под названием «синварам». Во Вьетнаме эти безобразные серые кирпичи встречаешь буквально на каждом шагу, всюду, где американцы занимались «умиротворением». Управление международного развития подарило лагерю шесть телевизоров, и руководители лагеря надеются, что со временем им удастся несколько изменить программу передач — стриптиз, который показывали из Сайгона, оказался «некоторым потрясением» для отсталых крестьян

* Эвакуированных (франц.).

смотревших передачу с маленькими детьми на руках. Американцы утверждают, что все строительные работы производились силами Вьетнама, а они только советовали, снабжали материалами и обеспечивали ежедневный подвоз воды.

«Беженцы» жалуются на жару; в их деревнях, расположенных на берегах рек, было много тени, а здесь не растет ни кустика; вся территория лагеря покрыта спекшейся пылью, которую то и дело взметают вверх прибывающие вертолеты и военные грузовики. «Беженцы» жалуются, что скот болеет, что у них украли часть риса, который они так берегли. Но лагерное начальство утверждает, что это неверно; переселенцев специально предупредили, чтобы они тщательно пометили мешки, им не на кого пенять, если это не было сделано и мешки без меток затерялись при переезде и не попали к владельцам. «Беженцы» жалуются на скверное обращение работников «Революционного развития», которым поручено наблюдать за ними — по одному зеленому юнцу на каждый многосемейный барак, — на то, что к ним подсылают шпионов — мера, которую лагерное начальство считает необходимой для предотвращения попыток вражеской агитации, утверждая, что все находящиеся в лагере так или иначе связаны с Вьетконгом и какие-нибудь затесавшиеся среди них смутьяны могут воспользоваться недовольством по различным мелким поводам и организовать забастовку. Кое-кто из этих смутьянов уже известен начальству, и относительно их будут приняты соответствующие меры; со временем разделяются и с остальными.

Но начальник лагеря, молодой квакер, считал, что в целом дела идут хорошо. Сто пятьдесят семей из первых лагерных поселенцев уже согласились работать на каучуковой плантации, что поможет немного разгрузить лагерь. Строится и новое жилье. К его удивлению, визит представителей Всемирной организации здравоохранения сошел благополучно. Пока они не уехали, он суеверно держал пальцы крест-накрест, чтобы в этот день не вспыхнула забастовка, которая могла бы сильно повредить лагерю. Он надеялся, что работников, которых не любили за скверное обращение, скоро заменят. Женщинам, чьи мужья считались хой тянь (беженцами) и содержались в соседнем лагере тиеу хой, скоро разрешат переехать к ним, и тогда семьи воссоединятся и устроят заново свою жизнь. Самое замечательное, что после новогодних праздников снова откроется школа, у малышей один раз уже были занятия. Встречаясь с начальником лагеря, дети посмелее прикасались к его одежде и со смехом убегали; его здесь любили. Но когда приземлился

военный вертолет, я увидела, что группа ребят, ходившая за нами следом, вдруг в страхе разбежалась.

Этот скромный и в меру откровенный молодой человек не рассуждал о том, почему его подопечные оказались в лагере. Это касалось прошлого, а его интересовало настоящее. Поглощенный повседневной работой, он, как, по-видимому, и другие официальные лица, не задумывался о том, что еще можно было сделать с этими мирными жителями, после того, как было принято решение очистить от них так называемый «Железный треугольник». Не могли же американцы просто согнать их всех в одно место, сгрести в кучу, как мусор, и оставить умирать с голоду. Что-то нужно было предпринять, и предпринять быстро, чтобы не возмутить общественное мнение. То, что было сделано, является похвальным только в сравнении с прямой жестокостью. Но когда вы смотрите на происходящее глазами сентиментального чиновника, вам кажется, что жестокость искуплена («школьные парты!», «шесть телевизоров!»), потому что ее последствия оказались не такими ужасными, как можно было ожидать. Рассказывая «трогательную» историю Фукыонга, офицеры отдела пропаганды истекали от нежности, говоря об измотанных боями американских солдатах, которые своими собственными руками помогали этим несчастным перевозить их жалкий скерб и скот, — великолепный материал для телепередачи, изобилующий знакомыми юмористическими эпизодами, с хрюкающими свиньями, кудахтающими курами и сержантом, выступающим в роли повивальной бабки.

Главные герои фукыонгской эпопеи — это американская смекалка, американская щедрость и «дядя Сэм» с карманами, набитыми конфетами. Но, как и многих других благодетелей, «дядю Сэма» не понимают. Пригласив нас к себе на обед, местный чиновник, ведавший делами прессы, с негодованием и удивлением говорил о статье в «Нью-Йорк таймс», посвященной Фукыонгу. Репортер опросил нескольких беженцев, записал то, что они сказали, и даже процитировал слова одной женщины, жалеющей, что она не умерла.

— Но ведь это же естественно, — заметила я. — Американцы убили ее мужа, она лишилась своего дома и всего своего достояния.

— Репортер не должен был останавливаться на этом факте, — возразил чиновник, явно чувствуя себя оскорбленным, — это создает неверное представление о лагере в целом.

— Ваше счастье, если только одна женщина из пяти сожалеет о том, что она не умерла, — сказала я.

Но мне не удалось его переубедить. Он продолжал повторять, что репортер поступил нечестно. Ему очень хотелось верить, что все беженцы, находящиеся в лагере, счастливы.

Эта нелепая точка зрения очень распространена, хотя не всегда декларируется так открыто. Сидя на своих командных пунктах, расположенных в только что отвоеванных вьетконговских деревушках, над которыми развевается южновьетнамский флаг, американцы хотят видеть вокруг себя улыбающиеся лица и слышать гул возрождающихся ремесел и торговли. Во время медицинского осмотра в недостроенной амбулатории играет военный оркестр, чтобы местные жители бодро и весело принимали лекарства; если никто не явится, работник психологического фронта очень удивится. Когда в какой-нибудь деревушке, куда мало-помалу возвращаются крестьяне, начинает функционировать рынок, это считается хорошим знаком («судьба нам улыбается»), хотя совершенно непонятно, как могла бы жить эта кучка вернувшихся людей без рынка, на котором они обмениваются овощами, рыбой, рисом и утками. Тем не менее люди, завоевавшие деревушку, считают открытие рынка доказательством того, что жители симпатизируют армии или морской пехоте.

Конечно, эта кампания по завоеванию друзей проводится не случайно. Наши стратеги очень хотят, чтобы крестьяне приходили к симпатичному капитану и сообщали о готовящейся атаке вьетконговцев, а заодно рассказывали что-нибудь о своих соседях, которых капитан подозревает в сочувствии тем же вьетконговцам. Какой-нибудь энергичный офицер, с удовольствием потирая руки, сообщит вам, что жители его района начали помогать американцам — слова «сотрудничать» он избегает, — но что он хочет этим сказать — неясно. Может быть, он радуется тому, что кто-то из стариков донес на соседа (вероятно, своего личного врага), так как для него это означает, что положение стабилизируется, а может быть, потому, что видит в этом поступке доказательство дружеского расположения к своему отряду. Иногда преобладают, по-видимому, именно эти последние соображения, особенно если офицер относится к тем служакам, которые считают, что они обеспечивают безопасность деревни даже тогда, когда на самом деле они заботятся о безопасности своих людей. Эта сложная система самообмана восходит, очевидно, к давним войнам с индейцами, когда индеец, хорошо относившийся к белым людям, считался не только хорошим индейцем, но и выдающейся личностью.

Разумеется, среди солдат, сражающихся во Вьетнаме, есть

и такие, которые считают, что хороши только мертвые вьетнамцы. Им нет дела до улыбок, их интересуют лишь результаты, объявляемые в военных сводках. Это те морские пехотинцы или парни из других частей, которые равнодушно смотрят, как солдат южновьетнамской армии избивает пленную девушку. Подобные сцены — свидетелем одной из них оказался пожилой художник, делавший наброски на военные темы, который в тот же день рассказал мне о случившемся, — позволяют затянутому в мундир молодцу, дымящему сигаретой или перекатывающему во рту очередную порцию жевательной резинки, презирать всех вьетнамцев без исключения.

Если вы скажете какому-нибудь ответственному американскому чиновнику, что лагерь в Фукуонге — это выставочный зал, он возмутится. И хотя вы совершенно правы, американцам неприятно это слышать, потому что вы черните их намерения. А они не могут допустить, чтобы кто-нибудь относился нехорошо даже к их намерениям. Если вы скажете, что это не более чем опытный проект, возражений не последует. Но считать Фукуонг концентрационным лагерем они не согласны, хотя на самом деле это, конечно, так: люди согнаны туда насильно, всех их держат за колючей проволокой, подвергают допросам и подсылают к ним осведомителей. В сознании наших чиновников термин «концентрационный лагерь» прочно связан с фашизмом и заставляет вспоминать о тюремщиках, изготавливающих абажуры из человеческой кожи, а американцы знают, что ничего подобного в Фукуонге не происходит. Они терпеливо объясняют вам, что колючая проволока защищает лагерь от вьетконговцев. Но если сами «беженцы» тоже вьетконговцы, трудно себе представить, что их мужья и отцы станут обстреливать лагерь из минометов или забрасывать его ручными гранатами.

Фукуонг, конечно, никоим образом не является типичным лагерем для беженцев, что бы ни думали по этому поводу различные ответственные лица, занимающиеся проблемой беженцев. Утверждать противное также бессмысленно, как говорить, что резиденция мистера Лоджа (теперь мистера Банкера) типичное вьетнамское жилище. Я считаю, что подвоз свежей воды уже ставит его в особое положение, не говоря об уборных, о школе, электричестве, телевизорах, выгребных ямах, новеньких железных крышах, сравнительно приличном питании, возможности зарабатывать деньги, более или менее обставленных жилищах и детях, одетых в новые американские пижамы, подаренные, наверное, каким-нибудь добровольным обществом. Возможно, что существуют другие лагеря для беженцев, где есть что-

либо подобное, но я о них не слышала. Я могу только рассказать о лагере, который находится на севере около Хойана, куда я попала благодаря немецкому добровольческому отряду католиков, членов Мальтийского ордена, которые, пробыв во Вьетнаме несколько месяцев, загорелись желанием показать мне лагерь, казавшийся им типичным. Они не повезли меня в лагерь, которые считали самыми скверными, потому что туда было слишком трудно добраться, так что я думаю, что, кроме специальных медицинских отрядов, «самых скверных» лагерей вообще никто не видит.

Я познакомилась с этими молодыми немцами в Гуэ, в университетском городке, в доме у немецкого профессора-медика, организатора медицинской школы; это был настоящий немецкий вечер с вьетнамским шнапсом, свежим подсахаренным имбирным лимонадом, записями Шумана, воспоминаниями о Ясперсе (доктор был его студентом в Гейдельберге) и перелистыванием художественных альбомов в поисках образцов баварского рококо и двойных церквей, характерных для Рейнской области. На следующее утро, в воскресенье, молодые люди показали мне местный лепрозорий, который они пытались привести в порядок и как-то благоустроить, — утопающий в грязи одноэтажный барак, в прошлом, наверное, коровник или свиарник, а теперь место обитания семидесяти прокаженных и их семей. Немцы провели электричество, замостили часть грязного двора перед самым баракom, вымыли стены внутри помещения. Они говорили, что, пока там живут прокаженные, больше ничего нельзя сделать. Вольфганг — высокий, рыжеволосый, круглолицый радиоинженер из Кельна — оглядывал проржавевшие дырявые сетки на окнах, запятнанные стены, грязный пол, темные спальни, где теснились женщины (проводка не в порядке, как он заметил), и только вздыхал. Потом он вывел меня наружу и показал переполненную выгребную яму, устроенную рядом с маленькой комнатой, в которой ели прокаженные. Тошнотворный запах человеческих экскрементов доносился из переливавшейся через край помойки и соседней с ней уборной. Тут же у ямы была устроена кухня, где разогревалась какая-то пища, а рядом высилась мусорная куча. Несколько цыплят гордо шагали по мусору, и две-три утки плавали в грязной воде, скопившейся в канавке посреди двора. Вольфганг и его друзья были обескуражены. Директор местной больницы не одобрял их деятельность.

— Что вы заботитесь о прокаженных, — говорил он. — Они все вьетконговцы.

Молодые мальтийцы, юноши и девушки, решили переселить прокаженных в лучшее помещение. Они получили разрешение использовать старый больничный флигель, который городские власти собирались снести, отремонтировали его, провели электричество, окрасили (снаружи оно было теперь бледно-песочного цвета) и поставили вентиляторы, причем вентиляционную установку им пришлось самим купить на стороне, так как директор больницы пытался продать им старую по цене, которая, как оказалось, превышала рыночную стоимость новой. Но вскоре после того, как работа была доведена до конца, в один из уикендов вентиляционная установка была украдена — больничным электриком, как подозревает полиция. Все пришлось начинать сначала, а прокаженные тем временем ютились в старом грязном бараке, где по установившейся во Вьетнаме традиции они жили целыми семьями вместе со здоровыми детьми, включая также, как по секрету сказал мне Вольфганг, одного или двух человек, притворявшихся прокаженными и поселившихся в лепрозории, чтобы иметь возможность сдать внаем свои домишки, — довольно безопасный способ извлекать незаконные доходы.

Прокаженные ежедневно получали бесплатно порцию риса, немного мяса и иногда бананы.

— Разве этого довольно, — говорил Вольфганг, покачивая головой.

В небольшой мастерской некоторые из них изготавливали для продажи большие светлые конические шляпы, которыми славится Гуэ. Наше посещение совпало с новогодними праздниками, во время которых никто не работает; мужчины — у некоторых на руке не хватало пальца — играли в карты, женщины лежали или сидели скорчившись на своих деревянных кроватях без постельного белья, одна из них умирала. Прокаженные показали нам маленькие буддийские и католические алтари, которые они сами украсили в честь Нового года.

Напоследок члены ордена устроили короткую экскурсию в местный дом для умалишенных, называющийся психиатрическим отделением городской больницы. Здесь условия были еще хуже, чем в лепрозории. Несколько здоровых детей бродили по грязной, неприбранной женской палате, где лежали их больные матери, какая-то женщина в состоянии депрессии выла, сидя на своей койке. Разъеденные ржавчиной сетки от насекомых, засиженные мухами стены. Полное отсутствие обслуживающего персонала, никто из больных не умыт и не причесан. Перед входом в палату буйных валяются в грязи старые консервные

бабки. Кто-то из сумасшедших разглядывал нас сквозь замочную скважину; палата была заперта, и в нее никто не мог войти, потому что, по крайней мере в тот день, служитель отсутствовал. По словам мальтийцев, раньше, когда правительство держало здесь своих политических противников, обстановка была еще хуже.

Посещение лепрозория и психиатрической больницы оказалось для меня хорошей подготовкой перед осмотром временных лагерей для беженцев, которые мне показали на следующий день в Камтяу недалеко от Хойана. Первый из них существовал около шести месяцев и насчитывал 1500 человек. Миновав вместе с врачом-немцем ряды бараков, мы подошли к небольшому — 10—15 футов шириной — утиному пруду, где среди консервных банок и других отбросов действительно плавало несколько утят. Таковы были водные ресурсы лагеря — 700 человек пользовались этой водой для питья, стирки и готовки; никакой другой воды у них не было. На другом конце лагеря, разделенного на две части, находился еще один утиный пруд, быть может, чуть большего размера, которым пользовались остальные 800 человек. В лагере отсутствовали самые элементарные удобства; женщины и дети присаживались на корточки у нас на глазах, мусор валялся прямо перед бараками с земляным полом и крышами из старой, мгновенно загоравшейся соломы. Тем не менее 12 января в «Репортере» была опубликована успокоительная статья, родившаяся, очевидно, вся целиком во время очередной пресс-конференции и сообщавшая, что д-р Кве, «врач по образованию», возглавляющий Вьетнамский комитет по делам беженцев, «выработал стандарты санитарного и медицинского обслуживания для лагерей беженцев». Правда, каковы эти стандарты, автор статьи не указывал.

О нищете и убожестве этого первого лагеря трудно рассказать отчасти потому, что глаза отказывались вглядываться в окружающее из уважения к тем, кто вынужден терпеть подобные унижения. Женщины, собравшись кучками у дверей бараков, провожали нас взглядами, некоторые подходили к врачам и просили лекарства. Но большинство просто смотрело на нас, делая вид, что их не смущают наши взгляды. В лагере свирепствовали кожные болезни, особенно среди детей, и почти у каждого мы видели лишай, больные глаза, характерные признаки недоедания, испорченные, окрашенные бетелем зубы, от которых у многих остались лишь маленькие обломки. Большинство беженцев (как обычно, это женщины, дети и несколько стариков) были грязны — да и как они могли вымыться? В Фу-

кыонге дети носили американские хлопчатобумажные или льняные пижамы, здесь на них были надеты старые, рваные, выцветшие тряпки. Каждая семья ежедневно получала десять пиастров на питание и изредка немного риса, что, по словам доктора, не обеспечивает минимума, необходимого для поддержания жизни. Некоторые семьи заводили маленькие огороды; на грядках, беспорядочно разбросанных тут и там, росли среди мусора салат, капуста и горчица. Это было некоторое подспорье. Кроме того, мы видели несколько свиней, цыплят и утят. Но если не считать того, что время от времени они могли копаться на огороде, у всех этих людей не было ни работы, ни полей, которые они могли бы обрабатывать, — ничего.

...Другой лагерь, который мне показали, был разделен на три части: католическую, буддийскую и каодаистскую; всего в нем размещалось 4500 человек. Он существовал уже больше года и считался лучшим. Действительно, здесь в бараках были железные крыши и цементные полы; огороды занимали значительно больше места, а ряды рассады — салата, капусты, горчицы, бобов, лука, помидоров — аккуратнее посажены и лучше ухожены. В лагере начали появляться руководители из среды самих беженцев. Но вода и здесь была проблемой. В конце концов беженцы вырыли колодец. Когда мы проходили мимо него, врач нагнулся и принюхался. У него на лице появилась гримаса.

— Гнилая?

Он кивнул.

— Они кипятят воду, когда готовят пищу?

— Мы им говорили. Стараемся следить, чтобы они это делали... — Он пожал плечами.

В этом лагере было немного больше свиней, поросят, цыплят и утят; на соседнем поле паслось несколько принадлежащих беженцам буйволов. Но здесь тоже всюду была грязь. Уборные отсутствовали, и мы снова видели людей, страдающих от кожных и глазных болезней, покрытые грязью чесоточные язвы, вздутые животы, обтянутые кости, рахитичных детей. В лагере не было школы, и беженцам негде было работать, за исключением крошечных участков земли между рядами барачков. Некоторые выращивали на этих делянках цветы ноготки. Врач, человек лет за пятьдесят, по-видимому, считал, что в католической части лагеря положение лучше, чем в буддийской, но я не заметила никакой разницы. Дети в этом лагере были более дисциплинированы, чем в предыдущем, где врачу приходилось довольно грубо кричать на них, чтобы они

перестали меня щипать и толкать, причем это отнюдь не было игрой; хорошо еще, что они не бросали в меня камнями, как это делали ребята в одной «умиротворенной» деревне, едва только отворачивался сопровождавший меня офицер.

Мы не видели каодаистскую часть лагеря, потому что врачу сказали, что в соседней деревне кто-то заболел чумой, и он отправился туда. Одна из немок караулила у входа, пока я ходила в уборную в штабе провинции (там не было ни запора на двери, ни света). Нам предстоял долгий путь назад в Дананг на большой автомашине Красного Креста. На обратном пути я сказала главе мальтийцев, рейнскому барону, что, хотя в «лучшем» лагере условия тоже достаточно тяжелые, по-моему, они не так уж сильно отличаются от условий жизни в тех деревнях, через которые мы проезжали, и всех других, которые я видела во Вьетнаме. Не считая отсутствия воды.

— Воды и работы, — добавил барон.

В остальном разница не так велика. Болели в лагерях теми же болезнями, что и в деревнях, хотя в лагерях скученность способствовала вспышкам эпидемий. И, не имея работы, люди хуже питались.

Я заметила, что внутри деревенских домов иногда бывает очень чисто, но снаружи всегда та же грязь и мусор, что и в лагерях. Я хотела выяснить, всегда ли во Вьетнаме жили подобным образом. Барон не мог ответить на этот вопрос. Вьетнамцы считаются трудолюбивым народом, и мне казалось неправдоподобным, чтобы они веками жили в таких условиях. Создавалось впечатление, что это падение общей культуры произошло в самое недавнее время, так же как падение грамотности: согласно Дональду Ланкастеру, английскому историку, занимавшемуся Индокитаем, до прихода французов сельское население Вьетнама было грамотным, но в течение XIX века французам удалось полностью искоренить это зло.

Одно, во всяком случае, ясно. До прихода американцев никто не видел на вьетнамской земле ни ржавых банок из-под кока-колы и пива, ни пустых бутылок из-под виски. Их принесли с собой американцы. Это те не поддающиеся разрушению отбросы массового производства, которые теперь плавают в болотах и ручьях, валяются на полях и лежат вдоль дорог, уродуя эту некогда красивую страну.

Раньше «естественные» отбросы жизнедеятельности человека и животных — рыбы и цыплячьи кости, рисовая шелуха, сухой бамбук, яичная скорлупа, очистки овощей, экскременты — поглощались землей как компост. «Американский об-

раз жизни» принес с собой промышленные отбросы, которые обезображивают азиатский пейзаж и не ассимилируются азиатской почвой.

Только в Гуэ, в этой старой императорской столице Аннама, можно увидеть иной Вьетнам — полный чувства собственного достоинства и меланхолии, — такой, каким он был до прихода американцев. Там почти нет автомобилей, вдоль берегов Душистой реки стоят почерневшие сампаны, женщины в национальной одежде несут две традиционные корзины, раскачивающиеся на перекинутой через плечо палке. Причина ясна — в Гуэ нет американских войск, это город-пария. Его держат на особом положении, чтобы наказать за вооруженные выступления и демонстрации во время буддийских волнений в мае — июне 1966 года, когда разъяренные студенты сожгли библиотеку информационной службы США. И в наказание за те же грехи по-прежнему высится почти в самом центре города обгорелый остов библиотеки, образуя своеобразный мемориальный комплекс под названием «Вы сделали это своими руками». Несколько американских чиновников, оставшихся в Гуэ, — два-три человека из управления гражданских операций, один из управления прессы, один из ЦРУ — живут в отдельных домах, охраняемых низкорослыми вьетнамскими полицейскими (для присмотра за флигелем прокаженных полицейского не нашлось), и указывают на почерневшие руины с неизменным чувством удовлетворения: Гуэ провинился, и, следовательно, на него не распространяются блага американской культуры. Они сообщают это таким мрачным тоном, что можно подумать, будто речь идет о вечных уроках Освенцима или Бухенвальда. В университете считают, что было бы разумнее отстроить здание библиотеки, но американцы пока упорно отклоняют все предложения такого рода. Тем не менее некоторые черты американской культуры в более широком смысле этого слова можно найти и в Гуэ. Как-то в воскресенье я увидела трех молодых, вооруженных револьверами штатских, похожих на старателей с берегов Юкона; они высаживались из автомобиля недалеко от усыпальниц императоров, где в то утро вьетнамцы медленно прогуливались под зонтиками вокруг юоб и прудов с водорослями, подернутых бледно-зеленой ряской. Трое мужчин прошли в ворота, неся одну из тех бумажных сумок-пакетов, в которые упаковывают покупки в гарнизонных лавках (я заметила этих людей еще накануне в гостинице, где мне сказали, что это техники-строители, приехавшие, наверное, из базового лагеря в Фубае); сумка была доверху наполнена бан-

ками с пивом. Подойдя к могилам и пагодам, охраняемым изваяниями богов и каменными слонами, каждый из них поднес ко рту первую жестянку. Куда они бросали пустые банки, я не знаю.

Окрестности любой большой американской базы во Вьетнаме больше всего похожи на свалку или на свиной загон при лепрозории с переполненными выгребными ямами, хотя я должна отметить, что прокаженные слишком бедны и недоверчивы, чтобы пользоваться консервированными продуктами. Даже Б-52 не могли бы «очистить» эту территорию, так как консервные банки не горят. Их можно сплющить, и эта форма «поп-арта» широко распространяется в сельских районах Вьетнама — фасады новых домов (не только в лагерях беженцев) часто облицовывают сплюснутыми банками, иногда очень яркими, если это банки из-под пива, эля или кока-колы, а иногда старыми одноцветными банками из-под тушенки и супов Кэмпбелла. Но, даже используя этот новый строительный материал для облицовки всех барачных и сараев Вьетнама, вряд ли удастся уменьшить эту огромную мусорную кучу, эти горы экскрементов нашей цивилизации, которыми мы покрыли всю страну. По мере увеличения численности наших войск они будут расти и расти.

Я уже не говорю о других отбросах. Когда мы подъезжали к Данангу, барон показал мне искореженный корпус самолета, лежавший в нескольких ярдах от дороги. Он сказал, что два три месяца назад здесь упал американский бомбардировщик, при этом погиб 81 человек. Катастрофа произошла из-за технических неполадок, поэтому вполне возможно, что погибшие считаются не жертвами войны, а жертвами несчастного случая, как дети, получившие ожоги у кухонной плиты, в которую налили бензин (из-за отсутствия керосина), или пострадавшие от огня, охватившего соломенную крышу или картонную обшивку барака в переполненном лагере, чем они принципиально отличаются от детей, обожженных напалмом. Остов бомбардировщика с отломившимся крылом лежал, вонзившись носом в крышу, среди обломков домов и каких-то построек. Никто не считал нужным предать его останки земле. В нескольких милях от этого места покоится еще один самолет, сказал мне барон. Сколько людей погибло при его падении, он не знал.

В пресс-центре морской пехоты нас ждали martini, бифштексы, vin rosé *, коньяк. Позади ресторанной стойки висел пла-

* Розовое вино (франц.).

кат: «Принимали ли вы на этой неделе противомаларийные таблетки? Забота о вашем здоровье — это ваша забота». И все пехотинцы держались так мило, по-настоящему мило, и офицеры и рядовые; они спрашивали, что я видела и было ли мне интересно. Я сказала, что условия в лагерях не поддаются описанию, и рассказала им о проблеме воды в первом лагере. Они кивали, подвигали ко мне стулья, всячески показывая, что очень интересуются этими лагерями. Они не были бы американцами, если бы их не взволновал мой рассказ о грязной воде.

Живой интерес пехотинцев резко контрастировал с равнодушием штатских бюрократов в Сайгоне, которые, как я поняла, просто не желали слышать о положении в лагерях беженцев; после того как вы произносили несколько первых слов, они переставали обращать на вас внимание и поднимали телефонную трубку («Простите, одну минутку») или сидели с отсутствующим видом, как будто были поглощены какими-то более серьезными мыслями. — например, подсчетом злодейских актов, совершенных вьетконговцами за последнюю неделю. Любопытно, что, проявляя интерес к беженцам, пехотинцы относились к этой проблеме, как могли бы относиться к ней далекие от войны люди у них на родине: «Подумать только!» Или так, будто они перелистывали номер «Нэшнл джиографик» и наткнулись на статью об одном из тех мест, где им случилось побывать во время кругосветного путешествия или деловой поездки. За всем этим стояло то же не очень горячее стремление «быть на уровне», которое заставляет их выписывать политические еженедельники и озабоченно хмурить брови при виде снимков, сделанных во время наводнения во Флоренции.

И если гражданские чиновники чаще всего держат себя как дельцы, владеющие сомнительными акциями, которые они стремятся сбыть, большинство военных относится к происходящему так же, как эти пехотинцы: со странным отчуждением, не испытывая, по-видимому, никакой потребности как-то оправдать присутствие американцев во Вьетнаме и свое собственное участие в этой войне, от которой они, впрочем, не имеют никакой выгоды (они ведь не торговцы, а товар). Полковник морской пехоты может совершенно откровенно заявить на своем командном посту: «Мы сами плодим беженцев», — чего ни один штатский чиновник, естественно, никогда не сделает. Военные, не стесняясь, говорят о коррупции и воровстве, считая, что во Вьетнаме это повальное бедствие, критикуют про-

грамму тиеу хой, поносят южновьетнамскую армию, и им даже не приходит в голову, что если они правы, то правы и все те, кто возражает против вмешательства Америки в дела Вьетнама. Офицеры, ведающие делами прессы, лучше представляют себе, насколько опасны откровенные разговоры их командиров, и пытаются по мере сил им препятствовать. Однажды утром, попав в одну из деревень, расположенных в дельте Меконга, я спросила армейских офицеров, что сделали местные власти для проведения земельной реформы; капитан информационной службы поспешно вступил в разговор и начал засыпать меня цифрами, но полковник перебил его:

— Ничего.

Возможно, что офицеры информационной службы, работа которых состоит в том, чтобы давать заведомо ложную информацию («Сколько жителей вернулось в Ратькиен?» Капитан информационной службы: «Около тысячи». Майор полчаса спустя: «632 человека»), возможно, что они в чем-то честнее штабных офицеров, выпаливающих правду. Те, кто лжет и скрывает, в глубине души прекрасно понимают, что к чему, в то время как прямодушный штаб-офицер все еще думает, что он участвует в одной из тех войн, которую честный солдат может как-то оправдать.

Вы узнаете от него меньше, чем от американского бюрократа с хорошо подвешенным языком, сидящего в Сайгоне и готового ответить на любой ваш вопрос еще до того, как вы его задали, того самого бюрократа, который, не задумываясь, сообщит вам состав вещества — разумеется, безвредного для людей и животных, — использованного как раз в этот день для уничтожения листвы в заранее намеченном районе демилитаризованной зоны (как будто он даже не подозревает — какая забывчивость! — о том, что этот район согласно его прежним утверждениям уже давно подвергается регулярным бомбардировкам). И он же в ответ на просьбу показать данные о числе жертв войны среди гражданского населения скажет вам, что, к сожалению, не располагает этими сведениями, и предложит взамен полный отчет о злодеяниях Вьетконга, ничем не отличаясь в данном случае от эмиссара Джонсона (ныне возглавляющего всю гражданскую деятельность по «умиротворению»), преспокойно объявившего представителям печати, что они должны придерживаться оптимистических прогнозов, так как «самый воздух снова внушает ему уверенность». Я сделала во Вьетнаме одно открытие: те, которые так хотят понравиться, оказывается, не представляют себе, как они выглядят. Истина,

которую они сделали очевидной для всех, стала недоступной их пониманию.

Вот один пример подобного ослепления. В Сайгоне в управлении гражданских операций мне предложили просмотреть только что отпечатанный список террористических актов, совершенных Вьетконгом на прошлой неделе; читатель, наверное, уже успел заметить, что наши представители во Вьетнаме питают особую слабость к такого рода материалам. К таким вот перечням и к цифровым данным о просачивании вьетконговцев на территорию Южного Вьетнама, которые создают соответствующий «фон». Проглядывая список, я заметила, что в нем значится нападение на американский гарнизон.

— Это тоже террор? с удивлением спросила я.

Чиновник посмотрел на указанный мной пункт.

— Нет. Это сюда не относится, — согласился он, сосредоточенно и несколько озадаченно разглядывая машинописный текст с таким видом, будто он только что проснулся. — Придется исправить, — поспешно добавил он.

Было совершенно очевидно, что он предложил мне эти сведения, действительно не видя в них ничего странного; нападение на американскую воинскую часть даже во время войны казалось ему подлостью.

Сейчас в число террористических актов, о которых сообщается в прессе, спокойно включают похищения и убийства сельских строительных рабочих, что кажется отвратительной жестокостью, если вы не знаете (в Сайгоне это знают все), что «Сельское строительство» — это старое название «Революционного развития», а «рабочие» — члены полувоенной организации, которых обучают и тренируют в специальных школах и затем рассылают для проведения «чисток» «умиротворенных» деревень; из каждой такой группы в 59 человек 34 человека носят оружие в целях безопасности, то есть для отражения нападений вьетконговцев. Внезапное обращение к старому названию является для прессы чем-то вроде сигнала, предупреждающего об опасности: ждите лжи. Зачем, спрашивается, публикуется вся эта статистика? Что за этим кроется? Что они замышляют? Столь неловкое подтасовывание фактов вызывает не только отвращение, но и жалость к этой речистой нации, которая, кажется, думает, что она обращается к перфорационным картам и мимеографам; но ведь даже вычислительная машина, обладающая лишь памятью, а не разумом, и та может в конце концов отказать.



— Il faut une révolution *, — заявил майор Би в школе в Вунгтау, произнеся эта фразу с таким раскатистым «р», что казалось, будто взорвалась бомба.

Итальянский генерал начал слушать его с интересом. Низкорослый, широколицый вьетнамский майор не числился в списках военных руководителей НФОЮВ **, он возглавлял правительственную школу «Революционного развития», в которой готовили кадры антикоммунистического фронта. В маленькой классной комнате майор Би беседовал по-французски с бывшим начальником итальянского штаба и со мной, а в соседней комнате его помощник мистер Тяу беседовал по-английски с работниками Национальной радиовещательной компании. Худенький, тщедушный мистер Тяу, одетый в бесформенные коленчовые брюки и черную, похожую на стихарь, облегающую куртку, специализировался по английской литературе и защитил в Сорбонне докторскую диссертацию о творчестве Вирджинии Вулф. Майор Би, не столь блестяще владеющий иностранными языками, носил черную рубашку с открытым воротом и черные брюки военного образца. Их одежда символически выражала цели, указанные в их программе. Три тысячи учеников (будущие кадры работников «Революционного развития») после окончания школы должны были разбиться на отряды по 59 человек в каждом и, надев черные куртки и черные брюки, которые носят вьетконговцы, в свою очередь скопировавшие этот наряд с одежды бедных крестьян, начать «строить» деревни. На самом деле теперешние крестьяне, живущие на территории, контролируемой правительством, носят самую разнообразную одежду, включая бейсбольные шапочки, шорты и тенниски, и обмундирование работников «Революционного развития» кажется им смешным, как сказал мне один вьетнамский студент-медик, побывавший во время новогодних праздников в нескольких деревнях.

— Если бы они сняли эти дурацкие куртки и брюки, может быть, над ними перестали бы смеяться, — говорил он.

— Vraiment une révolution ***, — настаивал майор Би.

* Необходима революция (франц.).

** Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама.

*** Действительно революция (франц.).

Итальянский генерал бросил на меня вопрошающий взгляд.

— Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? * — пробормотал он.

Я не знаю, что имел в виду майор Би, говоря, что его странно нужна революция, но я все равно была с ним согласна. Мне надоело всюду слышать одни и те же рассказы о мошенничестве и воровстве, от которых больше всего страдает неимущая часть населения; только накануне один из работников управления гражданских операций, проявив несвойственную этим людям откровенность, рассказал мне, как происходила раздача одежды, полученной через управление международного развития: все лучшее присвоило себе начальство, а те, кому эти вещи предназначались, так ничего и не получили.

— Чтобы иметь право на помощь, — с грустью заметил он, — нуждающиеся семьи должны быть зарегистрированы правительством.

— Вы хотите сказать, что они должны заплатить за то, чтобы их зарегистрировали как нуждающихся?

Он не ответил и только посмотрел мне в лицо.

И все-таки инструктивные беседы о программе «Революционного развития», происходившие в Сайгоне, недостаточно подготовили меня к встрече с такими любителями теоретических рассуждений, как майор Би, который, сев на своего любимого конька, принялся убеждать нас, что вьетнамское общество «complètement corrompue» **.

— Правящие круги, — заявил он, не обращая внимания на тревожные взгляды генерала, — всегда использовали законы в своих интересах.

Затем, посмотрев на часы, он перешел к фактам и цифрам.

Осуществление программы «Революционного развития» началось в 1965 году. 28 тысяч человек уже работают в деревнях. Все они прошли курс обучения, продолжавшийся 12 недель, в течение которых каждый из них должен был выполнить 11 заданий и подняться на 12 ступеней. По окончании курса их разбили на отряды и разослали по деревням. Каждый отряд должен был добиться, чтобы порученная ему деревня отвечала одиннадцати определенным требованиям; если с помощью работников «Революционного развития» удавалось выполнить дополнительные девять требований, «восстановленная» деревня, или «Деревня прежней жизни», превращалась в «Деревню но-

* Что он хочет этим сказать? (франц.).

** Целиком прогнило (франц.).

вой жизни». Майор Би не мог похвастаться блестящими результатами, но работа шла полным ходом и «dans la bonne direction» *.

Генерал Лиуцци провел во Вьетнаме слишком мало времени, чтобы разбираться в терминологии. Говоря «восстановленная» деревня, майор Би имел в виду не вновь отстроенную деревню, а вьетконговскую деревню, обработанную политически в такой степени, что ее можно было считать сочувствующей правительству. А «реконструированная» деревня — это «восстановленная» деревня, которая опустилась до прежнего уровня и была вновь «восстановлена»; но по каким-то причинам этот термин впал в немилость, и «реконструированные» деревни называются теперь «консолидированными». Конечная же цель для каждой деревни — стать «Подлинной деревней новой жизни».

«Восстановленные» деревни часто оказываются не на высоте, потому что ведется недостаточная работа по искоренению вьетконговских «инфраоснов». Искоренение «инфраоснов», то есть проведение чисток, является основной задачей подчиненных майора Би. Отдавая ему должное, надо сказать, что сам он не пользовался этим термином, хотя в Сайгоне американцы, отвечавшие на вопросы представителей прессы, употребляли его на каждом шагу. Это слово, слишком юное для меня, чтобы я могла включить его в свой словарь, стало избитым штампом в американо-вьетнамском языке и постоянно употребляется в застольных беседах, официальных инструкциях, газетных и журнальных статьях. Оно означает прежде всего, что человек, который им пользуется (вскользь или с нарочитой подчеркнутостью в зависимости от обстоятельств), обладает современным и вполне научным представлением о подпольной работе коммунистов, в то время как тот, кто употребляет слова «организация» и даже «ячейка», такого впечатления уже не производит. При этом новый термин вовсе не является достоянием избранных — знатоков, окончивших отделение политических наук Гарвардского университета или Принстонскую школу будущих руководителей правительственных учреждений, — он так же общепотребителен, как жетоны, которые вы бросаете в автоматы метро. Никто не удивляется, услышав, как какой-нибудь недоучившийся в школе юнец бурчит, чистя винтовку:

— Пришлось добратся до инфраоснов этих чарли.

Наших пропагандистов, любящих писать о «безличности вьет-

* В нужном направлении (франц.).

конговцев» (иногда с приложением фотографий), слово «инфра-основы» привлекает не только тем, что оно звучит научнообразно и свидетельствует о деловитости говорящего, но, по-видимому, еще и тем, что оно ассоциируется со словом «инфракрасный», то есть с теми невидимыми лучами, которые находятся сразу за красной полосой политического спектра.

Майор Би и мистер Тяу — это вьетнамские копии американских политических экспертов, получивших возможность отшлифовать свой словарь и методы мышления на материале того безумного состязания в силе, которое происходит сейчас на азиатской арене. Здесь, в Азии, политические знания в том виде, в котором их преподают и изучают в больших американских университетах, впервые используются для ведения войны, во многом напоминающей научно-фантастический роман. Ни о чем подобном нельзя было и мечтать во время второй мировой войны, хотя в бюро военной информации, так же как в управлении стратегической разведки, числилось несколько профессоров и других интеллигентов; в то время никому бы не пришло в голову изучать фашизм и чему-нибудь учиться у Германии. Тогда еще только физические лаборатории превратились во вспомогательные отделы министерства обороны. То, что происходит сейчас, имеет более важное значение для нашего будущего, — если только мы можем рассчитывать на будущее, — чем доктор Стрейнджлав *, так как бомбу, в конце концов, можно объявить вне закона, а интеллект вряд ли, причем начало этому было положено во времена «холодной войны», когда была открыта наука кремленология. Зловещая фигура Уолта Ростоу, к чьим словам президент прислушивается, кажется, охотнее всего, тоже возникла в эту эпоху открытий. Поведение врага изучалось под университетскими микроскопами на образцах, доставляемых перебежчиками. Однако о настоящих экспериментах нечего было и мечтать, пока война во Вьетнаме не создала лабораторию для испытания нового оружия — «академических самолетов» Б-52 или ракет «Лейзи дог» **. Наблюдая за применением политических знаний, используемых во Вьетнаме в комплексе с родственными дисциплинами — социологией и антропологией («Вьетнамцы не могут с ними справиться, — любезно сообщил репортеру один американский миссионер-евангелист, говоря о горских племенах, завоеванных Вьетконгом. —

* Герой одноименного сатирического фильма американского режиссера Стенли Кубрика; поклонник ядерной войны.

** Ракеты типа «воздух — земля», предназначенные для уничтожения людей с самолетов.

Они не знают антропологии, им не на что опереться»); наблюдая за всем, что здесь делается, вы начинаете думать, что эта область знаний всегда существовала только ради войны. «Чистые» политические науки кажутся во Вьетнаме такой же абстракцией, как применение атомной энергии в мирных целях.

Сразу после заключения Женевских соглашений во Вьетнам на смену военным направились профессора, первый из которых — профессор университета штата Мичиган Уэсли Фишел — «создал» Дьема. Но пока во главе нашего государства стоял Эйзенхауэр, большинство научных исследований, проводившихся во Вьетнаме, оставались такими же старомодными и расплывчатыми, как идеи этого осторожного президента. Хотя Соединенные Штаты предоставили университету штата Мичиган большую субсидию для подготовки вьетнамских полицейских сил, а также специалистов в области политических наук и руководящих административных работников, все это, в конце концов, не выходило за рамки старой колониальной практики. Неким новшеством — гражданский кодекс, параграф 303? — было лишь увеличение штата преподавателей университета штата Мичиган за счет нескольких тайных агентов ЦРУ (получивших профессорские должности, но, естественно, без академической нагрузки), которые должны были организовать во Вьетнаме бюро расследования по образцу ФБР. В целом бывшие питомцы и питомицы университета штата Мичиган, которых до сих пор можно встретить в закоулках вьетнамских правительственных учреждений — мне кажется, что почти все вьетнамцы, говорящие по-английски, учились в университете штата Мичиган и гордятся этим, — все они обычно отличаются неким старомодным пафосом, как носивший браслеты кокетливый доктор Гуэ, профессор Национального института административных работников в Сайгоне, напоминавший мадам Нью в изображении актрисы какой-нибудь бродячей труппы. Однако непреходящее значение деятельности профессора Фишела заключается не в подготовке вымуштрованной ЦРУ тайной полиции мадам Нью — где они теперь, эти люди? — а во введении в официальные дискуссии о Вьетнаме слова «семантика». «Стремясь во что бы то ни стало уложить их представления на наше семантическое ложе, мы, безусловно, наносим ущерб себе и своим азиатским соседям», — писал он в «Нью лидере», ратуя за новый политический словарь в статье с великолепным названием (придуманым, как утверждал профессор Фишел, самими издателями): «Демократическое единоличное правление во Вьетнаме», где

речь шла о том, чтобы уложить на прокрустово ложе Дьема. Демократический «диктатор» или «демократический» диктатор? Профессор Фишел запутался в словах. Дьем ушел, но созданные им затруднения остались. Почти на каждой пресс-конференции, стоит репортеру поднять руку и попросить, чтобы ему разъяснили какое-нибудь сладкоречивое утверждение, как он немедленно слышит в ответ:

— Я не собираюсь обсуждать с вами вопросы семантики. Следующий.

Но только в эпоху «новых рубежей» удалось полностью модернизировать американскую «мысль» во Вьетнаме. Люди Кеннеди, взглянув на происходящие события свежим взглядом, поняли, что нужна совершенно иная тактика и совершенно иная терминология: «контрповстанцы», «особая война». Идея контрповстанцев была заимствована у аристократической верхушки французских офицеров, которые использовали ее в Алжире, — все мы прекрасно знаем, к чему это привело. Чтобы осуществить новые идеи на практике, армия с помощью ЦРУ создала специальные отряды — «зеленые береты», — задача которых состояла в том, чтобы сочетать необычные методы борьбы (направленные на подавление партизанского движения) с достаточной политической изворотливостью. Вьетнамцы, стремящиеся ни в чем не уступить американцам, тоже создали специальные отряды «красных беретов» — контртеррористическую организацию, членов которой можно узнать по пятнистым, похожим на шкуру леопарда мундирам с головой тигра на нагрудном кармане; они существуют до сих пор и время от времени приносят отрубленные головы партизан или мнимых партизан в «умиротворенные» деревни, чтобы показать какому-нибудь потрясенному американскому полковнику. Одновременно на фронте начали появляться офицеры нового типа, с более широким кругозором и походной библиотечкой; на книжных полках в горных укрытиях стояли труды Мао, генералов Зиапа, и Гриваса, и Хо Ши Мина, конечно, в дешевых изданиях. Юных выпускников Уэст-Пойнта тут же на месте превращали в тонких стратегов с помощью трескучих лекций о коммунизме и психологии местного населения, а у маститых генералов появился на столе словарь Уэбстера — на случай, если понадобится какая-нибудь ссылка. В том же 1961 году, когда были созданы специальные отряды, появился «План Стейли», разработанный стэнфордским экономистом Юджином Стейли, чье имя теперь неразрывно связано со «стратегическими деревнями», хотя на самом деле его план был гораздо шире и предусматривал полную

реконструкцию вьетнамской экономики и методов политической борьбы.

«План Стейли» не мог бы прийти в голову заурядному чиновнику, сидящему в какой-нибудь вашингтонской конторе. Идея «стратегических деревень» сама по себе была не так уж нова. Дьем вместе со своим братом Нью и раньше возводил агрогорода — укрепленные поселения, также напоминавшие алжирские, которые одно время назывались «лагерями правого дела». Но Стейли усовершенствовал их. С профессорским тристрастием к диаграммам он разделил всю страну на желтые, синие и красные зоны, обозначив желтым цветом районы, подчиненные правительству (которым Америка могла оказывать помощь), синим — сомнительные и красным — вьетконговские. «План Стейли» состоял в том, чтобы переместить все мобильное население в «зоны процветания», где для начала нужно было создать 15 тысяч хорошо укрепленных и окруженных колючей проволокой деревень образцового типа. С помощью загоревшегося этой идеей генерала Максуэлла Тэйлора (до сих пор считающегося в сенате специалистом по Вьетнаму) было построено около 2500 «стейлевских деревень». Вся жизнь в этих поселениях была строго регламентирована. Каждый поселенец должен был купить и носить форму — в зависимости от пола и возраста выбиралась одна из четырех цветовых комбинаций — и, кроме того, иметь при себе два удостоверения личности: одно для передвижения по деревне и другое на случай выезда. Ежедневно в семь часов вечера сторож запирали ворота деревни и в шесть часов утра открывал. Дома тех лиц, которые изъявили желание поселиться в «стратегических деревнях», сжигались, а посевы опрыскивались ядохимикатами, чтобы оставить Вьетконгу выжженную землю, — это был первый случай широкого применения химии в политической борьбе. Правительство США, естественно, выплачивало компенсацию.

Тех, кто не соглашался на переезд, перевозили насильно, а деревни все равно сжигали, и поля обрызгивали ядохимикатами. В назидание вьетнамские солдаты иногда расстреливали крестьян и деревенских старост, проявлявших недовольство. В самих поселениях крестьяне жили под неусыпным политическим надзором, и здесь тоже устраивались казни. Поселенцев обманывали, облагая особыми налогами и вымогая деньги разными иными способами; многие из них так и не получили денежную компенсацию. Кроме того, они должны были уговаривать родственников, живущих в красной зоне, присоединяться

к ним; если в течение трех месяцев им не удавалось этого добиться, их наказывали.

Соединенные Штаты вряд ли могли сделать Вьетконгу лучший подарок, чем «План Стейли». В «стратегических деревнях», разумеется, то и дело вспыхивали волнения, иногда сопровождавшиеся поджогами. Когда Дьем пал, программу предали забвению, и профессор Стейли, по-видимому, канул в Лету вслед за профессором Фишелом. Больше о них никто не вспоминал. Однако идея «Стратегической деревни» возникла снова, приняв менее драконовские формы в программе «Сельского строительства», которая потерпела крах и уступила место программе «Революционного развития». «Революционное развитие» укрепило программу «Сельского строительства», введя единую форму — черные брюки и черную куртку. Тогда, наконец, явственно обнаружилось то, что всегда стояло за такими понятиями, как «контрповстанцы», «особая война», и некоторыми другими тезисами «Плана Стейли», — использование тактики врага.

И конечно, «другая» война, столь драматически провозглашенная Джонсоном в Гонолулу, была не чем иным, как одной из идей, с опозданием заимствованных у Вьетконга. Вьетконговцы начали строить школы для крестьян, рыть колодцы и совершенствовать агротехнику значительно раньше, чем до этого додумались американцы. Но так как они не обладают средствами массовой информации, секрет их привлекательности остается секретом, по крайней мере, для военных, которые роют колодцы и строят школы, считая, что этот примитивный способ завоевания сердец изобретен в добросердечной Америке. Ни одному генералу (если только он не Цезарь) не придет в голову, что он копирует врага; для честного прямодушного воюки эта мысль непереносима.

И вот теперь перед нами сидел майор Би с узкими блестящими глазами и разглагольствовал о «революции», используя в своих интересах грома и молнии, украденные из арсенала НФОЮВ. В декларациях НФОЮВ говорилось, правда, о поднятии жизненного уровня населения, о дальнейшем развитии экономики без насильственных изменений, о борьбе за свободу, за прекращение репрессий и о создании широких демократических основ, а вовсе не о революции. Но все это, видимо, ускользнуло от опекунов майора Би, уверенных, что «истинная» цель НФОЮВ — коммунистический переворот. Предположим, что они правы. Тогда возникает чисто комическая ситуация: НФОЮВ ставит своей целью осуществление соци-

альной революции, заботливо стараясь не произносить этого слова, а южновьетнамская хунта создает «революционную» программу, будучи не в силах осуществить ни одной самой незначительной реформы. Попытки американцев и их гениальных вьетнамских учеников представить все это как войну идей могли бы рассмешить даже плачущих ангелов, если только ангелы существуют.

В соседней комнате пресс-конференция кончилась. Но вежливый старый генерал был в недоумении и слушал с таким интересом, что майор Би никак не мог остановиться.

— Вода защищает рыб, — процитировал он Мао.

Народ, по его словам, был водой, в которой партизаны плавали как рыбы, а пришельцы-враги тонули. «Революционное развитие» использует изречение Мао в борьбе с Вьетконгом. Школа в Вунгтау — это садок для выращивания мальков, то есть работников «Революционного развития», необходимых, чтобы сохранить воду, которая, в свою очередь, необходима, чтобы сохранить крупную рыбу, то есть правительственные войска.

Я решила спросить, как обстоит дело с земельной реформой. Майор считал, что земельная реформа бесполезна, если нет культурной базы, чтобы ее поддержать. Нужны западные идеи и западная техника. С другой стороны, вьетнамский народ не должен терпеть нищету. Трактор в каждой деревне был бы прекрасным символом современной цивилизации. Трактор, а не самолет и бомбардировщик. Генерал задумчиво кивал головой. Майор Би произвел на него впечатление. Он спросил, где майор учился, очевидно желая узнать, где он мог позаимствовать подобное мировоззрение.

— *Mon université est la campagne vietnamienne**, — ответил приземистый майор, не любивший распространяться о своем прошлом.

Что же касается мистера Тяу, то он был, во всяком случае до недавнего времени, профессором французской и английской литературы в университете в Гуэ. Кажется, он оставил преподавание в прошлом году во время студенческих волнений, не вызывавших у него никакой симпатии. Он был противником телевидения, транзисторов, автомобилей и других развращающих молодежь новшеств.

Мы вышли из помещения школы, построенной еще францу-

* Мой университет — это вьетнамская война (франц.).

зами и сохранившей монастырский дух, что делало ее похожей на иезуитский колледж, где майор Би исполнял роль отца настоятеля и организующего центра, а одетый в черное, склонный к абстракциям мистер Тяу — руководителя учебной части. Предшественником майора Би на посту главы школы в Вунгтау был человек совершенно иного склада — майор Май, любитель игры на гитаре, в прошлом году пользовавшийся особой любовью ЦРУ и широкой поддержкой ответственных американских чиновников, которые сейчас с трудом вспоминают, кто он такой.

— Что случилось с майором Маем? — спросил Гэвин Янг из «Обсервера» у одного из руководителей посольства.

— С кем? Ах, с Маем... Просто он нам не подошел. Не знаю, где он сейчас.

— Странно. Вы его так хвалили в прошлом году.

— Да нет, Гэвин, едва ли. Вы что-то напутали.

— Но у меня же записано.

— Видите ли, Гэвин, он проходил испытательный срок, — с упреком ответил ему собеседник.

Во времена майора Мая основное внимание в Вунгтау уделяли воспитанию чисто вьетнамского национализма. Ученики проходили военную подготовку и изучали во всех подробностях историю Великого дракона и Повелительницы фей — легендарных прародителей вьетнамцев, надеясь с их помощью завоевать умы и сердца народа. В те дни в школе находился целый отряд советников ЦРУ, одетых в черные костюмы и сандалии; исключение составлял только их шеф, который, по описанию Янга, своей одеждой и повадками напоминал помощника шерифа где-нибудь в Сельме (штат Алабама), — изо рта у него торчала сигара, а колышущийся живот обтягивала спортивная рубашка. Но теперь агентов ЦРУ нет, разве только они уж очень тщательно замаскированы (хотя незримые «советники» по-прежнему фигурируют в списках учителей школы и ЦРУ по-прежнему оказывает школе свою поддержку), Великий дракон и Повелительница фей бесследно исчезли, и остались только майор Би, «Вирджиния Вулф» и учение председателя Мао.

Нас вывели из помещения, чтобы познакомить с учениками.

— Здесь, — сказал майор, указывая на поросшие лесом пески, — теория переваривается и превращается в практические навыки.

Под большим навесом класс, разместившись группами на

скамейках, слушал учителя-вьетнамца и хором выкрикивал ответы на его вопросы, как делают дети в воскресной школе.

— Кто создал мир?

— Бог создал мир.

Еще это напоминало изложение наших священных догматов в облегченной форме вопросов и ответов, используемое в брошюрах, которые вручают вместе с папками вновь прибывшим журналистам.

Вопрос: «Почему Соединенные Штаты воюют с Северным Вьетнамом?»

Ответ: «Соединенные Штаты не воюют с Северным Вьетнамом. Мы помогаем демократическому правительству и народу Вьетнамской республики защитить свою свободу и независимость от агрессии, направляемой и частично осуществляемой Северным Вьетнамом».

Вопрос: «Каким образом Вьетконгу удалось захватить и удержать власть в некоторых районах Южного Вьетнама?»

Ответ: «Вьетконг управляет с помощью силы и террора. Орудиями его политики являются преднамеренные убийства и похищения...»

Вопрос: «Правда ли, что вьетконговцы нападают только на южновьетнамских солдат и ответственных чиновников?»

Ответ: «Нет, неправда. Вьетконговцы, кроме того, нападают на учителей, на сельскохозяйственных рабочих, на анти-малаярийные отряды — на всех, кто своим трудом стремится улучшить социальное и экономическое положение Южного Вьетнама».

Фразы, которые выкрикивали ученики Вунгтау, были вьетнамским вариантом этого текста. Майор Би не переводил. Во времена майора Мая наставления, которые заучивали в школе, звучали так:

Вопрос: «Являются ли американцы нашими друзьями, если они защищают народ великого короля Хунг Вуонга, сына дракона?»

Ответ: «Да».

Вопрос: «Являются ли они нашими господами?»

Ответ: «Нет».

Потом учеников разбили на отряды и начались строевые учения. В ответ на каждое приказание раздавался устрашающий рев. Наблюдая за новобранцами, итальянский генерал постепенно охладевал; очень уж неприглядным казалось ему это

военное сырье, как он выразился. В Сайгоне одна девушка-врач распустила целый отряд, заявив, что он состоит из людей, добровольно записавшихся в школу, только чтобы избежать призыва в действующую армию, — распространенная точка зрения, — однако, хотя некоторые из этих невзрачных юношей, по-видимому, достигли призывного возраста, их наверняка освободили бы от службы за непригодностью, что же касается ключющих носом седоволосых старцев, то не знаю уж, по каким причинам они вступили в этот жалкий отряд «революционной» молодежи, но, во всяком случае, не из страха перед призывом.

Мы спросили майора Би, какие требования предъявляются к тем, кто поступает в эту школу. Он сказал, что все поступающие должны быть грамотными и иметь рекомендации двух работников, уже окончивших школу, — система, заимствованная у НФОЮВ и Народно-революционной партии и пригодная скорее для подпольной организации или тайного братства. Руководство явно стремилось создать у своих подопечных ощущение избранности с помощью различных церемоний и лишенной всякого смысла символики чисел. Каждый отряд, направляясь в деревню (где он находился от трех до шести месяцев), получал 98 заданий; 34 работника (по некоторым сведениям 33) должны были отвечать за безопасность отряда, 19 — осуществлять общее руководство, один — наблюдать за сельскохозяйственными работами, один — за кооперативами, один — за строительством и общественными работами, один — за здравоохранением, один — за образованием и культурой, один — должен был разбирать жалобы и проводить расследования. При таком разделении труда не удивительно, что я никогда не видел ни одного работника «Революционного развития», занимающегося каким-нибудь делом; все они только разгуливали с оружием в руках или ели. Тем не менее их обучение проходило, видимо, достаточно успешно, и они действительно проникались духом избранности, так как жалобы на их надменность и наглость упоминаются даже во вьетнамских правительственных отчетах.

Но оказалось, что некоторым из этих «добровольцев поневоле» легче было бы уберечь жизнь, вступив в южновьетнамскую армию: последние газеты полны рассказов о «расправах», как это принято называть, учиненных над работниками «Революционного развития», которые, несмотря на военную подготовку и находящееся при них оружие, не в состоянии защитить от вьетконговцев не только порученные им деревни, но и самих

себя. Возможно, что благодаря своей заносчивости они становятся особенно привлекательными мишенями.

Во время перерыва на обед прибыли операторы Би-Би-Си, собиравшиеся снять фильм о школе. Представители Эн-Би-Си ограничились своей деятельностью краткими записями. Учеников перестроили, и они спели нам несколько строф из своего школьного гимна, посвященного 11 заданиям и 12 ступеням. Большинство учеников находились на второй или третьей ступени.

— Вряд ли они уложатся в двенадцать недель, — сказал генерал, наблюдая за этим представлением. Он недоверчиво посмотрел на майора Би. — *C'est un fanatique**, — заключил он, покачивая головой.

Генерал предпочел бы верить майору Би. В столовой во время обеда зашел разговор о переговорах. Лицо майора Би потемнело.

— *La sale manœuvre de la paix du pape* — сказал он. Генерал Лиуцци отказался от супа.

На другой стороне стола мистер Тяу с презрением отзывался о южновьетнамских студентах, живущих в Париже и вступающих в дискуссии с северовьетнамскими студентами. Я попробовала их защитить.

— *La politique n'est pas un salon****, — ядовито сказал он.

Любые политические переговоры, не говоря уже о компромиссах, казались ему признаком упадка. Здесь так же, как это часто случалось во вьетнамских правительственных кругах, одного слова «переговоры» оказалось достаточно, чтобы от напускного дружелюбия не осталось и следа.

Итальянский генерал установил, что майор Би сражался на стороне Вьет Миня против французов и, следовательно, служил при Зиане; по-видимому, он был уроженцем Северного Вьетнама, и когда он появился на юге, я не знаю. Ясные и бескомпромиссные принципы Ханоя привлекают многих мятущихся интеллигентов, в том числе и ярых антикоммунистов. На следующий день после посещения Вунгтау я встретила еще одного «революционера», вызывающе откровенного армейского капитана, который исполнял обязанности начальника округа, а до войны был частным учителем французского языка и фотографом-портретистом, как и его земляк Хо

* Это фанатик (*франц.*).

** Подлые махинации папы, который хочет заключить мир (*франц.*).

*** Здесь: политика не делается в гостининых (*франц.*).

Ши Мин. Он жаждал объяснить мне и всем американцам, которые, быть может, этого не понимают, что самое важное — это *le peuple, le bas peuple* *, а вовсе не правительственные чиновники (к которым принадлежал он сам) и не те, кто оказался на самом верху. Сидя на командном посту американской армии, расположенном на участке, вклинившемся в территорию Вьетконга, он схватил шариковую ручку и принялся рисовать диаграммы. Одна из них, представлявшая собой пирамиду с недостаточно надежным основанием и восседавшим на ее вершине демагогом, была «плохой» (он показал нам, как легко она может перевернуться); другая — невысокая усеченная пирамида с широким нижним основанием — народом, — служившим опорой плоскому верхнему основанию, была «хорошей». Американские младшие офицеры слушали его, снисходительно улыбаясь; они наверняка слышали все это раньше и считали его фантазером, хотя и добрым малым. Его идеи и приподнятый поучающий тон напомнили мне о майоре Би, и я спросила, что он думает о «Революционном развитии». К моему удивлению, он относился к этому движению неодобрительно.

— *En toute franchise* **, — сказал он, — школа в Вунг-тау — это наглядный пример «плохой» пирамиды.

К конституционной ассамблее он также относился неодобрительно: слишком много болтовни, сказал он, и слишком много соперничающих партий. Подобно майору Би, он с презрением отвергал мысль о переговорах. Его мечтой была победа:

— Марш на Ханой!

Американцы усмехались и покачивали головами; подобные фразы они тоже слышали и считали их дешевкой. Капитан чувствовал себя оскорбленным.

Это типичный случай. В Южном Вьетнаме многие относятся к Америке двойственно: с одной стороны, боятся, что, несмотря на все заверения, американцы стремятся завладеть их страной, а с другой, — что они предадут их и заключат мир с Ханоем. Иными словами, разрываются между страхом, что американцы уйдут, и страхом, что они останутся. Быть может, те, кто, подобно майору Би и мистеру Тяу, поддерживают непосредственный контакт с ЦРУ, склонны больше доверять своим спасителям, чем те, кто имеет дело с регулярной армией, которая кажется им менее надежной в политическом отношении.

* Народ, простой народ (франц.).

** Откровенно говоря (франц.).

Вполне возможно, что они по-своему правы. Американская армия, как всякая армия, больше всего хочет вернуться домой, в то время как ЦРУ мечтает остаться, чтобы незаметно действовать за спиной у других, снабжая деньгами и оказывая поддержку различным местным группировкам.

Но, что бы ни заставило майора Би и мистера Тяу пойти на сотрудничество с ЦРУ — понимание нужд нации или отчаянье, — легко догадаться, что именно побудило ЦРУ работать с ними, даже если предположить, что майор Би и мистер Тяу пока лишь тоже «проходили испытательный срок». Связи, которые, как выяснилось, существуют между ЦРУ и американской интеллигенцией, находят удивительные соответствия во Вьетнаме, удивительные, по крайней мере, для тех, кто не обращал внимания на характерное для нашего времени постепенное слияние интеллигенции с разведывательной службой. Благодаря ЦРУ во Вьетнаме было осуществлено несколько необычных экспериментов, причем ЦРУ не только ассигновало на них средства и послало своих людей, но явилось тем воспламеняющим началом и придало им тот оттенок гениальности, который роднит их с безумием. Даже наши правительственные деятели в Сайгоне, говоря о «зеленых беретах», называют их, обычно подмигнув, не иначе как призраками.

ЦРУ поддерживает «Кхмер-серей» («Свободную Камбоджу») — оппозицию, атакующую принца Сианука справа, — и использует стоящие вблизи камбоджийской границы особые отряды почитателей Хо Ши Мина, чтобы обучать войска «Кхмер-серей». У ЦРУ есть своя авиалиния «Эр-Америка».

ЦРУ гордится тем, что во Вьетнаме, так же как и в США, оно блюдет интересы государства более рьяно, чем откровенно проправительственные организации. Со стороны конгресса, было бы слишком глупо голосовать за ассигнования на авантюры, отдающие радикализмом, уверяют эти поборники секретности, и это, возможно, верно. Конгресс может купить бречащего на гитаре майора Мая, но не майора Би. Майора Би пришлось бы заставить несколько смягчить выражения, прежде чем использовать в домашних условиях; что означают его слова: «Вьетнамское общество целиком прогнило»? Но дело не только в подобного рода практических соображениях. ЦРУ действительно тяготеет к сближению с бывшими левыми и псевдоловыми деятелями всех сортов не меньше, чем с крайне правыми. Симпатии ЦРУ к интеллигенции вполне объяснимы. Они связаны прежде всего с тем, что интеллигенты являются живым хранилищем информации, а кроме того, ЦРУ считает

себя мозговым центром, поэтическим началом и непризнанным законодателем американского правительства. Наконец, ЦРУ как единое целое — самоучка, у которого все никак не хватает времени защитить докторскую диссертацию и которому поэтому очень важны контакты с образованными политиками, способными обосновать свои взгляды и внести какие-то конкретные конструктивные предложения. Неустанное обращение к научному жаргону всех малообразованных ораторов и комментаторов, разглагольствующих о войне во Вьетнаме, несомненно, обнаруживает влияние ЦРУ на многих людей, которые, быть может, этого даже не подозревают.

Во Вьетнаме никогда не знаешь, является ли твой случайный знакомый агентом ЦРУ или просто человеком, воспринявшим идеи этой организации. Что сказать о сержанте Маллигане (имя вымышленное)?

Окончил Бостонский колледж со званием бакалавра, получил степень магистра искусств в Пардьюсском университете, написал магистерскую диссертацию о Джоне К. Келхуне*: «Оригинальный ум, единственный оригинальный ум среди американских политиков, Джефферсон украл все у Локка и Адама Смита». На полу его «джипа» валяется «Нэшнл ривью» и брошюра «1964. Кампания запугивания, направленная против Голдуотера». Он презирует солдат южновьетнамской армии, которые спасаются бегством вместо того, чтобы сражаться (следует пример); единственные «дружественные силы», которые внушают ему доверие, — это «Кхмер-серей». Он числится в «специальных частях», но идет обедать с «зелеными беретами» (и даже готов пригласить меня):

— Это лучшие собеседники в Сайгоне.

Или о командире танкового полка морской пехоты Корсоне (подлинное имя), занятом умиротворением среди холмов, прилегающих к Данангу? Окончил Чикагский университет, учился вместе с Корзибским**, преподавал в колледже во Флориде, работал или проходил военную службу в Китае. Ему доверена «обработка» 11 тысяч крестьян. Метод, которым он пользуется, он сам называет методом «эмпирической причинности».

Его молодые офицеры сделали из папье-маше цветной макет идеальной вьетнамской деревни, что-то вроде макета яслей с

* Джон Колдуэл Келхун (1782—1850) — вице-президент США в 1825—1832 гг.

** Альфред Х. С. Корзибский (1879—1950) — американский ученый и писатель, с 1933 года директор института общей семантики в Чикаго.

младенцем Иисусом: в макете соблюдены все масштабы, и вполне вероятно, что подобная деревня будет построена. Полковник Корсон изобретателен. Он спроектировал большой свинарник, подходящий к местным условиям, и распорядился, чтобы морские пехотинцы свозили кухонные отбросы на корм крестьянским свиньям, разрешив таким образом две проблемы разом. Он попросил одного инженера построить мельницу для подводомственной ему области. Инженер принес чертеж сверхсовременного сооружения.

— Выбросьте это, — сказал я ему, — и попытайтесь вспомнить, как выглядела мельница, когда вы были мальчишкой или когда ваш отец был мальчишкой. Такую мне и постройте.

Мало того, полковник Корсон предусмотрителен. Раздав крестьянам семена, он не стал торопиться с осуществлением своей программы, а выждал некоторое время, чтобы посмотреть, не понесут ли они зерно на черный рынок. Убедившись, что все в порядке, он приступил к делу. Полковник Корсон умен. Он использовал выданные морским пехотинцам взрывчатые вещества для ловли рыбы и показал крестьянам, что в реке есть более крупная рыба, чем та, которую они вылавливали. На командном пункте он приколол к стене фотографию, запечатлевшую эту операцию; мне показалось, что он повесил ее главным образом для собственного удовольствия.

— Надеюсь, вы не собираетесь обучать этих людей ловить рыбу с помощью динамита, — сказала я.

Ответ был успокаивающим. Он сделал это только однажды, для наглядности; рыбу он отдал крестьянам, чтобы они продали ее на рынке и купили новые сети большего размера, с помощью которых они смогут ловить более крупную рыбу.

Он циник. По его мнению, выгода — это единственное, что может заставить человека заниматься производительным трудом.

— Разве вы написали «Группу» не для того, чтобы заработать деньги?

Когда я ответила «нет» и сказала, что совершенно не ожидала, что получу за эту книгу столько денег, он посмотрел на меня с нескрываемым изумлением.

— Зачем же вы тогда это писали?

* Роман М. Маккарти, опубликованный в США в 1963 году и имевший очень большой успех.

В центре макета деревни, который его офицеры заканчивали далеко за полночь, как дети, когда готовят подарки к рождеству, высился большой, окрашенный в бронзовый цвет знак доллара.

Полковник Корсон хитро ухмылялся. Он действительно собирался — так он, во всяком случае, утверждал — изготовить этот монумент семи футов высотой и воздвигнуть его посредине деревни. Молодой капитан и молодой лейтенант улыбались. Полковник Корсон был из тех, о которых говорят: «Офицеры его обожали». Отчасти из-за того, что он их забавлял, — он был человеком остроумным и насмешливым. И его фантазии отнюдь не шли вразрез с его меркантильными устремлениями. В углу макета стояли крытые соломой ульи; одного из крестьян собирались сделать пасечником. Пчелы, свиньи, зерно и крупная речная рыба — полковника, видимо, увлекала поэзия сельской жизни, хотя он не забывал и о прозе. Он пытался убедить крестьян отказаться от навязанной им французами системы бессменного возделывания одной и той же культуры — риса, так как из-за необходимости арендовать землю и платить налоги государству она делала их нищими.

Но он не хотел, чтобы его подозревали в альтруизме.

— Все это я делаю для себя, а вовсе не для вьетнамского народа.

Однажды он предложил вьетконговцам устроить открытый диспут на рыночной площади, объявив, что во время рождественских праздников придет с охранным свидетельством в любую деревню. Они не приняли вызова, но как-то ночью приблизились к расположению его части и через громкоговорители обратились к крестьянам, пытаясь настроить их против полковника.

«Он хочет заставить вас делать доллары», — говорили вьетконговцы.

— А я отвечал: «Попали в точку!»

Он с удовольствием сообщил мне, что за голову каждого из его агитаторов назначена награда — значит, победителем диспута оказался он. «Эмпирическая причинность» оправдала себя. Или «притягательная сила успеха», как он иначе это называл.

Полковник Корсон необычайно саркастически относился к другим американским деятелям, интересующимся идеологическими проблемами. Он осмелел исследование вьетнамской деревни, предпринятое группой сторонников Кеннеди, занимавшихся

изучением общественного мнения во время предвыборной кампании 1960 года.

— Двести тысяч долларов выбросили на это исследование, а опросили шесть вьетнамцев!

Он считал, что все научно-исследовательские группы, собирающие и анализирующие сведения, касающиеся Вьетнама, — их три, включая «Рэнд корпорейшн», — состоят из дураков, взяточников и потенциальных шпионов или из всех трех вместе взятых — явное предубеждение, которое я разделяю, хотя никогда не видела подготовленных ими отчетов, многие из которых засекречены. Я спросила его, что он думает о программе тиеу хой, которая мне кажется одним из самых безобразных проявлений нашей деятельности по умиротворению.

— Ведь мы тратим деньги на содержание предателей.

Полковник согласился со мной, хотя вовсе не из моральных соображений. Ему казалось глупым заниматься политическим воспитанием дезертиров.

— Это выдумал кто-нибудь из тех, кто сидит в Арлингтоне, штат Вирджиния. «Раскройте объятия!» Если мне нужен человек, я его покупаю.

К Джонсону он относился, по-моему, довольно пренебрежительно и называл его «малышка Линдон».

Мысль, что полковник Корсон по своим убеждениям относится скорее к правым, чем к левым, напрашивалась сама собой, хотя я старалась ее прогнать. Собравшись с духом, я рискнула спросить его, что он думает о Голдуотере. Капитан и лейтенант, сидящие за соседними столами, перестали печатать и обменялись улыбками. Полковник, задумавшись, опустил кружку с пивом.

— В глубине души вы сами знаете, что он дурак, — сказал он, усмехнувшись.

Угадав, что стояло за моим вопросом, он рассказал мне, как однажды в Чикаго спустил с лестницы какого-то однорукого (или одноногого) репортера.

— Он назвал меня фашистом и коммунистом одновременно.

Трудно было найти на американском политическом горизонте хоть одного человека, к которому Корсон относился бы благосклонно. Кроме, пожалуй, секретарши сенатора Джексона.

Полковник Корсон считал доллар душой «эмпирической причинности», но он не переставал посмеиваться над собой, даже, когда говорил об этом символе своей веры. Наш разговор зашел в тупик. Я не видела ничего специфически капиталисти-

ческого в том, что он кормил крестьянских свиней объедками со стола морских пехотинцев. Он пытался доказать мне, что основой основ капитализма является свободный рынок, а Маркс этого не понял. Но я с трудом следила за тем, что он говорит, потому что его речь вдруг превратилась в непроходимую чащу специальных терминов, и в этот момент я с изумлением почувствовала всю фантастичность происходящего — иронизирующий полковник сидит, как некий косноязычный Сократ, среди своих учеников, а рядом на столе — макет вьетнамской деревни. Корсон умел угадывать мысли. Несколько мгновений спустя он как бы невзначай заметил:

— В моем батальоне нет гомосексуалистов. Тех, кто на этом попадается, я выгоняю. Если парень работает на меня, ему должны нравиться девушки.

И пока я мысленно восхищалась этой идиллией в опрятной хижине посреди леса, он взглянул мне в глаза и сказал, видимо стремясь поставить все точки над «и»:

— Я зачисляю в отряд гражданских действий только тех, кто побывал в деле и убивал.

Здесь, на холмах в окрестностях Дананга, полковник Корсон был богом и дьяволом. В отличие от других офицеров — не столь одаренных и менее склонных к размышлениям — он обращался с этой маленькой страной, где люди носили конические шляпы и жили в бамбуковых зарослях, как ребенок с зажатой в кулак игрушкой.

Возможно, что на другом конце словесного спектра этот офицер морской пехоты имел больше оснований считаться революционером, чем майор Би. Во всяком случае, он был, конечно, честнее. Тем не менее внушительный бронзовый доллар, видимо, останется его личным военным памятником, правда, столь же символическим, как и трактор майора Би. Я сомневаюсь, чтобы Вашингтон когда-нибудь разрешил построить и торжественно открыть подобный монумент. Но что бы ни лежало за словами полковника Корсона, сам он относился к устаревшему типу свободных предпринимателей и, интересуясь прежде всего предпринимательством, испытывал отвращение к бесполезным тратам, с которыми так легко мирится современный капитализм. К тому же он слишком откровенно высказывал свое презрение к миссионерам, медицинским отрядам и к торговым сделкам вроде программы тиеу хой, являющейся, по некоторым сведениям, детищем ЦРУ. Поэтому я думаю, что при всей своей, как он бы это назвал, беззастенчивости, производящей иногда

пугающее впечатление, у него все-таки мало общего с «Призраком».

Программа «Открытых объятий» — типичный пример контрповстанческой деятельности, несущей на себе клеймо ЦРУ: особые отношения, сложившиеся между этой организацией и предателями (если они не куплены, это обычно интеллигенты), напоминают симбиоз полицейского и преступника. Использование предателей во время войны, конечно, не является таким уж новшеством, но раньше деятельность этих лиц ограничивалась тем, что они тайком открывали врагу городские ворота, шпионили и передавали контрабандой различные сведения, а также сеяли недовольство среди населения, то есть делали то, что великие державы пытались делать во время второй мировой войны с помощью средств современной радиотехники. Верно также, что дезертиры часто помогали улучшить военные сводки, даже когда они просто возвращались домой и больше не принимали участия в военных действиях, как поступают теперь многие солдаты южновьетнамской армии. Но опыт «холодной войны» и затем Кубы научил американцев пользоваться услугами перебежчиков, то есть политически сознательных лиц, объединяющих в одном лице предателей и дезертиров. Разница между беженцем или изгнанником и перебежчиком заключается в том, что ни беженец, ни изгнанник не делают из своего положения профессии.

Программа тиеу хой предусматривает не только широкую агитацию за переход на сторону Южного Вьетнама, ведущуюся с самолетов и вертолетов, через громкоговорители и с помощью листовок, содержащих стандартные обещания денежного вознаграждения и хорошего обращения — довольно обычные приемы во время гражданской войны, — но также превращение каждого дезертира в перебежчика посредством «перевоспитания» в лагере. В лагерях тиеу хой нет такой скученности, там никто не страдает от отсутствия воды и элементарных санитарных удобств, но они производят еще более удручающее впечатление, чем лагеря беженцев. Хой тянь, или отступник, как только он вступает на новый путь, тут же превращается в узника, приговоренного к заключению на срок от 45 до 60 дней, для того чтобы затем обрести «избранную им свободу». У него берут отпечатки пальцев, его допрашивают («Они информируют нас совершенно добровольно», — подчеркивает американский советник), внушают ему определенные взгляды и, наконец, выпускают в жизнь, снабдив целым набором удостоверений личности.

Лагерь тиеу хой, который я видела, напоминал старомодную исправительную школу: ученики-заключенные уныло бродили по двору или просто лежали на койках с ничего не выражающими лицами; один или двое писали письма. Теоретически каждый перебежчик должен был научиться какому-нибудь ремеслу (само собой разумеется, что громкоговорители всем им обещали работу), но единственным практическим подтверждением этой теории, которое я видела в одном из лагерей, был хой тянь, подстригающий волосы своему товарищу, сидящему в парикмахерском кресле, в то время как в противоположном углу той же маленькой грязной комнаты двое учеников портного кроили пижаму; в другом лагере я была во время новогодних праздников, когда никто ничего не делает, но я не заметила там никаких технических приспособлений или инструментов для работы.

Американцы признают, что программа профессионального обучения «не идет»; если верить одному из распространенных объяснений, перебежчиков так много, что не хватает оборудования — снова «жертвы успеха». И шансов на получение работы у хой тяня, обученного или необученного, практически нет. Он возвращается к гражданской жизни с клеймом бывшего вьетконговца и вдобавок еще с клеймом предателя. Одно время американцы надеялись организовать армию, целиком состоящую из перебежчиков, с полковниками, капитанами и другими офицерами (воспользовавшись, конечно, примером высадки в бухте Кочинос); они утверждали, что это создает перебежчикам «положение». Но вьетнамские военные отнеслись к этой идее неодобрительно.

Основное внимание в лагерях тиеу хой уделяется занятиям, направленным на искоренение вьетконговской идеологии. Однако довольно часто как раз во время этих занятий происходит первое знакомство с программой Вьетконга, которая многим кажется настолько привлекательной, что к концу обучения один процент перебежчиков, как правило, снова перебегает на сторону Вьетконга.

Лучшее, на что может рассчитывать хой тянь, это, очевидно, вступление в агитационный корпус. Он состоит из перебежчиков, разбитых на вооруженные отряды численностью в 36 человек, которые передвигаются по стране вместе с южно-вьетнамской армией и вооруженными силами США, стараясь приобщить население к своей новой вере; когда войска захватывают какую-нибудь деревню, на обязанности хой тяней лежит допрос подозрительных.

— Вот паршивец, — сказал один американский чиновник о хой тiane, которого он застал, когда тот пытал какого-то крестьянина.

Такова их репутация, и вполне возможно, что хой тiani проявляют особые склонности к такого рода работе.

В феврале кривая тиеу хой ползла вверх, как стрелка барометра. Возвращение блудных сынов радовало американское руководство больше, чем разрушение тайного рисового склада Вьетконга или удачный воздушный налет на Северный Вьетнам. Победы, одержанные с помощью листовок и громкоговорителей, казались им значительнее побед на полях сражений. (Все это время, как мы теперь знаем, вьетконговская армия таинственно разбухала, хотя просачивание с севера уменьшилось.)

Сами вьетнамцы относятся к программе тиеу хой без энтузиазма — они, наверное, предпочли бы просто расстреливать перебежчиков, — и американские солдаты, по сведениям репортеров, обычно тоже не питают к хой тиям особой симпатии. Этот второсортный человеческий материал является очень странной и ненадежной основой для построения общества. Если люди решаются изменить подданство под влиянием страха и голода (по сообщениям из одного американского источника, многие перебежчики больны туберкулезом), это достойно сожаления. Если их приводят в Южный Вьетнам надежды на получение работы и денег, это печально. Если они поддаются на уговоры наших пропагандистов, это смешно.

Программы «Открытых объятий» и «Революционного развития» (которые, как я замечаю, постепенно превратились в «Сельское развитие» — неужели майор Би изгнан?) являются основой общего курса умиротворения, осуществляемого США и правительством Южного Вьетнама, о чем те и другие заявляют со спокойным удовлетворением. Ничего хорошего об этих программах не скажешь, кроме того, что, несмотря на непомерные претензии — создание изолированных ячеек и перевоспитание их в духе демократии, — они весьма не эффективны.

Успехи в осуществлении программы тиеу хой зависят, конечно, не от глупых листовок и радиопередач, а от военного давления и связаны в первую очередь с бомбардировками, дефолиацией, разбрызгиванием ядохимикатов на полях, уничтожением запасов риса и теми мерами, которые известны под общим названием «контроль над ресурсами». Официально сформулированная цель этих мероприятий состоит в том, чтобы ли-

шить Вьетконг пищевых и других ресурсов, включая медикаменты и медицинский персонал: если медсестру-вьетнамку подозревают в сотрудничестве с Вьетконгом, ей грозит смерть, но, если террористический отряд Вьетконга убивает или похищает американскую или южновьетнамскую медсестру, это считается нападением на гражданское население. При этом, однако, никто не говорит о том, что все эти карательные меры, призванные вызвать голод и еще больше ослабить Вьетконг, с особенной жестокостью обрушиваются на мирное население, которое именно потому, что оно не участвует в войне, не может интересовать ЦРУ даже в качестве перебежчиков.

Но политические эксперты считают, что слово «геноцид» в данной обстановке неуместно. Оно отдает преднамеренностью. Так же как слова «бомбардировка» и «артиллерийский обстрел». Когда вьетконговцы подбрасывают бомбу в театр, это считается жестокостью, но когда американцы бомбят какую-нибудь деревню — это совсем другое дело. Если вы спрашиваете, в чем же разница, вам отвечают, что действия Вьетконга преднамеренны, а действия Соединенных Штатов случайны. Но почему, собственно, случайны, если летчики видят деревню, могут предположить, что в ней есть люди, и знают по опыту, что бомбы попадут в цель? Потому, видите ли, что летчики на самом деле сражаются с Вьетконгом, и, если от этого страдает мирное население, они здесь ни при чем, такие вещи случаются. Но ведь они случаются постоянно? Да, но каждый раз это дело случая. Получается, что, выбирая объект бомбежки, американское командование не задумывается о последствиях, в то время как каждая граната, брошенная вьетконговцем, направлена в цель в согласии с определенной теорией и потому обладает волей и сознанием.

Странно, что высокоученые эксперты, почти два десятилетия изучающие технику партизанской борьбы, коммунизм и «освободительные войны», оказались бессильными разрешить вопрос о преднамеренности в этой необычной войне, в которой сражающиеся и несражающиеся неотделимы друг от друга, а методы убийства и уничтожения почти достигли совершенства.

Если человек представляет себе, что его поступок ведет к нежелательным последствиям, он обычно его не совершает, а если все-таки совершает, и притом несколько раз подряд, продолжая утверждать, что считает последствия своих действий нежелательными, налицо необычайно глубокий и опасный рас-

пад личности. Разве не то же самое происходит с американцами во Вьетнаме, где слова как бы «случайно» теряют свой обычный смысл и вьетконговский партизан представляется человеком, слившимся воедино со своей гранатой, являющейся чем-то вроде продолжения его руки, а американец, наоборот, становится человеком, полностью отъединенным от своего точного оружия и, видимо, не контролирующим его, подобно Джонсону, который, осуществляя эскалацию войны, делает вид, что у него нет выбора и что он лишь механически отвечает на маневры Ханоя.



**ОКИНЬ
ХОЛОДНЫМ
ВЗГЛЯДОМ**

Мэри Маккарти родилась в городе Сиэтле (штат Вашингтон) в июне 1912 года. С шести лет она осталась сиротой и провела мучительное детство в доме дяди. Постоянные религиозные распри ее родных по материнской и отцовской линии — одни из них были католиками, другие протестантами — рано сделали ее атеисткой. В 1933 году она окончила Вассаровский колледж и начала самостоятельную жизнь.

Если постараться определить одним словом отношение Маккарти к современной американской действительности, этим словом будет — неприятие. Оно проявилось довольно рано и в том, что Маккарти принимала активное участие в кампании по оказанию помощи республиканской Испании, и в том, что, нарушая сложившиеся традиции своего круга, она отказывалась голосовать на президентских выборах за кандидатов республиканской или демократической партии и регулярно отдавала свой голос кандидату американских социалистов, хотя понимала, что у него нет никаких шансов быть избранным. Но еще ярче это отношение проявилось в ее творчестве.

Маккарти не сразу стала писательницей. В течение долгого времени она работала в качестве преподавателя колледжа и одновременно занималась литературным трудом. В эти годы она выступала как литературный и театралный критик, писала статьи, романы, рассказы. Главным образом рассказы. И как ни странно, хотя в рассказах Маккарти как будто не было ничего примечательного (ни новизны темы, ни изысканной формы, ни острого сюжета), именно рассказы с годами создали ей славу одной из лучших писательниц современной Америки.

«Ошеломляющая пронизательность...», «Убийственная сатиричность...» Так обычно характеризуют произведения Маккарти. В ее творческой манере больше всего поражает смелость, с которой писательница срывает все и всяческие маски, и беспощадность, с которой она разоблачает все виды ханжества, в какие бы нарядные и благопристойные одежды оно ни рядилось. Обнажить суть вещей! Когда читаешь рассказы Маккарти, кажется, что именно таков лозунг писательницы. И в этом она великолепный мастер. Самые неуловимые душевные движения героев и самые скрытые пружины их поступков, тончайшие оттенки мыслей, чувств и настроений и причины, их породившие, — все это выписано у Маккарти с предельной четкостью, конкретностью и убедительностью. Она ничего не приукрашивает. Со страниц ее рассказов встает мир современной Америки таким, каков он есть, и оказывается, что мир этот глубоко трагичен. В этом мире люди, даже близкие, не в силах понять друг друга и относиться

друг к другу с симпатией и терпимостью, человеческие отношения здесь выхолощены и превращены в светские связи, и всюду главное — деньги, деньги и деньги...

Мэри Маккарти не приемлет общество «массовой культуры» и массового обесценивания человеческих ценностей. Когда эта умная и трезвая писательница окидывает холодным и беспристрастным взглядом окружающую ее действительность, она видит каменную пустыню, в которой живая человеческая душа не может найти места для существования, и это трагическое зрелище заставляет ее возвысить свой голос, чтобы со всей доступной ей художественной убедительностью сказать людям: «Опомнитесь, посмотрите на себя! Посмотрите, во что вы обратили свою жизнь!»

Это пеллегкий путь. Читатели XX века многое видели, многое пережили, и их не всегда трогает «крик души», раздающийся со страниц того или другого литературного произведения. Но вот перед нами несколько рассказов, которые можно было бы назвать «криком разума», и при всей своей сдержанности, подчеркнутой фактографичности и нарочитой скудости красок они вряд ли оставят кого-нибудь равнодушным. Потому что Мэри Маккарти принадлежит к тем писателям, которым присуще свое индивидуальное виденье мира, позволяющее им раскрывать в привычных для всех явлениях что-то новое и значительное.

Первые четыре рассказа этого сборника — «Вот тот человек, кто он?», «Жестяная бабочка», «Д.О.Б.» и «Негодяй» — автобиографичны. Это история девочки-сироты, впервые столкнувшейся с жестокостью и несправедливостью жизни. Но неторопливое повествование, заполненное детальными описаниями замкнутого мира ребенка, пропитано такой ненавистью к ханжеству, чванству и эгоизму, что, когда со страниц «Жестяной бабочки» раздаются крики несправедливо наказанного ребенка, мы понимаем: это кричит не только маленькая девочка и не только о своей судьбе.

Девочка вырастает и превращается в женщину. Но ее жизнь не становится счастливее. Героиня рассказа «Сорняки» хочет расстаться с мужем, потому что он убивает в ней человека. Она мечтает вырваться из клетки, в которую ее заточили светские условности. Но ее усилия тщетны. Не только потому, что у нее не хватает силы воли или решимости, а потому, что ее стремление жить разумной и творческой жизнью наталкивается на неодолимую преграду: в том мире, в котором она существует, это невозможно.

Другая молодая женщина, из рассказа «Жестокое и бесчеловечное обращение», более опытна, она хорошо усвоила правила игры и одержала победу — ей удалось стать свободной. Но ее победа — это тоже фикция. Это тоже «дорога в никуда». Потому что, обретя свободу, она не знает, как ею воспользоваться, а свободная и бесцельная жизнь так же бессмысленна, как жизнь в клетке.

В рассказах «Сорняки» и «Жестокое и бесчеловечное обращение» герои безымянны. Автор называет их «Он», «Она», «Молодой Человек». Но эта условность воспринимается как нечто совершенно естественное, потому что главные действующие

щие лица этих рассказов настолько своеобразны и вместе с тем настолько типичны, что имея в данном случае было бы просто лишней деталью.

Уйдя от мужа, героиня рассказа «Жестокое и бесчеловечное обращение» начинает новую жизнь. Один из вариантов этой жизни описан в «Ловкаче». Рассказы Маккарти, как правило, глубоко психологичны, но при всем внимании, которое она уделяет внутреннему миру человека, Маккарти интересуется не столько людьми как таковыми, сколько их отношениями друг с другом и с обществом. Поэтому каждый ее рассказ — это своеобразное исследование, посвященное какому-то определенному феномену, характеризующему жизнь современного общества: феномен брака («Сорняки»), развода («Жестокое и бесчеловечное обращение»), дружеских связей («Друг дома») и т. д. «Ловкач» — это психологический этюд на тему о том, что такое деловой успех, какой ценой он достигается и что он с собой приносит. Написанный в спокойной реалистической манере «Ловкач» поражает своим неожиданно трагическим звучанием, которое совершенно не ощущается, пока не дочитываешь рассказ до конца.

Такого рода неожиданности вообще характерны для Маккарти. Сюжет ее рассказов строится как подъезд к объектам особо важного значения: повествование плавно течет, включая все новые и новые подробности, казалось бы, не имеющие прямого отношения к развитию действия, но вдруг — резкий поворот, и вы у цели. В это мгновение разрозненные детали образуют законченную картину, как бы освещенную лучами прожекторов, свет которых направлен не на конечный пункт вашего путешествия, а на ведущую к нему дорогу.

В «Друге дома» эта особенность стиля Маккарти проявилась, пожалуй, нагляднее всего. Поначалу этот рассказ кажется почти идиллией: благовоспитанные люди благовоспитанно проводят время, озабоченные только проблемой собственного благополучия и удовольствий. Но стремление к благополучию оборачивается откровенным себялюбием, а себялюбие — одиночеством, и рассказ превращается в злейшую сатиру на безликое и бесчеловечное общество, в котором живые люди становятся бездушными куклами.

Так возникает широкая панорама жизни, складывающаяся, казалось бы, из хорошо знакомых элементов — человеческие взаимоотношения, деловые успехи, поиски пути и т. д. — и вместе с тем совершенно неожиданная, потому что она разворачивается в необычном ракурсе: автор не только тщательно вырисовывает образы своих героев, глядя на них, так сказать, со стороны и объективно показывая трагичность их борьбы за более достойную жизнь, он еще как бы присутствует в каждом из них, отдавая всем им частицу своей души и вместе с ними ненавидя, осуждая и разоблачая враждебный им мир.

Но Маккарти не удовлетворяется тем, что безжалостно разрушает нарядный фасад, обнажая неприглядную сущность современной благоустроенной жизни. Ей хочется показать, что представляет собой все это величественное здание, именуемое буржуазной цивилизацией XX века. И, выполняя поставленную

перед собой задачу, она проявляет редкое мужество и настойчивость. Раскрывая мотивы, движущие поступками людей, она будто превращает свое перо в скальпель. Раскрывая мотивы, движущие действиями государств, она едет во Вьетнам, чтобы собственными глазами увидеть, что там делается, и честно рассказать об этом всему миру. Так смыкаются творческие и общественные интересы этой уже немолодой женщины, искренне стремящейся помочь своим мятущимся современникам. Из этого единства, видимо, и рождается то отношение к миру, которое составляет своеобразие творческой манеры Мэри Маккарти; та цельность, которая придает ее произведениям особую насыщенность и глубину.

Ю. Родман

ВОН ТОТ ЧЕЛОВЕК, КТО ОН?



Сколько раз мы ни оставались ночевать у бабушки, нас всегда укладывали спать в швейной — неприветливой, обшарпанной, узкой комнате, явно хозяйственного назначения, больше похожей на мастерскую, чем на спальню, и на чердачную каморку, чем на мастерскую, — бедной родственнице среди остальных комнат дома. Сюда редко заходили другие члены семьи, здесь редко убирала горничная, эта комната сносила все. Старая зингеровская машина, несколько сложенных стульев, лампа без абажура, рулоны оберточной бумаги, пирамиды картонных коробок — вдруг когда-нибудь понадобятся, — пакетики булавок и обрезки материи, так же как складные железные койки, расставленные специально для нас, и голый дощатый пол ясно и безжалостно говорили нам о временности нашего пристанища. Окна без занавесок и изношенные белые покрывала вроде тех, которые бывают в больницах и благотворительных заведениях, напоминали нам, что мы сироты и пробудем здесь недолго; ничто в этой комнате не давало нам повода относиться к ней, как к своему дому.

В семье считалось, что иллюзии слишком большая роскошь для «детей бедного Роя», как сочувственно называли нас четверых. Мы лишились этого блага из-за внезапной смерти отца, который умер от триппа и увел с собой в могилу нашу молодую мать — непозволительный поступок, о котором говорили с ужасом и сожалением, как будто наша мать была хорошенькой секретаршей и отец легкомысленно скрылся с ней в безоблачных райских кущах. Это несчастье запятнало нашу репутацию. Не только среди родственников, но и среди лавочников, слуг, трамвайных кондукторов и других связанных с нашей семьей людей существовало мне-

ние, что наш богатый дед проявил неслыханную щедрость, дав деньги на содержание внуков и поселив нас с пожилыми угрюмыми родственниками в обветшалом доме в двух кварталах от своего собственного. Был ли у него какой-нибудь другой выход, мы не знали; по-видимому, он мог отдать нас в сиротский приют, и никто не стал бы его порицать. Во всяком случае, все вокруг и даже те, кто хорошо к нам относился, считали, что нам выпало большое счастье: ведь мы были совершенно бесправны, а то, что на ежегодных праздниках в доме дяди, которые устраивались в день всех святых или на рождество, мы выглядели такими унылыми, плохо одетыми и болезненными рядом со своими румяными, нарядными двоюродными братьями и сестрами, только подтверждало сложившееся мнение — конечно же, нас держат в семье из милости! Так чем хуже нам жилось, тем величественнее казалось дедушкино милосердие, и, глядя с простодушием и робостью на розовощекого седоволосого ревматика, украшающего бутонами роз петлицу своего пиджака и свой «пайерс-арроу»*, мы разделяли это мнение, считая дедушку кладезем доброты и благодати, поэтому пятицентовая монетка, которую он изредка нам давал, чтобы в воскресенье опустить в кружку для пожертвований (наше обычное приношение составляло 2 цента), вызывала у нас не зависть, а искреннее восхищение его могуществом: вот что значит поступать по-царски, вот что значит проявлять широту. Нам не приходило в голову осуждать его за то, что мы живем совсем не так, как он. Если мы и чувствовали горечь, то только по отношению к нашим непосредственным телохранителям, которые, как мы были уверены, присваивали деньги, предназначенные для нас, потому что уровень благосостояния, достигнутый в доме дедушки и бабушки, — электрические печки и газовые камины, пледы и шали, нежно укутывающие старые колени, белое мясо цыплят и красная вырезка говядины, серебро, крахмальные скатерти, горничные, заботливый шофер — ясно показывали нам, что рисовый пудинг с черносливом, облезлые стены и залатанная одежда существовали hors concours** от этих людей и не могли иметь к ним никакого отношения. Богатство, в нашем представлении, означало широту души, а бедность была признаком скудости.

Но если бы даже мы не сомневались в честности наших стражей, у нас все равно не хватило бы решимости расстаться со сказкой о добром дедушке, выдуманной для нас родствен-

* Одна из распространенных марок автомобилей.

** Здесь: вне зависимости (франц.).

никами. Выражаясь фигурально, мы были слишком детьми, чтобы усомниться в его благородстве и спросить себя, почему он позволяет нам жить в голоде и холоде у себя под боком и прячет свои добрые голубые глаза под густые нависшие седые брови каждый раз, когда видит у своих колен несомненные доказательства наших страданий. Официальный ответ мы знали: наши благодетели слишком стары, чтобы взять к себе в дом четверых плохо воспитанных маленьких детей; к тому же наш дедушка поглощен делами и ревматизмом, которому он посвятил себя как некоему благочестивому долгу и во имя которого совершал паломничества то к святой Анне Боприйской, то в Майами, с одинаковой почтительностью уповая на чудотворную силу северной богоматери и южного солнца. Ревматизм даровал дедушке призвание — он жил, отмеченный особым знаком, как художник или поседевший рыцарь Галахед. Болезнь отделяла его от нас всех и даже от бабушки, не страдавшей этим недугом, что в какой-то степени лишало оправдания ее существование и заставляло держаться с нами более резко и воинственно. Она догадывалась, что, несмотря на все благодеяния, ее не трудно осудить, и, умудренная жизненным опытом, сама постоянно выискивала в нашем поведении признаки неблагодарности.

На самом же деле мы были благодарны до подобострастия. Мы ничего не требовали, ни на что не надеялись. Мы были довольны, если нам разрешали погреться в отраженных лучах их ослепительного преуспевания, и иногда приходили в этот дом, только чтобы посидеть в летний день на тенистой веранде, а зимним утром на плетеных стульях в гостиной с французским окном или посмотреть на пианолу в музыкальной комнате, вдохнуть запах виски, хранящегося в библиотеке в шкафу красного дерева, и побродить в темной гостиной, рассматривая вывезенные из Европы картины в огромных золоченых рамах под стеклом: сумрачные итальянские групповые портреты, исполненные благочестия и отливающие глянцевым блеском, как виноградные гроздья; изображения неаполитанок, несущих корзины на рынок; каналы Венеции, сцены уборки урожая в Тоскане — вечные темы, которые в ирландско-американских умах как-то связывались с католицизмом из-за территориальной близости к папе. Нам не нужно было ничего, кроме возможности гордиться принадлежностью к их дому, и в этом было наше счастье, так как моя бабушка, исходявшая в вопросах гостеприимства из принципа «дай им палец, они откусят всю руку», насколько я помню, ни разу не предложила

ни одному гостю даже самого скромного угощения, считая, что ее беседа сама по себе достаточно содержательна и благотворна. Уродливая суровая старуха с огромной, как будто каменной, грудью, она постоянно разглагольствовала на одну из своих излюбленных тем, произнося слова монотонным голосом священника, служащего мессу, от чего в них появлялась какая-то бессмысленная торжественность: аудиенция, которой ее удостоил папа; история о том, как мой отец нарушил семейные традиции и проголосовал за демократов; поездка в Лурд; священные римские ступени, запятнанные кровью в первую страстную пятницу, по которым она поднималась на коленях; кривые пальцы у меня на руках, означающие, что я лгунья; чудодейственная кость; необходимость регулярного освобождения кишечника; коварство протестантов; обращение моей матери в католичество; неопровержимые факты, доказывающие, что моя вторая бабушка-протестантка красит волосы. И даже воспоминания о самых незначительных событиях (однажды моя тетка, разрыдавшись, зарылась в стог сена) рассказывались таким тоном и обставлялись такими благочестивыми подробностями, что они звучали как строгое назидание; тем, кто ее слушал, становилось страшно, они чувствовали себя виноватыми и с беспокойством старались угадать, что кроется за ее словами, как будто им рассказывали непонятную, загадочную притчу.

К счастью, я пишу воспоминания, а не повесть или роман, поэтому я не отвечаю за неприятный характер своей бабушки и мне ни к чему ссылаться на эдипов комплекс или говорить о последствиях травмирующего опыта, чтобы придать ее образу ту клиническую достоверность, которая так ценится сейчас в литературе. Я не знаю, как бабушка стала тем человеком, каким она была; семейные фотографии и неизменность ее привычек заставляют меня думать, что она всегда была такой и что изучать ее детство, наверное, так же бесполезно, как спрашивать, что мучило Яго, или пытаться объяснить жестокосердие леди Макбет отсутствием должных гигиенических навыков. Супружеская жизнь моей бабушки, несмотря на смерть нескольких детей, что вовсе не являлось редкостью в ее время, протекала счастливо и плодотворно: в семье выросли три высоких красивых сына и заботливая дочь. Муж относился к ней ласково. У нее были деньги, много внуков и религия, служившая ей опорой. Седые волосы, очки, мягкая кожа, морщины,

рукоделие — она обладала всеми атрибутами материнства и все-таки была холодной, завистливой, сварливой старухой. Целые дни она проводила в собственной гостиной с французским окном на солнечную сторону, вышивая по канве готовые узоры, листая религиозные журналы и яростно обрушиваясь на всех и каждого при малейшей попытке нарушить установленные ею порядки.

Мне кажется, что воинственность была главной чертой ее характера. Ревностная посетительница церкви, она не знала никаких христианских чувств, и милосердие господ нашего Иисуса было глубоко чуждо ее сердцу. Ее благочестие проявлялось лишь в непрестанной борьбе с засильем протестантов. Религиозные журналы на ее столе давали ей не пищу для размышлений, а новые поводы для гнева; ее любимым чтением были статьи, осуждающие контроль над рождаемостью, разводы, смешанные браки, Дарвина и светское образование. Церковные догматы она использовала только как средство угнетения окружающих; «Чти отца своего и мать свою» — эта заповедь, которой ей самой уже больше не приходилось следовать, особенно часто была у нее на языке. Молясь богу, она просила его не об укреплении духа, а об искоренении протестантов. Ее мысли были постоянно заняты обращением в католичество. Каждая новая душа, уловленная для бога, пробуждала в ней радостные чувства — одним протестантом на свете стало меньше. Миссионерская деятельность с упором на добрую волю и добрые дела занимала ее гораздо меньше; урожай душ сам по себе был ей совершенно безразличен.

Нетерпимость бабушки проявлялась не только в чисто сектантском энтузиазме. С таким же рвением она была готова защитить мебель и дом от воображаемого вторжения посетителей. Этот ее пыл не имел ничего общего с тем смиренным и робким желанием что-то уберечь и сохранить, которое часто встречается у старых женщин, трепещущих за свое имущество с истинно трогательным беспокойством, рождающимся из убеждения, что все предметы вокруг них так же хрупки, как их старые кости, и превращающим звон разбившейся чашки в трубный глас, извещающий о гибели человечества. Моя бабушка отличалась властным характером, она терпеть не могла, когда сидели на ее стульях, или ходили по ее лужайкам, или открывали краны в ее раковинах, главным образом потому, что считала это проявлением своеволия. Она сердилась даже на почтальона за то, что он ежедневно ходит по ее тротуару. Дом бабушки был центром державы, и она не могла

допустить, чтобы легкомыслие и панибратство умаляли его значение. Под ее ревнивым оком эта твердыня постепенно лишлась всех связей с внешним миром и превратилась просто в политический штаб нашей многочисленной семьи. Здесь собирались семейные советы, устраивались консультации с врачами или священниками, сюда приводили непокорных детей, чтобы прочесть нотацию или дать время одуматься, здесь читали завещания, договаривались об условиях займа и в исключительных случаях даже принимали протестантов. У семьи не было друзей, а приглашение в гости родственников считалось глупым и пустым делом. Заботы о воскресных обедах перекладывались на плечи менее важных членов семьи; дочери и невестки (расставшиеся с ложной верой) разносили на блюде торт с мороженым, похожий на голову Иоанна Крестителя, в то время как старики торжественно восседали за столом, и ничто, кроме процесса переваривания пищи, сопровождавшегося загадочными глухими залпами, не напоминало о торжественном дне.

Но все-таки одно страшное событие заставило бабушку распахнуть двери своего дома. Она взяла всех нас к себе в те роковые дни эпидемии гриппа, когда в больницах не было ни одной свободной койки и люди ходили в масках или сидели, запершись, у себя дома, а непреодолимый страх перед заразой парализовал всю деловую жизнь и сделал каждого врагом своему соседу. Одного за другим нас вынесли из поезда — четверых детей и двух взрослых, приехавших с берегов далекого Пьюджет Саунда *, чтобы начать новую жизнь в Миннеаполисе. Махая на прощанье рукой, в день отъезда из Сизтла мы не знали, что вместе с подарками и цветами увозим в наших купе грипп, но по мере того, как поезд двигался на восток, болезнь разила нас одного за другим. Нам, детям, казалось, что озноб, пробирающий нас до костей, и оцепенение, из которого не выходила лежащая на вагонной полке мама, каким-то образом связаны с нашим путешествием (мы привыкли, что серьезные заболевания влекут за собой перемены — они всегда кончались появлением в доме нового младенца), и, увидав, что отец пригрозил револьвером проводнику, попытавшемуся высадить нас из поезда на маленькой станции среди прерий Северной Дакоты, мы окончательно уверовали в то, что нас ожидают удивительные приключения. На перроне в Миннеаполисе стояло кресло на колесах, толпились санита-

* Залив на берегу Тихого океана.

ры, носильщики, растерянные служащие, и позади них в толпе виднелось розовое лицо дедушки, его сигара, трость и бабушкина шляпа с перьями, придававшая какую-то торжественность этому странному, непонятному зрелищу и вселявшая в нас уверенность, что болезнь — это начало чудесного праздника.

Мы вернулись к действительности через несколько недель в швейной комнате и сразу оказались в деловой обстановке кастанки, термометров в заднем проходе и раздражительных нянек, но хотя мы еще не знали о смерти родителей, скончавшихся так близко от нас, что еще немного, и мы бы сами все слышали, — смятение и переполох, гробовщики, гробы, приходят и уходят священники (мамочку и папочку, уверили нас, увезли в больницу, чтобы они скорей поправились) — мы поняли, как только у нас спал жар, что все вокруг нас изменилось и мы сами тоже стали другими. Мы, так сказать, уменьшились в размерах и поблекли, как наши бумажные пижамы, которые за эти несколько недель постоянной стирки в дезинфицирующих растворах стали совсем тонкими и обтрепанными. Обращение взрослых — резкое, неласковое, деловитое — без всяких околичностей дало нам понять, что наше существование уже не имеет такого значения, как прежде: наша ценность понизилась, и наш новый образ — образ сирот, если только мы догадывались об этом, — уже складывался в нашем сознании. До сих пор мы не знали, что мы «испорчены», но теперь это слово, впервые войдя в наш лексикон, стало для нас символом перемен и провозвестником нового порядка. Нас испортили до того, как мы заболели, в этом заключалась суть дела, и все, чего мы не понимали, все непривычное и неприятное становилось оправданным, стоило только принять эту новую концепцию. До сих пор никто не сваливал подносы к нам на кровать, нас не заставляли есть кашу без сахара и без сливок, а лекарство выпивать залпом, потому что кому-то некогда подождать, мы не знали, что руки можно рывком засовывать в рукава, что причесывать можно так, чтобы гребешок рвал волосы, что можно купать в спешке, приказывать сесть или лечь немедленно и без всякого баловства, не отвечать на вопросы, не обращать внимания на просьбы и заставлять нас часами лежать одних в ожидании врача; но все это, оказывается, было лишь пробелом в нашем воспитании, и бабушка вместе со своими домочадцами настойчиво стремилась возместить нанесенный нам ущерб.

Они, безусловно, руководствовались самыми добрыми побуждениями: конечно, нам пора было распрощаться с представлением, что весь мир к нашим услугам. Прежняя счастливая жизнь — корзины цветов в праздник весны, стихи в день святого Валентина, пикники в саду, замысловатые снежные бабы зимой — действительно плохо подготовила нас к будущему, открывшемуся теперь перед нами, и вряд ли можно было упрекать наших новых наставников за то, что они не питали симпатии к нашим родителям, оказавшимся столь непредусмотрительными. Решительно всем нам было выгодно, чтобы мы забыли о прошлом — чем скорее, тем лучше, — и постоянное осуждение нашего прежнего образа жизни («Подумать только, чай, шоколад, глазированные булочки! Нет ничего удивительного, что бедная Тесс вечно посылала за врачами»), так же как неизменно сопоставительные похвалы («Вы даже не представляете, насколько лучше стали эти дети!») подчеркивали заслугу говоривших и подготавливали нас к осознанию потери, которая к тому же была непоправимой. Как все дети, мы стремились жить в согласии с миром, и убеждение, что наша прежняя жизнь была в чем-то смешной и неправильной, смущало нашу память, как смущает присутствие чужих людей ребенка, декламирующего стихотворение. Мы больше не требовали, чтобы с нами обращались как прежде, и желание видеть родителей постепенно слабело. Скоро мы перестали говорить о них и в конце концов без слез и бурных сцен поняли, что они умерли.

Почему никто, и прежде всего бабушка, которой эта тема, казалось, была так близка, не взял на себя труд сказать нам об их смерти — сейчас невозможно постигнуть. Так легко вообразить, как она «обрушивает» эту новость на тех из нас, кто был достаточно взрослым, чтобы слушать ее речи во время официальных встреч, когда ее «я» распухало, становясь тяжеловесным и противоестественным, как ее чудовищный бюст, как пионы, ее любимые цветы, или как портновский манекен, этот напыщенный слепок с нее самой, из приличия полуприкрытый простыней, который стоял в швейной комнате, придавая ей музейную торжественность и возбуждая наше сексуальное любопытство. Я отчетливо слышу ее слова, хотя она никогда их не произносила. Руководствовалась ли она соображениями гигиены (ум может бездействовать, но кишечник должен работать) или ложно понятой доброты, трудно сказать. Вероятно, она не хотела видеть наших слез, которые могли бы пролиться на нее дождем упреков; ведь семейная политика

строилась на аксиоме о нашей полной бесчувственности — предположении, позволявшем обращаться с нами как с предметами обстановки. Трех моих братьев, едва только их можно было без риска поднять с постели, не тратя времени на объяснения и нежности, отправили в другой дом — они так малы, разве они могут «понять», да они просто не заметят перемены, «если Майерс и Маргарет не проговорятся», — слышала я шепот взрослых. Но когда речь зашла обо мне, бабушка и бабушка, видимо, заколебались. Мне исполнилось шесть лет, я была достаточно взрослой, чтобы «помнить», и в глазах семьи это давало мне право на большее внимание, как будто моя память была адвокатом, защищавшим меня в суде. Поэтому, считаясь с моим возрастом и предполагая, что я уже способна судить и сравнивать, меня оставили еще на некоторое время бродить тенью по бабушкиным гостиным — неприкаянное несложившееся создание, головастик, превращающийся в лягушонка, — в то время как моих братьев, бедных маленьких полипов, уже поместили в новую среду. Я не старалась узнать, что с ними стало. Наверное, я думала, что они умерли. Но их судьба не очень меня интересовала, мое сердце окоченело. Я гордилась своей проницательностью, догадавшись, что произошло с моими родителями, как ребенок, который гордится открытием, что Санта Клаус не существует, но я ни с кем не поделилась своей тайной и даже не призналась в ней самой себе, потому что я не хотела к ней прикасаться, я не хотела единения с этой потерей. Недели, проведенные в доме бабушки, с трудом оживают у меня в памяти; мне кажется, что они заключены в черную рамку, как траурная открытка: темный колодец лестницы, где я проводила целые дни в надежде встретить маму, когда она будет возвращаться из больницы, а потом просто бродила без всякой надежды вверх и вниз; по-зимнему тусклая комната в какой-то странной школе, куда я ходила в первый класс; грязно-коричневые стены врачебного кабинета, где я каждую субботу плакала и кричала «не надо!», пока меня держали на столе и неизвестно для чего подвергали действию электрошока. Но я не могла вечно находиться в таком привилегированном положении; мне тоже пора было занять свое место.

— Кто-то пришел к тебе, — объявила мне однажды днем хитро улыбавшаяся горничная, очевидно знавшая, в чем дело.

У меня подскочило сердце (кто это мог быть, кроме них?), еще немного — и мне стало бы дурно, горничной пришлось

подталкивать меня в спину. Но мужчина и женщина, сидевшие вместе с бабушкой в гостиной с французским окном, оказались чужими людьми средних лет, неприятной наружности — бабушкина сестра с мужем, — которым в ответ на их пристальные взгляды я должна была дать руку и улыбнуться, чтобы произвести хорошее впечатление, потому что Майерс и Маргарет, как сказала бабушка, сегодня же возьмут меня к себе домой и отныне я буду жить вместе с ними.

Как только возник этот новый семейный очаг, смерть наших родителей стала официально признанным фактом, и настала пора отдать дань чувствам. Непосредственные воспоминания об умерших, об их красоте, веселости, хороших манерах, естественно, не встречали одобрения со стороны наших стражей, не обладавших ни одним из этих качеств, но почитание памяти родителей считалось очень полезным упражнением. Наши вечерние молитвы стали длиннее, потому что теперь мы молились еще за упокой души отца и матери, и наши стражи могли умиляться, глядя, как мы вчетвером стоим рядышком в пижамах, из которых не видны ноги, и держа перед собой сложенные ладонями руки, повторяем зауспокойные молитвы. «Упокой, господи, души их, и да светится над ними вечный свет», — раздавались наши тонкие голоса, но это напоминание о родителях, так трогавшее Майерса и Маргарет, было для нас лишь исполнением одной из каждодневных обязанностей. Мы связывали его с потушенным светом, умыванием и всеми остальными вечерними процедурами, но в особенности с липкой лентой, которой ежедневно, как только мы кончали молиться, склеивали наши губы, чтобы заставить нас дышать носом и лишить дара речи до утра, когда ленту удаляли с помощью эфира, что вовсе не делало эту операцию менее болезненной. Мы не могли понять, почему Майерс и Маргарет заставляют нас вспоминать об отце и матери, место которых они заняли, и почему они обращаются с их душами почти как со своей собственностью, как будто смерть, не признающая никаких привилегий, отдала наших родителей во власть этим людям.

С тем же недоумением мы приходили на кладбище и смотрели на могилы. Эти прогулки, не стоившие Майерсу и Маргарет ни гроша, были нашим обычным воскресным времяпрепровождением, и мы возненавидели их, как ненавидели все развлечения, которые они нам навязывали, — выставки товаров в универсальных магазинах, концерты духового оркестра, парады, прогулки к Дому престарелых воинов, в ботанический

сад, в городской парк, где мы видели, как другие дети катаются на пони, в зоопарк, к водонапорной башне — бесплатные зрелища, требовавшие долгих поездок в трамвае, длительной ходьбы пешком или столь же длительного ожидания, утомительные и малопривлекательные, как все американские увеселения для бедных. Могильные холмики, в которые обратились наши родители, казались нам чем-то вроде ядер времен гражданской войны или памятника неизвестному солдату. Мы тупо смотрели на них, ожидая, что в нас пробудятся какие-нибудь чувства, но эти две одинаковые грядки, поросшие травой и украшенные только что сделанными надгробиями, не возбуждали в нас никаких эмоций, и, устав от бесконечного смотрения в одну точку, мы просили разрешения поиграть около какой-нибудь более величественной усыпальницы, которая, по крайней мере, давала пищу нашей фантазии.

Что же касается бабушки, то для нее воспоминания об умерших стали ритуалом, который она считала нужным выполнять всякий раз, когда мы по какому бы то ни было поводу появлялись у нее в доме. Повод же обычно оставался неизменным. Мы (то есть я или мой брат Кевин) убегали из дому. Не сговариваясь, я и старший из моих братьев решали сделать одно и то же — попасть в приют для сирот. Заметив, что упоминание о нашем сиротстве всегда вызывало сочувствие у незнакомых людей, мы истолковали слово «приют» как «прибежище» и решили, что красный кирпичный дом на берегу Миссисипи, который мы однажды видели из окна трамвая, и есть то место, где мы укроемся от всех зол и несправедливостей. Поэтому время от времени, когда наша жизнь становилась непереносимой, один из нас пускался в путь, полный решимости отыскать этот дом и добиться осуществления своих, как мы считали, законных прав на защиту. Иногда мы сбивались с дороги, иногда нам не хватало храбрости, но так или иначе, прохажив весь день по улицам, наглядываясь на чужие дворы, изверившись в мягкосердечии домовладельцев (мы надеялись, что нас кто-нибудь усыновит) и проведя холодную ночь в церковной исповедальне или за какой-нибудь статуей в музее изобразительных искусств, мы возвращались к дверям бабушкиного дома, куда нас приводил полицейский, или кто-нибудь из доброжелательных обывателей, или просто страх и голод. Нас молча принимали и созывали семейный совет. Мы проводили в швейной одну, иногда две-три ночи, пока не успокаивались настолько, что нас можно было отправить назад, ошастливив обещанием, что мы не будем наказаны и что

жизнь, от которой мы пытались убежать, будет продолжаться, «как будто ничего не случилось».

Так как обычно мы исчезали из дому, чтобы избежать какого-нибудь особенно неприятного наказания, эти побеги все-таки облегчали нашу участь, но, несмотря на шпильки наших стражей, ядовито поздравлявших нас с такой «догадливостью», мы вовсе не считали, что возвращаемся домой победителями, так как нам все-таки приходилось возвращаться. Мы долго не могли забыть боли в затекших руках и ногах и пережитых страхов. Тщетность наших попыток спастись бегством отдавала нас, как мы думали, целиком и полностью на милость наших стражей. Мы лишались последнего оружия — ведь было совершенно ясно, что они всегда могут нас вернуть, и мы просто не понимали, почему они не воспользуются своими преимуществами и не переломают нам все кости, как они не раз обещали. Мы тщетно гадали, что спасает нас от гибели, может быть, чудо? Что никакие гуманные побуждения не могут заставить всемогущих отступить, в этом мы не сомневались. Мы не подозревали, что наши побеги наводили ужас на всю родню, сделавшую, как считалось, все возможное, чтобы устроить нас наилучшим образом, и в результате оказавшуюся беззащитной перед людским злословием. Что скажут протестанты, если случится что-нибудь еще более страшное? Самоубийства детей не были такой уж редкостью, а маленького, послушного, страдающего астмой Кевина однажды нашли под домом с коробкой спичек. Признавать свои ошибки было не в обычаях наших родных, но им все-таки пришлось допустить, что Майерс и Маргарет не очень хорошо справляются со своими обязанностями. Боясь, что мы совершенно отобьемся от рук, если не смягчить нас перед водворением домой какими-нибудь поблажками, бабушка устраивала для нас что-то вроде пребывания на ничейной земле. Она не желала знать о наших бедах, не утешала нас, но комфорт ее дома действовал на нас успокаивающе, как машинальное поглаживание материнской руки. Мы с удовольствием ели и пили; при всем своем жестокосердии бабушка была практичной женщиной, и ей не приходило в голову утруждать себя перестройкой домашнего бюджета и приказывать кухарке готовить кашу с комками, разваренную в кипятке картошку или покупать на рынке репу, пастернак и все остальные ненавистные нам овощи только для того, чтобы создать условия, которых мы, по ее мнению, заслуживали. Даже паштет из трюхи может оказаться дорогим, если его готовить на заказ.

Она, конечно, не догадывалась, с какой радостью мы оставались у нее, как только переставали бояться, что нас накажут. Ее представления о нашем образе жизни имели мало общего с действительностью. Бабушка не посещала наш дом и не интересовалась заведенными в нем порядками, но зато проявляла повышенную чувствительность к малейшим отклонениям от нормы, когда речь шла о глазах или зубах (очки, металлические пластинки и другие уродливые приспособления, эти единственные уцелевшие признаки нашего буржуазного происхождения, стояли стеной между нами и остальными школьниками, как кастовые знаки какого-нибудь примитивного племени). В то же время она, казалось, совершенно не замечала штопку и заплаты на нашей одежде, запущенные ногти, тонкие, как жерди, руки, нашу молчаливость и наши старообразные лица. В ее воображении наша жизнь была украшена подарками, которыми она нас когда-то благодетельствовала, — песочницей, деревянными качелями, коляской, игрушечной каретой скорой помощи, пожарной машиной. Для нее все эти предметы навсегда сохранили свою первозданную красоту; через несколько лет после того, как в песочнице не осталось песка, а навес над ней давно прогнил, она все еще с нежностью спрашивала о желтенькой песчаной горке и выражала неудовольствие, если мы не присоединялись к ее восторгам. Как многие эгоисты (я знаю это по себе), она была способна проявить широту натуры, но собственная щедрость производила на нее такое сильное впечатление, что она не могла забыть о ней даже тогда, когда практические результаты ее поступка давно переставали существовать. Так было с коричневой касторовой шляпой, которую я носила у нее на глазах четыре года, и ни вытертый ворс, ни бесформенные поля, ни превратившаяся в лохмотья лента не привлекали ее внимания, потому что она была ослеплена ярлычком с ценой, висевшим на шляпе, когда она ее покупала. Но какими бы узорами ни расширяло ее воображение бесцветную канву нашей жизни, она не могла не видеть, что, проведя с ней один-два дня, мы успевали заметить разницу между двумя домами, и наше радостное удивление льстило ее самолюбию.

Слыша наши восклицания за столом или в теплой, уютной ванне с ковриком для ног и электрическим обогревателем, она одаривала нас ласковыми улыбками. Что за смешные маленькие существа, радующиеся обычным удобствам повседневной жизни! Наше восхищение подогревало в бабушке дух соревнования: видя нас такими довольными, она сравнивала себя

с нашими стражами, и, хотя по понятным причинам ей не хотелось умалять их достоинства («Вы, дети, совсем не цените то, что Майерс и Маргарет для вас сделали»), приятное ощущение собственного величия заставляло ее относиться к нам немного теплее. Мы даже начинали питать друг к другу нежность. Нам казалось, что она неохотно разлучается с нами и, может быть, даже испытывает угрызения совести.

— Постарайтесь вести себя хорошо, — говорила она, когда наставало время расставаться, — не раздражайте тетю и дядю. Мы могли бы устроить вас иначе, если бы нужно было заботиться только об одном из вас.

Это проявление участия, это молчаливое признание истинного положения вещей не только не пугало нас, как можно было ожидать, против бабушки и дедушки, для которых незнание могло бы служить оправданием, но, наоборот, давало нам чувство удовлетворения — наши страдания становились менее обыденными, если их признавали, если мы добровольно принимали их, вступив за спиной наших стражей в тайный сговор с бабушкой и дедушкой.

Разговоры о родителях, которые мы вели во время этих передышек, создавали между нами и бабушкой внутреннюю связь, углублявшую нашу взаимную симпатию. В отличие от Майерса и Маргарет и болтливых дам, которые иногда приходили к нам в гости, кажется, только ради удовлетворения своего непристойного любопытства (Как вы думаете, они помнят своих родителей? А они когда-нибудь говорят о них?), бабушка не стремилась возбуждать в нас чувство скорби.

— Девочка нисколько от этого не страдает, — слышала я, как она доверительно, но с удовольствием и без осуждения сообщает гостям, как будто речь идет о кастрированной кошке, о которой она благодаря своей исключительной прозорливости вовремя сумела «позаботиться».

По прошествии некоторого времени смерть наших родителей стала для бабушки событием, о котором она вспоминала без огорчения и даже с некоторым удовлетворением. Каждый раз, когда мы ночевали у нее, нам в виде особой милости разрешалось взглянуть на комнаты, в которых умерли наши отец и мать, ибо то обстоятельство, что они «скончались каждый в своей комнате», казалось бабушке особенно романтическим и в то же время лестным, поскольку разлучение в смерти тех, кто любил друг друга при жизни, было похвально уже

само по себе и, кроме того, свидетельствовало о заслугах хозяйки, сумевшей предоставить для этого случая две приличные спальни. Бытовые подробности, связанные с этой трагедией, занимали ее больше, чем сама трагедия.

— Я превратила свой дом в больницу, — любила повторять она, особенно в присутствии гостей. — В то время легче было достать птичье молоко, чем сиделку, а уж какие требования они предъявляли! Вы даже представить себе не можете, сколько эти девицы запрашивали за час.

Она с нежностью вспоминала о подносах с диетическими блюдами, о грязном белье и дезинфицирующих средствах, как будто перебирала меню давно прошедшего званого вечера, воспоминания о котором снова и снова завладевали ее мыслями с неумолимостью тоски по родине.

Умерев во владениях бабушки, мои родители, казалось, стали ее безраздельной собственностью, и, гордясь своей щедростью, она возвращала их нам по крупинкам, подобно тому как позднее, когда я приехала к ней взрослой девушкой, она уступила мне брильянтовое ожерелье матери с таким видом, как будто по праву наследования эта безделушка принадлежала ей, а не мне. Но в то время ее любовь к воспоминаниям казалась нам, детям, проявлением величайшей доброты. Мы кланчили у нее все новые и новые подробности, как могли бы кланчить сласти, и так как обычно мы были лишены не только сластей, но также друзей, кино, почти всякого чтения сверх того, которое предписывалось в школе, и, подобно переносчикам социальной заразы, содержались в карантине на нашем заброшенном дворе, где рос только ревеня, эти крохи, скупно выдаваемые бабушкой, превращались в тщательно оберегаемые сокровища; мы никогда не говорили о них друг с другом и, как скупцы, бережно складывали их одну к другой в хранилище наших сердец. Вот почему, уходя из дома бабушки и дедушки, мы чувствовали себя обогащенными духом и телом; объедки с барского стола были для нас пиром. Мы даже не возражали против возвращения к нашим стражам, потому что у нас появлялось чувство превосходства над ними, к тому же нам не из чего было выбирать, и мы это хорошо знали. Только смирившись со своим положением и признав, что оно справедливо и неизменно, мы могли стать выше него и заключить с нашими дедушкой и бабушкой любовный союз, тем более чудесный, что он не имел никаких практических последствий.

Так получалось, что жизнь нашего дома продолжала идти

своим чередом и наши опекуны были избавлены от необходимости принимать новые решения. Конечно, время от времени раздражался новый скандал (наши побеги не делали Майерса и Маргарет добрее), но в глубине души мы больше не верили, что сможем изменить свою жизнь, и убегали без всякой надежды, просто чтобы отсрочить очередное наказание. Когда через пять лет наш протестантский дедушка узнал, наконец, о том, что происходит, и вмешался, чтобы спасти нас, его возмущение удивило нас не меньше, чем его поступок. Нам казалось естественным, что дедушка и бабушка все знают и ничего не пытаются изменить, ибо разве бог из своей небесной твердыни не видит человеческих страданий и не позволяет им повторяться вновь и вновь?

ЖЕСТЯНАЯ БАБОЧКА



Человек, которого нам велели называть дядей Майерсом, не состоял с нами ни в каком родстве. В этом мы все четверо были твердо убеждены. Он женился на тете Маргарет незадолго до смерти наших родителей и стал отцом семейства, еще не забыв о своем прозвище старого холостяка, — не такое уж счастье для сорокадвухлетнего, заплывшего жиром мужчины, только что женившегося на старой деве с небольшими средствами и оказавшегося вынужденным немедленно расстаться со своим домом в Индиане, чтобы взять на себя заботу о четверых детях, старшему из которых не исполнилось семи лет.

Когда нас, меня и трех моих братьев, отдали Майерсу и Маргарет, мы были истинным наказанием для окружающих — это мнение разделяли все члены семьи Маккарти. Эпидемия гриппа, разразившаяся в 1918 году, настигла наш утлый семейный челн en route * из Сиэтла в Миннеаполис и, погубив в течение суток обоих наших родителей, подтвердила, как всякое проявление божьей воли, что все делается к лучшему, о чем довольно быстро догадалась моя бабушка Маккарти: это несчастье милостиво положило конец порче и баловству, слугам-японцам, замороженным сладостям, пикникам, желудочным

* По дороге (франц.).

расстройствам, брильянтовым кольцам (вы себе представляете?), горностаевым муфтам и накидкам, меховым шапкам и шубам.

Бабушка благодарила свою счастливую звезду за то, что Майерс и ее сестра Маргарет так кстати оказались под рукой. Ведь иначе нас пришлось бы разделить — при этой мысли ее запавших серых глазах появлялась влага — или отдать «тому протестанту», как она злоевоше называла моего дедушку Престона, уважаемого сизтлского юриста, выходца из Новой Англии, отказавшегося принять в своем доме католического священника, о чем она каждый раз говорила, кипит от гнева. Но дедушка и бабушка, приехавшие в Миннеаполис на похороны, были слишком подавлены смертью нашей молодой матери, чтобы протестовать против распоряжений, сделанных семьей Маккарти. Заливаясь слезами, моя еврейская бабушка (Престон, урожденная Моргенштерн), все еще красавица, как и ее умершая дочь, уступила мудрому стремлению не разделять нас и воспитать в той религии, которую избрала для себя наша мать. Выздоровливая от гриппа, но все еще лежа в кровати в доме Маккарти, я, самая старшая из детей и единственная девочка, смотрела, как бабушка Престон плачет, портя красивую черную вуаль. Я не знала, что наши родители умерли и что моя рыдающая бабушка — я помнила, как мне нравилось по воскресеньям скатываться вниз по зеленым террасам ее сада в Сизтле, — минуту назад встретила на первом этаже в хорошо натопленной гостиной с французским окном пожилую пару, приехавшую из Индианы, чтобы исправить ошибки ее дочери. Мне исполнилось всего шесть лет перед роковым паломничеством на восток, и я только начала посещать школу при монастыре святого Сердца на тенистом бульваре в Сизтле, но у меня достало наблюдательности заметить, что бабушка Престон чужая в этой неприветливой комнате-палате, и, догадавшись, что случилось что-то нехорошее, я тщеславно гордилась своей сообразительностью.

Нас вчетвером и наших телохранителей вскоре поселили на Блейсдел-авеню, в доме № 2427, купленном специально для нас дедушкой Маккарти. Наше жилище находилось всего в двух кварталах от его собственного роскошного дома, украшенного прадедовскими часами, гобеленами и итальянскими картинами, в районе, который лишь недавно начал приходить в упадок. По бокам от нашего дома стояли двухквартирные коттеджи, сам же он представлял собой примитивный сруб желтого цвета — нечто вроде склада, приспособленного для

хранения мебели и человеческих жизней. Маленькие комнаты были оклеены коричневатými обоями и почему-то казались темными, хотя я не помню, чтобы вокруг дома что-нибудь росло; с одной стороны прямо к дому вела цементированная подъездная дорожка, а сзади был тупик. Первый этаж занимали гостиная, кабинет, столовая, кухня и уборная, второй — четыре спальни и ванная комната. Тусклые обои в наших спальнях быстро утратили благопристойный вид: лишенные привычных игрушек, мы томились от скуки и для развлечения разрисовывали стены собственными языками. Это было наше первое преступление, и я хорошо его запомнила, потому что порка поразила нас своей жестокостью — мы ведь не знали, что делаем что-то недозволенное. Многие годы эти пятна на стене напоминали нам о первом наказании и о нашей испорченности. Они смотрели на нас по вечерам, когда, все еще скучая, но уже лишившись возможности говорить и бунтовать, мы, чтобы скоротать время, пускали по стенам тени лебедя или зайца, шевелящего ушами.

Возможно, что наше первое преступление сразу же настроило Майерса на мстительный лад. Он понял, что ему досталась совсем не синекура. В тупой голове этого бездетного пожилого мужчины, наверное, зародилось подозрение, что велеречивая бабушка Маккарти воспользовалась его неопытностью и что его ждет куда больше неприятностей, чем доходов, — подозрение, что он продешевил. Так, конечно, и должен был думать, восседая в кабинете на коричневом кожаном кресле, этот человек, одетый в пропотевшую рабочую блузу голубого цвета с открытым воротом, из которого виднелись нижняя рубашка и грудь, заросшая рыжеватыми лоснившимися волосами. Блуза была заправлена в рабочие брюки из коричнево-серой материи, которые едва сходились у него на животе, так что из-под пояса всегда высовывался клочок желтоватого нижнего белья. На его жирной голове с хохолком выющихся бронзовых волос часто торчали наушники детекторного радиоприемника, которые он изредка, когда бывал в благодушном настроении, водружал на голову одного из моих маленьких братьев, тут же расцветавшего от счастья.

Это описание отчасти объясняет ненависть, которую мы вызывали у Майерса. Ему пришлось столкнуться с ирландским снобизмом, бесстрастно взиравшим на него четырьмя парами зеленых глаз и не признающим за ним права называться джентльменом.

— Мой папа был джентльмен, а вы нет! — Что я хотела

сказать этим категорическим заявлением, не знаю, разве то, что у моего отца был романтический характер и склонность к расточительству, но я думаю, что, по моим тогдашним понятиям, джентльмен должен был отличаться еще и обходительностью.

Нашей семье, как многим недавно разбогатевшим семьям ирландцев-католиков, было свойственно множество аристократических предрассудков; нам, детям, постоянно твердили, что мы ведем свой род от ирландских королей и состоим в родстве с генералом Филиппом Генри Шериданом (мечта тети Маргарет), которого все, конечно, называли просто Фил Шеридан. Истина же заключалась в том, что мой прадедушка со стороны отца был трамвайным кондуктором в Чикаго.

Но как бы то ни было, мы чувствовали, что Майерс (или Мейерс) Шривер (или Шрейбер — его фамилия была явно американизирована) занимал более низкое социальное положение, чем мы. А кроме того, мы не любили его потому, что он был немцем, вернее потомком немцев, и в 1918 году, вскоре после заключения перемирия, мы смотрели на него со страхом. В то время ирландские католики, жившие в Миннеаполисе, относились с большим предубеждением не только к немецким протестантам, но и ко всем северянам с их ненавистой лютеранской ересью. Мы, дети, считали, что лютеранство — это прежде всего религия для служанок, а кроме того, что-то вроде грязной болезни, связанной с первородным грехом и божьей карой, постигшей Мартина Лютера, у которого сгнил язык. К баварским католикам мы относились совсем по-другому. Мы смотрели на них сквозь призму раннего христианства, они казались нам похожими на апостолов с темными вьющимися волосами. Отчасти это было связано со славой Обераммергау и «Страстей Христовых»*, а отчасти с тем, что многие священники нашего прихода были баварцами; в те годы я сама исповедовалась в грехе неповиновения молодому темноволосому красавцу отцу Эльдербушу. Дядя Майерс, однако, был протестантом, хотя и слишком ленивым, чтобы посещать церковь; для нас он был чужим. Открытие, что мы можем избавиться от него, убежав в школу к монахиням и в церковь к причастию, казалось, оправдывало наше убеждение, что на нем лежит проклятие, что бог действительно забыл его своей милостью. Я считала нашу религию чем-то вроде интеллек-

* Сохранившиеся со времен средневековья театрализованные представления о мучениях и воскрешении Христа, регулярно устраиваемые в Верхней Баварии, в деревне Обераммергау.

туальной заразы, распространяемой святыми книгами и достойными примерами, и никак не могла понять, почему дядя Майерс, каким бы дурным он ни был, не подхватит эту болезнь; упорство, с каким он по воскресеньям сидел в своем кабинете, как запертый в клетку дремлющий хищник, казалось мне противоестественным.

И в самом деле, во всем поведении Майерса было что-то неестественное и необъяснимое. Прежде всего его женитьба. Он был младше Маргарет на три года, и бабушка Маккарти, его богатая свояченица, придавала этому обстоятельству большое значение, считая, что в нем кроется разгадка, причем не очень приличная. У тети Маргарет, урожденной Шеридан, плохо сохранившейся сорокапятилетней женщины, были куриные мозги, желтовато-серые с чернотой волосы, деревянная походка, платья с высоким глухим воротом, вышедшие из моды шляпки, номер «Санди визитор», вечно зажатый под мышкой наподобие жезла, и жесткая, поросшая мягкими бесцветными волосами, сухая кожа, неровная и изборожденная морщинами, как на тех сливах, которые мы каждый день ели за завтраком. Наверное, она всем нам желала добра, особенно Майерсу, несмотря на его двести пять фунтов, двойной подбородок с ямочкой и маленькие, тусклые, бегающие глазки с тупым взглядом. Она называла его «ненаглядный» и осыпала знаками внимания, лакомствами и поцелуями, которые он милостиво принимал, выдавая свою неизменную пассивность за мужественность и твердость характера. Было ясно, что она не вызывает у него отвращения и что бедная Маргарет, как говорила ее сестра, совсем потеряла голову. Нам была непонятна эта неистовость медового месяца, она казалась нам ничем не оправданной ни с той, ни с другой стороны, потому что, не говоря уже обо всем остальном, Майерс и Маргарет представлялись нам очень старыми, какими и были на самом деле по сравнению с нашими молодыми и красивыми родителями. Мысль, что он женился на ней из-за денег, не могла не прийти нам в голову, хотя мы, наверное, ошибались; вполне вероятно, что больше всего Майерса привлекала власть над женой, в особенности возможность наказывать нас ее руками. Они спали в почти пустой безобразной комнате, где стоял высокий дешевый шифоньер соснового дерева, на котором Майерс обычно оставлял свой бумажник и мелочь, когда был дома, — может быть, он хотел возбудить нашу алчность, а может быть, воображал, что эта твердыня недоступна нашему робкому вожделению. Мы тем не менее крали у него, и я, и мой брат Кевин,

считая; что поступаем справедливо, так как нам не давали карманных денег (только два пенни в воскресенье утром, чтобы опустить в кружку для пожертвований), и мы догадывались, что часть того, что дедушка выдает на наше содержание, попадает в этот самый бумажник.

Тут надо сказать еще об одной странности Майерса. Он не только не имел собственного заработка, но, казалось, не имел прошлого. Он приехал из Элkhарта (штат Индиана), но, за исключением этого факта, о нем ничего не было известно; мы даже не знали, как он познакомился с тетей Маргарет. Судя по его рассказам, Элkhарт представлял собой скучный городишко, состоящий в основном из площадок для игры в мяч, бильярдных залов и магазинов скобяных товаров. Тетя Маргарет приехала в Элkhарт из Чикаго, состоящего из Петли *, памятников Филду **, священников всех мастей и негритянской проблемы. Как столкнулись эти два мира? Если в нашей семье охотно говорили о родственниках, настоящих и выдуманных, то Майерс не говорил ни о ком, даже о родителях. На первых порах, когда у нас в гараже еще стоял прибывший багажом старый спортивный автомобиль отца, к Майерсу заходили несколько закадычных друзей довольно жалкого вида, иногда катавшихся вместе с ним или просто сидевших в машине на подъездной дорожке, как будто автомобиль был баржей, вставшей на якорь по соседству с нашим домом. Но когда автомобиль исчез, они тоже исчезли, может быть, по своей воле, а может быть, их прогнали. У Майерса и Маргарет не было друзей, ни одной семейной пары, с которой они обменивались бы визитами, только маленькая пожилая темноволосая женщина с немецкой фамилией, измученным лицом и желтой кожей, которую мы однажды днем ходили навещать, потому что она умирала от рака. Ее затянувшееся угасание было похоже на публичную казнь, только поэтому Майерс и взял нас с собой — это было зрелище бесплатное и к тому же внушавшее чувство тревоги и уныния. Майерс представлял собой законченный тип горожанина, лишённого традиционных устоев и находящего удовольствие в подачках и отбросах индустриальной цивилизации. Ему нравилось стоять на краю тротуара и смотреть на парады — чем вычурнее, тем интереснее, — больше всего на парад в День труда, потом на военный парад и на парады, устраиваемые торговыми фирмами, с помостами на

* Деловая часть Чикаго, окруженная петлей надземной дороги.

** Филд Маршалл (1834—1906) — глава известной торговой фирмы, пожертвовавший крупные суммы денег чикагским университету, музею изобразительных искусств и музею естественной истории.

колесах и девицами, демонстрирующими различные наряды. Он мог даже поехать на озеро Келхаун или озеро Гарриет ради парада игрушечных колясок или соревнования детей на лучший костюм индейца. Он любил эстрады на открытом воздухе, эстрадные концерты и лишенные травы общественные парки; воздушные рекламы постоянно привлекали его внимание, он радовался выставке в универсальном магазине, на которой расхваливали туалетное мыло, выдувая равноцветные мыльные пузыри под песенку «Я всегда пускаю мыльные пузыри» в исполнении какого-нибудь сладкогласного сопрано. Он собирал корешки квитанций, фольгу, старые газеты и отдавал их старику тряпичнику (нанося серьезный ущерб нашим школьным кампаниям по сбору бумаги); бесплатные образчики сыра в магазине Доналдсона, бесплатные билеты в соседний кинотеатр на первые части многосерийных фильмов — за все годы, прожитые с Майерсом, мы не видели полностью ни одного фильма, только эти обрывки. Ему нравились поездки в трамвае (линия, наверное, принадлежала муниципалитету), памятники солдатам, кладбища и большие грубые цветы вроде канн и петушиных гребешков, которые росли на клумбах под надзором городских садовников. Музеи не вызывали у него никакого интереса, хотя однажды вечером мы все-таки пошли вместе с огромной толпой посмотреть на маршала Фоша, красовавшегося на ступенях музея изобразительных искусств. Майерс регулярно взвешивался на уличных весах, расходуя на эту операцию пенни. Он редко выходил из дому, разве только направлялся на одну из своих бессмысленных экскурсий или в одиночестве шел смотреть бейсбол. Зимой он проводил целые дни в своем кабинете или на кухне, приготовляя сладости. Он часто студил в погребе огромные железные подносы разукрашенных леденцов, и мой брат Кевин думает сейчас, что когда-то прежде Майерс был, наверное, пирожником или кондитером. Он любил делать маленькие фигурки из щеточек для чистки трубок, которые как раз тогда стали излюбленным украшением лучших кондитерских магазинов, но Майерс использовал старые щетки, покрытые желтыми и коричневыми пятнами. Конфеты, посыпанные миндалем или другими орехами, укладывались безупречными рядами и предназначались для него одного; нам разрешалось смотреть, как он их украшает, но ни разу — и мой брат Кевин может это подтвердить, — ни разу мы не притронулись ни к одной из них.

За пять лет, проведенных с Майерсом, единственные сладости, которые мне достались, были куплены на украденные

деньги и спрятаны под набором вырезанных из бумаги платьев для моей картонной куклы; мысль украсть деньги, чтобы купить конфеты и спрятать их в этом месте, была целиком заимствована у Кевина. Открыв в один прекрасный день коробку с картонной куклой и увидев, что она полна розовых и белых тянучек, я решила, что они посланы мне богом или добрыми феями в ответ на мои просьбы и молитвы, но потом узнала, что Кевин крадет деньги и использует мою коробку как тайник — у нас было так мало вещей, что он не мог найти другого укромного места. Прятать что-нибудь под матрасом было опасно, в чем я убедилась, попробовав хранить там выпуски католического журнала с рассказами: оказалось, что тетя Маргарет постоянно перетряхивает постель и переворачивает матрасы, опасаясь, как бы кто-нибудь, намочив ночью простыню, не попытался скрыть свое преступление, перевернув матрас на другую сторону. Читать нам не разрешали; исключение делалось только для школьных учебников и по каким-то причинам для юмористических журналов и воскресных приложений к газетам Херста, где рассказывалось о проказе, об аферах графа Бони де Кастеллани и о странном заболевании, которое возникало в стопах ног и постепенно распространялось по всему телу, превращая человека в камень.

Запрет, наложенный на чтение, приводил в негодование монахинь, обучавших меня в приходской школе, и я думаю, что благодаря их переговорам с бабушкой к концу моего пребывания в доме Майерса мне все-таки разрешили открыто читать выпуски «Кемп Файер» *, Фабиолу и другие книги, уже не помню какие. Майерс не читал ничего; пока у нас не появился детекторный приемник, он сидел по вечерам в гостиной, слушая граммофон: Карузо, Гарри Лаудер, «Пусть в твоём доме вечно горит огонь», «Есть маленькое уютное гнездышко» и «Слушайте пересмешника». Он развлекался, выстраивая нас четверых в ряд и заставляя повторять мелодии, которые он только что слышал; во время этого представления он обычно громко хохотал надо мной, потому что, пытаюсь подражать фиоритурам сопрано, я пела очень громко и фальшиво. Майерс терпеть не мог длинных слов, или, вернее, слов, которые ему казались длинными. Однажды летом, стоя в кухне, где мне было приказано перебить всех мух, я сказала: «Как удивительно они исчезают!» — слова, которые он, передразнивая меня,

* Организация девочек-школьниц, близкая по типу организации бойскаутов.

повторял много лет всякий раз, когда хотел меня унижить, и самое худшее в придуманной им пытке было то, что я не понимала, что особенного в этой фразе, казавшейся мне совершенно простой и обыденной, и, не понимая этого, постоянно боялась снова дать ему повод для насмешек. Насколько нам было известно, он никогда не служил в армии, что не мешало ему питать склонность к суровой воинской дисциплине. Он часто выстраивал нас перед собой и заставлял хором отвечать на его вопросы. «Вперед, шагом марш!» — рывкал он после каждого распоряжения. Четвертое июля* было единственным праздником, к которому он относился с какой-то теплотой. Малейшее проявление чувств, казавшееся ему чрезмерным, так же как любая попытка «задрать нос», каралось самым жестоким образом, и так как я была старшей и сохранила более отчетливые воспоминания о родителях и о нашей прежней жизни, я оказывалась грешницей чаще других, иногда намеренно, а иногда случайно.

Когда мне исполнилось восемь лет, я начала писать стихи: «Отец Гоген, наш добрый друг, все его любят, все вокруг» и «Увы, скончался папа Бенедикт, по всей земле разнеслось в один миг». Папа Бенедикт в то время был жив и, насколько я знала, совершенно здоров. Я сочинила эти начальные строчки ради рифмы и потому что мне хотелось, чтобы стихи были грустными, но через год, весьма кстати для меня, папа Бенедикт действительно умер, и у меня появилось страшное ощущение власти, более могущественной, чем власть священника отпускать грехи и назначать покаяние. Я показала свое стихотворение нашей учительнице, которая очень красиво его переписала и прочла на торжественном богослужении, посвященном памяти папы. Я не осмелилась сказать, что стихотворение было написано задолго до этого события. Позже, когда мне было уже десять лет, я приняла участие в конкурсе детских сочинений на тему «Ирландцы в истории Америки» и получила первую премию нашего города, а потом и штата. Основное содержание я позаимствовала из серии очерков «Католики в истории Америки», печатавшихся в «Санди визитор». При этом я исходила из предположения, что каждый католик должен быть ирландцем; не ограничившись этим, я просмотрела подписи под Декларацией независимости и выписала все имена, которые, на мой взгляд, звучали по-ирландски. Все это было пышно украшено риторикой, с упоминанием «лилий Франции», бог знает почему, разве только потому, что я была влюблена во

* День провозглашения независимости Америки.

Францию и, вспомнив про маршала Мак-Магона, сумела каким-то образом превратить в ирландца даже Лафайета. Помому, Костюшко тоже упоминался в этом сочинении как ирландец *de соеиг* *. Но как бы то ни было, в школе состоялась торжественная церемония, во время которой мне вручили городскую премию (кажется, двадцать пять долларов, возможно, это была премия штата); тетя Маргарет сидела среди зрителей в своей лучшей шляпке, украшенной перьями дикой утки, и на этот раз, казалось, гордилась мной и была счастлива. Она ласково разговаривала со мной по дороге из школы, но, когда мы вошли в наш безобразный дом, дядя Майерс молча встал с кресла, отвел меня в темную уборную, где всегда пахло кремом для бритья, и жестоко выпорол ремнем для правки бритвы — чтобы я не вздумала задира́ть нос, как он сказал. Тетя Маргарет не вступилась за меня. После первой минуты растерянности на ее лице появилось обычное выражение: она раскаивалась в своей мягкости. Это была привычная дань пронизательности Майерса — Маргарет боялась, что, заметив ее слабость, он перестанет ее любить. Деньги были отобраны, чтобы «сохранить» их для меня, и больше я их, естественно, не видела. Такая участь постигала все, что относилось к категории «слишком хорошо для нее», с которой мог соперничать только дополняющий ее принцип «вполне хорошо и так».

Нас били постоянно, это было в порядке вещей; за обычные провинности — щеткой для волос по голым ногам, в исключительных случаях, таких, как получение награды, — ремнем для правки бритвы. Можно было подумать, что эти невежественные люди, оказавшись в открытом житейском море с четырьмя испуганными детьми на руках, выбрали в качестве навигационной карты один из романов Диккенса «Оливер Твист» или «Николас Никклби». Иногда наказания были заслуженными, иногда нет; к ним охотно прибегали в качестве профилактической меры. Меня пороли чаще, чем моих братьев, просто потому, что я была старшей; каждый раз, когда наказывали кого-нибудь из них, пороли и меня за то, что я не служила им хорошим примером. Эта система последовательно применялась ко всем нам: Кевина пороли за проступки Престона и Шеридана, Престона за дурное поведение Шеридана и только Шеридана, самого младшего из нас и любимца Майерса, не наказывали ни за чьи грехи, кроме его собственных. В результате мы относились друг к другу с недоверием и

* В душе (франц.).

враждой, и только между мной и Кевином существовало что-то вроде неловкой дружбы. Когда Кевин убежал, как это случилось в один памятный день, к чувству радости и торжества, которое я тогда испытывала, примешивался страх перед наказанием, ожидавшим меня, и нечто худшее: мстительное предвкушение порки, которая наверняка ждет его самого. Я думаю, что оба раза, когда убегала я, он чувствовал то же самое: зависть, благоговейный ужас, просто страх, восхищение и какое-то нездоровое возбуждение, подспудно связанное с Майерсом и с его ремнем. Но как это ни странно, в эти исторические дни никого из нас не били. Когда преступника находили, он укрывался у бабушки, и грозная тишина водворялась в доме на Блейсдел-авеню, погруженном в раздумья о беспримерной дерзости и коварстве беглеца; дядя Майерс тоже дрожал от страха в ожидании предстоящих объяснений на семейном совете Маккарти. Тем троим, которые оставались дома, приказывали весь день не спускаться вниз и соблюдать полную тишину. Но если применяемая Майерсом система наказаний, не зависящих от вины, с успехом сеяла между нами вражду, она оказалась малоэффективной в поддержании дисциплины, так как постоянное ожидание, что нас накажут за что-нибудь, чего мы не делали, или даже за то, что по обычным нормам считается заслуживающим похвалы, лишало нас стимула вести себя хорошо. Мы никогда не знали, где нас подстерегает опасность, и, главное, чему меня научила эта система, было умение лгать и заператься; через несколько лет после того, как нас избавили от Майерса, моя лживость все еще доставляла окружающим много хлопот.

Несмотря на вполне оправданную ненависть к интеллекту, книгам и образованию (Майерс не ошибался — в этой области мы были для него недостижимы), у моего дяди, как у всех диктаторов, была все-таки одна книга, которую он любил, — «Сказки дядюшки Римуса» в красном переплете, вызывавшие у меня отвращение; он снова и снова читал нам вслух, сидя по вечерам в своем кабинете. Я думаю, что низведение человека до уровня болтающих животных и принижение языка до диалекта вызывало у Майерса чувство глубокого удовлетворения. Он знал, что я терпеть не могу эту книгу, и, вдалбливая ее нам в голову, подкидывал моего брата Шеридана у себя на коленях, с довольным смехом снова и снова смакуя подвиги Братца Лиса. Это был час его торжества, и я до сих пор не могу читать басни или рассказы на диалекте, не испытывая отвращения.

Существовала определенная разница между изобретательной жестокостью нашего дяди и наказаниями, которым в соответствии со своими убеждениями подвергала нас тетя. Тетя Маргарет была незлой женщиной, она только верила в систему. Поскольку семья Маккарти считала, что мы испорчены, она добросовестно стремилась излечить нас от этого недуга с помощью самых передовых научных методов. Все наши действия были подчинены строгому расписанию и согласованы с общим планом. Гигиеническим навыкам, конечно, уделялось особенно большое внимание, и наша жизнь в основном концентрировалась вокруг «сидения на троне», которое непременно должно было происходить после завтрака. Наше меню, не говоря уже об апельсиновом соке с касторкой, который нам давали по утрам при малейшем намеке на «бледность», тоже строилось так, чтобы способствовать этой торжественной процедуре. На завтрак мы ежедневно получали чернослив и какую-нибудь кашу, манную или овсяную, которую мне готовили на воде, так как по прихоти медицины молоко считалось для меня вредным. Остальная часть дневного рациона состояла из пастернака, репы, брюквы, моркови, вареного картофеля, вареной капусты, лука, свеклы, овощного супа и тому подобных вещей. Большинство зеленых овощей было, очевидно, слишком дорого для нас, хотя я думаю, что здесь еще играла роль сознательная приверженность к корнеплодам, связанная, по-видимому, с исконным пристрастием ирландских крестьян ко всему волокнистому, жесткому, водянистому и комковатому. На сладкое нам давали рисовый пудинг, хлебный пудинг, переваренный заварной крем с маленькими дырочками, как в хлебе, чернослив, кисели из красных слив, ревеня, груш или сушеных персиков. По-видимому, мы получали и мясо, но у меня сохранились лишь самые смутные воспоминания о бледных ломтиках баранины, сваренной с овощами в такой пропорции, что число морковок явно превосходило число кусочков жирного мяса с костями и хрящами; само собой разумеется, что нам не давали ни бифштексов, ни ростбифов, ни индейки, ни жареных цыплят, но, наверное, иногда мы ели отварную птицу с овощами (я помню шейку, стиснутую воротничком сморщенной кожи, доставшуюся мне за обедом, и белую съедобную струнку, которую я из нее высосала), и, конечно, нас кормили мясным пирогом и вываренной говядиной. За нашим столом не бывало мороженого, пирожных, паштета или масла, но изредка за завтраком появлялись маисовые лепешки или толстые клейкие оладьи с сиропом.

Нам разрешали вставать из-за стола, только когда мы съедали все до последней крошки, и в ранние зимние сумерки я часто засиживалась за тарелкой, глядя на застывшие кусочки моркови, пока однажды во время недолгого периода снегопадов не догадалась, что их можно выбрасывать через выходящее во двор окно, если открывать его совсем бесшумно (к несчастью, морковь падала на просмоленную крышу сарая, стоявшего рядом с задним крыльцом, и, когда снег, наконец, растаял, я была жестоко наказана). Время от времени в доме появлялись кухарки, но кормили у нас так скверно, что ни одну из них не удавалось удержать, и тете Маргарет приходилось скрепя сердце самой браться за готовку, разделяя эти обязанности со своей сестрой, тетей Мэри, седоволосой щедродушной набожной старушкой, страдающей артритом, которая беззвучно поселилась у нас в доме; она зарабатывала на свое содержание шитьем и уборкой комнат и старалась держаться подальше от Майерса. С ее посильной помощью тете Маргарет удалось, насколько возможно, приблизить нашу жизнь к жизни детей в сиротском приюте, куда мы все четверо постоянно мечтали попасть.

Майерс питался совсем иначе. Он сидел во главе стола, с салфеткой вокруг шеи, ел особые блюда, которые тетя Маргарет готовила специально для него, и время от времени перекладывал что-нибудь со своей тарелки на тарелку моего младшего брата, сидевшего рядом с ним на высоком стуле. На завтрак ему подавали кукурузные или пшеничные хлопья с бананами или нарезанным ломтиками свежим персиком, что казалось нам лукулловым пиром. За обедом он ел свиные ножки и другие деликатесы, не помню уж, какие именно.

Зато я помню, что он делился ими с Шериданом, которого дома называли Херди, подобно тому как моего среднего брата звали Помпс или Помпси — ласкательные прозвища, придуманные еще нашими умершими родителями и отдающие могильной сыростью, когда их произносила тетя Маргарет своим елейным голосом, заставлявшим нас вспоминать о злобных скипидарных компрессах, которые нам клали на грудь, чтобы избавить от зимних простуд.

Кроме припарок, горчичников и пилюль железа, которые мы регулярно принимали для подкрепления нашей и без того устрашающей диеты, о нашем здоровье пеклись многими другими способами, бывшими в моде в то время и во времена юности тети Маргарет. Я уже рассказывала, как вечером перед сном нам заклеивали рты, чтобы мы дышали только но-

сом; утром липкую ленту смывали эфиром, от которого меня тошнило, но грязный серый след из тянущихся катышков все равно оставался на наших верхних губах и во впадинах острых подбородков, когда мы отправлялись в школу в своей громоздкой одежде, длинном белье, черных чулках и высоких ботинках. Мы были лишены подушек, весной нам давали в качестве укрепляющего средства сернистую воду с черной патокой, а зимой по субботам и воскресеньям заставляли гулять три часа утром и три часа днем независимо от погоды. Мы привыкли к мягкому климату Сиэтла и при 15, 20 и 24 градусах ниже нуля не могли играть, даже если бы у нас были какие-нибудь игрушки; мы просто стояли в снегу и плакали, иногда стуча замерзшими варежками в окно, пока за стеклом не появлялось сердитое лицо тети Маргарет и она не прогоняла нас прочь.

Никто не попытался научить нас каким-нибудь спортивным играм, зимним или летним; нам не разрешали кататься в соседнем Фэроукс-парке, где зимой самые бедные дети раскатывали на склоне холма ледяные дорожки и неслись по ним сидя или стоя, но я любила эту смелую забаву и, возвращаясь из школы, делала то же, что другие, пока однажды не порвала на льду своё ветхое пальто, после чего побоялась вернуться домой. Миссис Коркери, добрая женщина, хозяйка местного кондитерского магазина, расположенного напротив школы, починила его так искусно, что тетя Маргарет ни о чем не догадалась, но с тех пор ледяные горки утратили для меня свою привлекательность: мне было страшно еще раз порвать пальто.

Соседи часто исподтишка жалели нас и иногда шептали несколько слов сестрам приходской школы, но я думаю, что они боялись задеть дедушку и бабушку, с таким великолепием и важностью шествовавших по воскресеньям к своей скамье в церкви святого Стефана. И миссис Коркери действительно навлекла неприятности на себя и на меня из-за того, что кормила меня в кухне, над кондитерской, когда я по утрам заходила за ее дочерью Кларазитой, учившейся со мной в одном классе. Обычно я лгала ей, говоря, что мне не дали завтрака (в то время как я просто не ела досыта), и, возмущенная, она в конце концов отправилась к монахиням. Тетю Маргарет вызвали для объяснений, и мне пришлось сознаться, что я говорила неправду и что на самом деле меня кормили; думаю, что это навсегда излечило миссис Коркери от желания защищать сирот. Я не могла тогда объяснить ей, что больше всего

я нуждалась в ее сострадании и в ее горячем отзывчивом сердце. Другой сосед, мистер Харрисон, богатый старый холостяк или вдовец, живший в угловом доме, иногда брал нас с собой купаться, и благодаря ему я научилась плавать по-лягушачьи, повторяя причудливые старомодные движения бородастого старика в закрытом до подбородка купальном костюме. Вообще же нам не разрешалось поддерживать какие бы то ни было отношения с соседями или с другими детьми. Чужим детям строго запрещалось заходить к нам во двор, а мы не должны были заходить к ним или ходить в школу вместе с посторонними мальчиками или девочками. Но так как мы проводили в школе большую часть дня с понедельника до субботы, Майерс и Маргарет не могли помешать нам заводить друзей, тем более что дети проявляли к нам повышенный интерес, жалея нас за то, что мы сироты, и в то же время побаиваясь, так как мы считались богатыми. Фрэнк, шофера нашей бабушки, возившего ее зимой в «пайерс-эрроу», а летом в «локобиле», хорошо знали в городе, потому что по воскресеньям он ждал бабушку у дверей церкви, чтобы после мессы отвезти ее домой. Иногда нас тоже сажали в машину, и из-за этого наша жалкая одежда и тщедушные фигуры казались признаком высокого положения и чем-то вроде не очень заманчивой привилегии.

Мы обладали ценнейшими сокровищами, но не имели к ним доступа. В стенном шкафу моей спальни, на самой верхней полке, до которой я не могла дотянуться, даже стоя на стуле, хранилась пирамида картонных коробок с ослепительными французскими куклами, одетыми моей сизтлской бабушкой в шелка, кружева и атлас, крепдешинное белье и туфли на высоком каблуке. Все эти куклы и многое другое присылалось нам каждый год на рождество, но, так как тетя считала, что такие подарки слишком хороши для нас, игрушки оставались в своих коробках и пакетах *verboden* *, за исключением тех редких дней — один или два раза в году, — когда с Запада приезжал кто-нибудь из родственников или друзей семьи. Тогда куклы спускались с недоступной высоты, из коробок вынимались бейсбольные перчатки, маски, часы, сверкающие автомобили и кукольные домики, а мы усаживались на полу в гостиной и наслаждались всем этим великолепием под умильными взглядами гостей.

* Под запретом (нем.).

Как только гости уходили, унося с собой вполне благоприятное впечатление о нашей жизни, куклы, часы и автомобили немедленно исчезали, чтобы появиться снова по какому-нибудь другому экстренному поводу. Будь мы умнее, у нас хватило бы сил устоять перед искушением и выставить напоказ свою нищету, но мы простодушно старались не упустить счастливое мгновение и наиграться за весь год в эти праздничные полтора часа. К подобным методам обычно прибегают в концентрационных лагерях и тюрьмах, где трезво учитываются те же свойства человеческой природы. Узники стремятся воспользоваться праздником; они больше верят своим стражам и девизу *carpe diem* *, чем незнакомым инспекторам. Как все, кто знает, что такое жестокость, мы научились быть осторожными; нас смущали эти гости — протестанты из Сиэтла, — которые могли оказаться еще хуже, чем наши дядя и тетя, чьи слабости мы уже, по крайней мере, изучили. А кроме того, нас подвергали специальной психологической обработке: дядя Майерс не раз грозил нам сиэтлской кликой и, посмеиваясь, повторял:

— Уж там-то вы ходили бы по струнке!

Мне кажется, что в своей воспитательной программе моя тетя руководствовалась теми же принципами, которыми обычно руководствуется глава тоталитарного государства: убежденно и последовательно она стремилась полностью лишить нас собственного «я». Она считала себя гораздо просвещеннее наших родителей, и высшие цели — здоровье, чистота и дисциплина — смягчали в ее глазах те меры, которые она применяла для их достижения. Совсем не злая по натуре, она становилась другим человеком из-за слепой приверженности к догме и страха потерять благосклонность мужа, умелая и безжалостная рука которого обрушивалась на нас за малейшие детские шалости, как нож мясника. Наша жизнь во многом напоминала жизнь в сиротском приюте, и это сходство не было чистой случайностью: тетя Маргарет вдохновлялась теми же идеалами. Как большинство руководителей подобных заведений, она мечтала о глазах Аргуса. Она делала все, что было в ее силах, стараясь уследить за каждым нашим шагом. Даже ее медицинские мероприятия преследовали ту же цель. Слабительные, которыми нас без конца пичкали, гарантировали возможность надзора за ежедневными физиологическими отправлениями нашего организма, а ежемесячные врачебные осмотры под-

* *Лови мгновение (латин.).*

тверждали с помощью стетоскопа, зеркальца и шпателя, что внутри нас не произошло никаких изменений, укрывшихся от ее взора. Она не спускала глаз с писем, которые мы писали в Сизтл, и тщательно проверяла наши домашние задания, хотя ее знания арифметики, правописания и грамматики оставляли желать лучшего. Мы молились богу под надзором и только за тех, кто нам был указан. И если нас лишали друзей, сладостей, игрушек, карманных денег, спортивных игр, чтения и развлечений, то вовсе не для того, чтобы заставить страдать, а ради эффективности системы. Проще изгнать чужих детей, чем уследить за всеми, с кем мы вздумаем подружиться. Ради эффективности системы наша жизнь должна была быть пустой, иначе она становилась недоступной для наблюдения. Книжки, которые мы могли бы прочесть, игрушки, которыми мы могли бы играть, представлялись моей тете чем-то вроде тех предметов, которые домашние хозяйки называют «собирающими пыли», — вокруг этих развлечений могла скопиться грязь. Сокровенные уголки сознания казались ей такими же негигиеничными, как пуговицы на животе. Очевидно, по своей внутренней сущности тетя Маргарет была одним из первых представителей функционализма.

Система моей тети, как все системы, была, конечно, несовершенной. Так как нам не разрешали читать, мы сочиняли; если нас держали порознь, мы рассказывали то, что придумывали самим себе, лежа в постели. Мы превращали в романы наши учебники и даже словари и читали отрывки из настоящих романов в школьной «Книжке знаний». Дядя Майерс относился к моему младшему брату иначе, чем ко всем нам, и в этом, конечно, была его слабость, так же как пристрастное отношение ко мне было слабостью тети Мэри. Она приводила меня к себе в комнату и учила подрубать носовые платки, нарезанные из кусков дешевого ситца, которые я по несколько раз подшивала и распарывала, делая толстые, грубые, уродливые края, и, хотя тетя Мэри была равнодушна к искусству и лишена чувства прекрасного (она даже не научила меня штопать, что тоже является искусством, или вышивать, как это сделали потом монахини в монастыре), она любила рассказывать о своей прежней жизни в Чикаго и читать захватывающие религиозные романы в журнале «Экстеншн», который она изредка разрешала мне брать к себе в комнату, приняв необходимые меры предосторожности. А по воскресеньям на прогулках, возглавляемых дядей Майерсом, после нескончаемых поездок в трамвае, во время которых мои старшие бра-

тъя должны были сидеть скорчившись, чтобы никто не подумал, что им больше шести лет, он иногда водил нас (строем, как солдат) по лесистой тропинке высоко над Миссисипи, и мы видели первые летние колокольчики, а один раз кораллово-розовую змею. В Минехаха-парке, куда мы больше всего любили ходить, нам разрешали качаться на качелях и смотреть, как другие дети катаются на пони или в маленьких игрушечных железнодорожных вагонах. В парке дядя Майерс обычно покупал себе печенье «Щелкунчик Джек», и мы не спускали с него глаз, пока он брал одно печенье за другим и рылся в коробке, чтобы найти спрятанный на дне сюрприз, — обряд, вызывавший у нас глубокую зависть, потому что, хотя нам иногда давали дома поджаренную кукурузу (Майерс любил ее поджаривать) и даже один или два раза домашние кукурузные палочки с патокой, мы никогда не пробовали этого покупного печенья с земляным орехом, казавшегося нам тем более лакомым, что им лакомился Майерс, который часто приходил домой с коробкой «Щелкунчика Джека», купленной во время бейсбольного матча. И вот в одно прекрасное воскресенье дяде Майерсу пришла блажь купить коробку этого печенья и всю целиком отдать младшему из моих братьев.

Конечно, мы завидовали Шеридану — он был блондином со светлыми, золотисто-рыжими локонами, а мы — яркими брюнетами с темными густыми бровями и ресницами, — завидовали и смотрели во все глаза, как он, счастливец, жует липкое печенье и старается вытащить со дна коробки раскрашенную жестяную бабочку на тонкой булавке. Братья с громкими криками обступили его со всех сторон, но у меня хватило гордости не выдать себя. Шеридану было тогда около шести лет, и эта бабочка стала самым дорогим из его сокровищ — у него их было так мало. Он носил ее из комнаты в комнату всю следующую неделю, зажав в кулаке или приколов к рубашке, а оба старших брата ходили за ним по пятам, вымаливая разрешение поиграть с ней, что казалось мне недостойным, потому что в свои десять лет я чувствовала себя слишком искушенной, чтобы интересоваться жестяными бабочками, и подозревала, что вся эта затея подстроена дядей. А дядя наслаждался спектаклем и строго следил за тем, чтобы Шеридан не поступался своими правами владельца и никому не разрешал прикасаться к бабочке. Сама по себе эта бабочка не представляла особенной ценности, но она оказалась единственной игрушкой в доме, которая не была, так сказать, обобществлена и являлась личной собственностью од-

ного из нас. Всем остальным детским хозяйством — сломанными качелями, старой тележкой, грязной песочницей и еще, кажется, пожарной машиной или чем-то вроде нее, несколькими ободранными кубиками и погнутыми, купленными из вторых рук рельсами от детской железной дороги, хранящимися на чердаке, — мы владели сообща; велосипеды, привезенные из Сиэтла, давно сломались, а прыгалки, фишки, несколько мраморных шариков и пара ржавых роликовых коньков с самого начала были объявлены общим достоянием. Поэтому целую неделю вокруг бабочки кипели страсти, и только я упорно держалась в стороне, не желая замечать ее, пока однажды около четырех часов дня в то время, когда я вытирала пыль — моя еженедельная обязанность, — ко мне в комнату торопливо и бесшумно не вошла седоволосая тетя Мэри и, закрыв за собой дверь, не спросила меня, не видела ли я бабочку Шеридана.

Мне так надоели разговоры о бабочке, что я едва подняла голову и, ответив коротким «нет», продолжала уборку. Но тетя Мэри проявила несвойственную ей настойчивость: разве я не знаю, что Шеридан ее потерял? Не могу ли я помочь ей поискать бабочку? Меня совсем не привлекало это занятие, но в ее тихом голосе слышалось волнение, она почти умоляла меня — я отложила тряпку и принялась ей помогать. Мы обыскали весь дом: поднимали ковры, заглядывали за занавески, в кухонный буфет, в фонограф, осмотрели каждый уголок, за исключением кабинета, дверь в который была закрыта, и спальни дяди и тети. Почему-то — не знаю почему — я не надеялась на успех наших поисков, отчасти, наверное, потому что бабочка меня не интересовала, а отчасти из-за фатализма, с которым дети обычно относятся к потерянным игрушкам, считая, что они безвозвратно исчезают в круговороте вещей. Как бы там ни было, я оказалась права: мы не нашли бабочку, и я, чувствуя себя отмщенной, снова взялась за тряпку. Почему я должна искать эту дурацкую бабочку, если Шеридан не сумел ее сберечь?

— Майерс недоволен, — сказала тетя Мэри, все еще неловко стоя в дверях и не зная, на что ей решиться.

Я презрительно скривила губы, и она, вздохнув, вышла из комнаты, огорченная и негодующая, в своем бесцветном платье с глухим воротом, плотно застегнутом на все пуговицы.

Я не догадалась, что меня подозревают в краже, даже когда пять минут спустя в комнату неожиданно вошла тетя Маргарет и приказала мне спуститься вниз искать бабочку.

Я возразила, что уже искала ее, но она не обратила на это ни малейшего внимания и больно стиснула мою руку.

— Ищи снова и пеняй на себя, если не найдешь.

У нее был хриплый голос, и в ее сморщенном землисто-сером лице чувствовалась какая-то напряженность, какое-то беспокойство, хотя мне казалось, что она сердится не на меня, а на что-то лежащее вне нас — на то, что теперь называют судьбой или случаем. Я снова неохотно взялась за поиски и снова ничего не нашла, тогда она присоединилась ко мне и принялась энергично переворачивать все вверх дном. Мы зашли даже в кабинет и осмотрели каждую вещь вокруг Майерса, пока он, иронически поглядывая на нашу возню, набивал трубку табаком, хранившимся в кисете из бычьей кожи. Мы ничего не нашли, и тетя Маргарет отвела меня назад в мою комнату, которую я при ней обыскала сверху донизу. Когда мы покончили с ящиками письменного стола и стенным шкафом, тетя Маргарет вдруг сдалась. Она вздохнула и прикусила губу. Дверь осторожно открылась, и в комнату вошла тетя Мэри. Сестры переглянулись и посмотрели на меня. Маргарет пожала плечами.

— У нее нет бабочки, я совершенно уверена, — сказала она.

Морщинки на ее лице чуть разгладились, она положила мне на плечо тяжелую огрубевшую руку с обручальным кольцом на пальце и прошептала глухим голосом, как шепчут шпионы или скауты:

— Дядя Майерс думает, что это ты взяла бабочку.

Сознание собственной невиновности и мысль, что они решили мне участвовать в их заговоре, взволновали меня и заставили почувствовать, что я для них что-то значу.

— Но ведь это неправда, — начала я торжественно, понимая, что настал мой час, — зачем мне эта паршивая бабочка?

Сестры переглянулись.

— Вот видишь, Маргарет! — с жаром воскликнула старенькая тетя Мэри.

Тетя Маргарет нахмурилась и поправила костяную шпильку в пышной башне волос, которая ей не шла.

— Мария Тереза, — сказала она величественно, — если ты знаешь что-нибудь о бабочке, если ты знаешь, кто из твоих братьев ее взял, сейчас же скажи мне. Если мы не найдем бабочку, я боюсь, что дядя Майерс тебя накажет.

— Но он не может меня наказать, тетя Маргарет, — на-

стаивала я, убежденная в своей правоте. — Ведь я ее не брала, и вы это знаете.

Я смотрела на нее преувеличенно доверчивым взглядом, пытаясь сохранить неожиданно возникшую между нами близость. На бесцветные старческие глаза тети Мэри набежали слезы.

— Маргарет, ты не можешь допустить, чтобы Майерс наказал ее, если ты знаешь, что она не виновата.

Они одновременно взглянули на мадонну Мурильо, висевшую на покрытой пятнами стене. Они поняли друг друга, и я не сомневалась, что с помощью нашей святой Матери тетя Маргарет спасет меня.

— Иди, Мария Тереза, — сказала она хрипло, — и приготовься к обеду. Когда спустишься вниз, не говори дяде ни слова о том, что здесь произошло.

Я села за стол, торжествуя в душе, но старалась, чтобы никто этого не заметил. Во время еды всем было не по себе; Херди впал в уныние из-за бабочки, Престон и Кевин хранили молчание, исподтишка бросая на меня недоуменные взгляды. Братья не могли понять, почему меня не наказали, хотя бы за то, что я старшая, если уж не нашлось другого повода. У тети Маргарет горели щеки, что делало ее немного красивее. Дядя Майерс сидел с хитрым видом, как будто ожидая, что события подтвердят его правоту. Время от времени он гладил Шеридана по золотистым волосам и уговаривал есть. После обеда мальчики строем пошли за дядей Майерсом к нему в кабинет, а я помогла тете Маргарет убрать со стола. Нам не нужно было мыть посуду, потому что у нас служила в то время очередная кухарка. Подняв белую скатерть и подстеленную под нее клеенку, мы увидели бабочку — она была приколота к клеенке как раз около моего места.

Моя участь была решена, хотя тогда я этого еще не знала. Я не придавала никакого значения тому, что бабочка оказалась возле моего места. Но Маргарет исполнилась мрачной решимости. Она опять дала себя провести, говорило ее лицо, Майерс, как всегда, оказался прав. Соблюдая все формальности, дядя по одному допросил мальчиков («Нет, сэр», «Нет, сэр», «Нет, сэр») и по моему настоянию даже вызвал из кухни девушку-шведку. Никто не знал, каким образом бабочка попала под клеенку. Перед обедом, когда девушка накрывала на стол, ее там не было. Из этого мои судьи заключили, что я прятала бабочку на себе и во время обеда незаметно подсунула ее под клеенку. Этот единодушный вердикт сначала привел меня

в ярость просто своей глупостью — как можно быть настолько тупым, чтобы считать меня способной спрятать бабочку около своего собственного места, где ее наверняка найдут. Я была не в силах поверить, что этой смехотворной улики достаточно, чтобы меня наказать, но я не могла предложить ни одной удовлетворительной гипотезы, объясняющей, каким образом бабочка оказалась под клеенкой. Первое, что мне пришло в голову, это заподозрить кухарку, но, подумав, я отказалась от этой мысли. Зачем могла понадобиться взрослой женщине дурацкая игрушка шестилетнего мальчика? Страдая от несправедливости вынесенного приговора, я не хотела подвергать такому же мучению кого-нибудь из моих братьев. Мне оставалось надеяться, что истина сама выйдет наружу, но внезапно допрос прекратился, и никто больше не решался посмотреть мне в глаза.

Тетя Мэри, шаркая ногами, поднялась наверх, мальчикам приказали ложиться спать, и в уборной началась порка. Майерс хлестал меня ремнем, пока не устали его ленивые руки; толстому, рыхлому человеку нелегко справиться с визжащей, брыкающейся, извивающейся десятилетней девочкой. С трудом переводя дыхание, он вышел из уборной и тяжело опустился в свое любимое кресло. Я решила, что экзекуция окончена. Но его место заняла тетя Маргарет; безразлично, как будто по обязанности, награждая меня ударами щетки для волос, более тяжелыми, чем удары Майерса, она повторяла:

— Скажи, что ты это сделала, Мария Тереза, скажи, что ты это сделала.

Удар следовал за ударом, но я не уступала, и это заклинание начало звучать просительно, как молитва. Я поняла, что она уговаривает меня сдаться и ради моего собственного блага признать правоту Майерса, так как иначе он не сможет прекратить порку. Когда я, наконец, крикнула: «Хорошо!», она бросила щетку и вздохнула с облегчением; видимо, у нее появились новые сомнения в моей вине и мое признание облегчило ее совесть. Она отвела меня к дяде; мы обе остановились перед ним, и тетя Маргарет, твердо, но сочувственно, положив руку мне на плечо, прошептала:

— Только скажи: дядя Майерс, это я взяла бабочку, и сейчас же пойдешь спать.

Но, увидав, как он самодовольно развалился в кресле, ожидая моего признания, я не выдержала. Слова застряли у меня в горле. В его присутствии я не могла их произнести. Тетя Маргарет настаивала, в ее голосе слышался упрек, как будто

я нарушила соглашение, и тогда, взглянув прямо в лицо Майерсу, я вдруг ясно увидела, какой мерзкий человек сидит передо мной, и у меня вырвался вопль:

— Это не я! Это не я!

Я с трудом ловила воздух между вскриками. Дядя Майерс бросил злобный взгляд на жену, как будто не сомневался, что мы с ней в сговоре. Он приказал мне вернуться в темную уборную и многозначительно засучил рукава. Его рука решительно взялась за ремень, но я была уже совершенно вне себя, и, когда тетя Маргарет вбежала в уборную, чтобы попытаться меня уговорить, она услышала в ответ лишь дикие крики, раздававшиеся до тех пор, пока дядя Майерс, тоже задыхаясь, не повесил ремень на крючок.

— Займись ею, — отчеканил он, но тетя Маргарет, обрушив на меня несколько злобных ударов за то, что я ее не послушалась, продолжала свою работу без воодушевления. Майерс больше не прикоснулся к ремню; порка кончилась, может быть, из-за страха перед соседями, или из-за присутствия наверху болезненной тети Мэри, или из-за внезапного приступа угрызений совести, не знаю; быть может, просто потому, что мне давно пора было спать.

Наконец я доковыляла до кровати, упиваясь сознанием своей духовной победы и чувствуя, что вела себя как какая-нибудь святая, потому что, несмотря на все, что со мной сделали или могли сделать, я не отреклась. Мне не пришло в голову, что я поступила не по-христиански, отказавшись внять безгласным призывам тети Маргарет. Я радовалась, что заставила ее продолжать порку после того, как она убедилась в моей невинности, — это было наказанием за то, что она прощала Майерсу все его преступления. На следующее утро, когда, проснувшись, я взглянула на мадонну Мурильо и на младенца Стюарта, моя радость погасла: я испугалась собственной смелости. Но ни в тот день, ни на следующий меня не тронули. Во мне все пело; робко, но уже не без тщеславия я сравнивала себя с героями легенд: мои силы удесятерились, потому что мое сердце было чисто! Спустя некоторое время меня снова начали бить, как прежде, но о бабочке с тех пор больше никто никогда не говорил.

Мне казалось и кажется до сих пор, что между историей с бабочкой и спасительным вмешательством нашего сиеатлского дедушки, которое произошло осенью или в начале зимы

следующего года, существовала какая-то связь. Утратив веру в свою систему или перестав заботиться о нашей дальнейшей судьбе, Майерс и Маргарет впервые разрешили двоим из нас — моему брату Кевину и мне — пройти наедине с этим строгим и добрым законником два квартала, отделяющие наш дом от дома Маккарти. Во время этой прогулки между сугробами первого снега мы побороли свой страх и, вдохновленные мечтой о куклах, бейсбольных перчатках и часах, рассказали дедушке Престону обо всем, но, как ни странно (хотя это очень похоже на дедушку Престона), самое сильное впечатление произвел на него не рассказ о бабочке и других жестокостях, который он выслушал, всматриваясь в нас своими профессионально цепкими глазами, а тот факт, что я не ношу очков. Я упала в школе на площадке для игр и разбила их, за что мне было приказано ходить без очков, и я не могла понять, почему, узнав об этом, он вспыхнул от гнева — для меня было огромным облегчением избавиться от этих уродливых оглобелей. Но он выдвинул вперед свою и без того выступающую нижнюю челюсть, взял нас за руки и решительно направился к подъезду дома Маккарти, как будто хотел немедленно призвать их к ответу. Так проблема нашего здоровья заставила, наконец, этого доброго американца забить тревогу; всему остальному, услышанному от нас, он или не поверил, или побоялся поверить, чтобы избежать необходимости заниматься еще и проблемой зла.

Ссылаясь на медицинские соображения, нас разлучили с дядей Майерсом, который вернулся в Элхарт вместе с женой и тетей Мэри. Моих старших братьев отдали под надзор монахинь в католический пансион, а Шеридана Майерсу позволили увезти с собой, как некий золотой трофей. Но он пробыл с Майерсом недолго. Вскоре умерла тетя Мэри, за ней тетя Маргарет, а потом и Майерс; на протяжении каких-нибудь пяти лет эти люди, еще не достигнув заката, вышли из игры — по счету раз, два, три, как кегли.

Для меня началась новая жизнь под более счастливой звездой. Через несколько недель после визита моего протестантского дедушки я сидела вместе с ним в купе поезда и смотрела на Миссури, текущую на запад к своим истокам, — до предела нервная девочка, фанатически ненавидящая протестантов, которых, как я объяснила дедушке Престону, всех до одного нужно сжечь на костре; на моей руке были позолоченные часы, а на голове новая ярко-красная шляпа. В вагоне-ресторане я с жадностью заказала бараньи отбивные,

оладьи и сосиски, а потом сидела и ни к чему не могла при-
тронуться.

— У этой девочки глаза больше, чем желудок, — заметил
официант.

Шесть-семь лет спустя, во время одной из своих поездок
в колледж, я остановилась в Миннеаполисе, чтобы повидать-
ся с братьями, которые опять жили вместе под присмотром
нового и более снисходительного опекуна — моего дяди Луи-
са, самого красивого и молодого из сыновей Маккарти. Все
представители старшего поколения умерли; бабушка Маккарти
скончалась незадолго перед этим, оставив крупную сумму
денег на постройку часовни ее имени в Техасе, в штате, с ко-
торым у нее как будто не было никаких связей. Мы сидели
в сумерках на застекленной террасе в доме дяди Луиса
и в поисках какой-нибудь темы, которая могла бы объединить
нас, заговорили о дяде Майерсе. Тогда-то Престон рассказал
мне, что в тот достопамятный вечер он видел, как дядя
Майерс с бабочкой в руке прокрался из кабинета в столовую
и поднял клеенку.

НЕГОДАЙ



Будь мой протестантский дедушка еще жив, он бы, конечно,
огорчился, узнав, что его загробная жизнь однажды яви-
лась поводом для серьезного беспокойства в женском мона-
стыре святого Сердца. Пока его брненное тело, ни о чем не
подозревая, завершало партию в гольф или доигрывало в
клубе предобеденный роббер в бридж, его бессмертная душа
пребывала среди нас, монахинь и учениц строгой монастыр-
ской школы, расположенной на лесистом холме поблизости от
заброшенного участка земли, купленного им в надежде, что
город будет расти в северном направлении. Проповедь, произ-
несенная в монастыре неким пылким иезуитом, раскрыла нам
глаза на подстерегавшую дедушку опасность. До той минуты
разница между его и моим вероисповеданием не вызывала у
меня серьезной тревоги, так как я объясняла ее нашей разни-
цей в возрасте. Смерть моих родителей, связавшая нас многи-
ми узами, в том числе чисто формальными (дедушка стал
моим опекуном), создала между нами пропасть в целое поколе-
ние, и дедушкино протестантство казалось мне органической

частью того величественного горного ландшафта, который простирался по другую сторону провала. Но проповедь иезуита, подобно удару грома, разрушила эту стройную картину.

Согласно доктрине отца иезуита мой честный и прямодушный дедушка, пользующийся искренней симпатией матери игуменьи, был осужден на вечные муки из-за несчастной случайности крещения. Будь он мусульманином, евреем, язычником или сыном каких-нибудь цивилизованных, но неверующих родителей, ему было бы обеспечено место в преддверии ада, где его товарищами могли бы стать Цицерон, Аристотель и персиянин Кир, а у его ног резвились бы невинные души детей, умерших до крещения. Но если иезуит был прав, все крещенные протестанты попадали прямо в ад. Праведная жизнь не давала им никаких преимуществ. Обряд крещения, приобщая протестантов к милости божьей, одновременно делал их объектом административного неудовольствия Спасителя. Иными словами, хотели они этого или нет, крещение превращало протестантов в католиков, и поэтому их приверженность к своей вере становилась чем-то вроде клятвопреступления. Вот почему мой бедный дедушка, шестьдесят лет не причащавшийся на пасху, без сомнения, уменьшал свои шансы на спасение каждый раз, когда опускался на скамью пресвитерианской церкви.

Когда через час после проповеди я — вся волнение — сделала реверанс у двери матери игуменьи, ее озабоченное, но ласковое лицо подтвердило, что я поступила правильно. Она ждала меня, это было ясно. Она догадалась, зачем я пришла, и опустила глаза, как будто я понесла тяжелую потерю. Расстроганная и взволнованная ее пронизательностью и тем, что она так хорошо меня понимает, я вошла.

Мне не пришло в голову, что госпожа Макилвра, умелый и опытный администратор, во время заключительной части утренней проповеди невозмутимо отмечала галочками фамилии всех протестантов — воспитанников и родителей. Начав разговор, она, разумеется, выразила некоторое недовольство утренней проповедью, в основе своей, быть может, вполне правильной, но чересчур прямолинейной, — пламенный иезуит, слава миссионеров, слишком долго жил среди эскимосов. Ее непредвзятость вдохнула в меня надежду. Эта женщина, бывшая для меня высшим авторитетом, несомненно, могла выступить в роли посредника между моим дедушкой и богом, ей, этой пышной пожилой матроне, наверняка удастся придумать, как заставить бога сделать для моего дедушки исключение из же-

стокого и слишком общего правила, о котором говорил иезуит. В конце концов, ведь это она была источником всех поблажек в монастыре: она разрешала перерывы в занятиях (в согласии с французской традицией Ордена их называли *congés* *), по ее настоянию библиотекарь выдавал нам запрещенные книги, благодаря ее заступничеству мы иногда получали письма, не просмотренные монастырским цензором. (Как правило, все вульгаризмы, неграмотно составленные фразы, неправильно написанные слова, а также изъятия неподобающих чувств вымарывались из посланий наших друзей, и, так как среди них было не так уж много молодых Аддисонов и Берков **, их долгожданные письма доходили до нас в виде отрывков, по которым можно было лишь догадываться о содержании оригинала.) В моем двенадцатилетнем мозгу сложилось представление, что госпожа Макилвра, наша мать игуменя, обладает властью дать моему дедушке *congé*, и я решила воззвать к ее сочувствию.

Эдикт, объявленный иезуитом, поразил меня своей несправедливостью. Я восстала против капризов бога, как Августин и Киркегор ***. Возможно ли, чтобы мой дедушка, самый добродетельный из всех известных мне людей, считавшийся среди своих друзей и коллег воплощением непреклонной фанатической честности, возможно ли, чтобы этот человек погиб, а мне, живому отрицанию его личного примера, объекту его наставлений, мне, способной поддаться любому порыву, лгать, хвастаться и предавать, — удалось спастись только потому, что я регулярно хожу к причастию и привыкла с легкостью раскаиваться в своих грехах.

Госпожа Макилвра нахмурила густые светлые брови, ее по-детски голубые глаза потемнели. Как многие руководительницы воспитательных заведений, она любила поплакать и сейчас охотно прижала меня к своей трепещущей, вполне женской груди. Она поняла, она тоже немедленно возмутилась. В самом деле, между ней и моим дедушкой существовали теплые, дружеские отношения, радовавшие их обоих. Она любовалась мужественностью и твердостью его характера, а ему нравилась бесконечная мягкость и глубина ее натуры, но, конечно,

* Здесь: освобождения (*франц.*).

** Джозеф Аддисон (1672—1719) — английский поэт и публицист, автор многочисленных эссе, считавшихся в свое время образцом изящного стиля; Эдмунд Берк (1729—1797) — английский государственный деятель и оратор, прославившийся речами в защиту независимости Америки.

*** Аврелий Августин (354—430) — философ христианской античности; Серен Киркегор (1813—1855) — датский философ.

настоящую остроту их беседам придавала разница вероисповеданий. Встречаясь в безукоризненно прибранной маленькой комнате матери игуменьи, выдержанной в черно-белых тонах, они неизменно наслаждались ощущением широты, просвещенности и полного отрешения от мелочной вражды. Дедушка вспоминал о чеке, который он каждое рождество вручал у себя в конторе двум сестрам милосердия; госпожа Макилвра, наверное, вспоминала о своих занятиях в колледже и о Хьюме*. Они вели долгие непринужденные беседы, напоминавшие театральные диалоги, во время которых обе стороны совершали ослепительные подвиги великодушия; расставшись, они говорили друг о друге почти в одинаковых выражениях: «Удивительная душа!», «Удивительный ум!»

Все это (и, вероятно, подозрение, что я повторяю ее приговор дома) заставляло госпожу Макилвру медлить с ответом.

— Может быть, бог в своей безграничной милости... — пробормотала она наконец.

Но эта формула не удовлетворила ни ее, ни меня. Мы верили в безграничную милость бога, но не возлагали на нее особенных надежд. Из священной истории мы знали, что милости бога чаще распространяются на Доброго вора или Женщину, уличенную в неверности, чем на тех, кто вроде дедушки ведет размеренно-добродетельный образ жизни. Наши мысли в тревоге блуждали среди католических догматов. Ресницы госпожи Макилвры затрепетали под моим растерянным взглядом. Мгновенье мы обе молчали, и ее губы едва заметно шевелились — может быть, она молилась или повторяла какие-то полузабытые заповеди, не знаю.

— Есть, конечно, другие возможности, — продолжала она вкрадчиво. — Может быть, его крестили не совсем так, как надо... небрежный священник...

Я обдумала это предложение и покачала головой. Такой человек, как дедушка, не потерпел бы небрежности даже при собственном крещении. Рискуя его душой, которая, можно сказать, зывала к нашей помощи, госпожа Макилвра не предложила мне простейшего общепринятого выхода из положения, что, конечно, свидетельствовало о ее уме или о знании жизни. Попытка обратить дедушку показалась бы мне смешной. Правда, можно было попробовать завлечь его в западню с помощью различных невинных уловок (религиозные книги, остав-

* Дэвид Хьюм (1711—1776) — английский историк и философ.

ленные открытыми рядом с его ножичком для обрезания сигар, или: «Дедушка, ты не можешь проводить меня к мессе в это воскресенье? Мне так надоело ходить одной»).

— Молись за него, дорогая, — сказала, вздыхая, госпожа Макилвра, — молись, а я поговорю с госпожой Баркли. Наверное, этот догмат можно истолковать как-нибудь иначе. Может быть, госпожа Баркли вспомнит что-нибудь от отцов церкви...

Через несколько дней госпожа Макилвра вызвала меня к себе. Она пригласила не только госпожу Баркли, нашего ученого декана, но и библиотекаря, и даже монастырского капеллана. Книжки, стоявшие на самых верхних полках, были заблаговременно положены на стол, проводились консультации по телефону.

Бенедиктинцы, казалось, придерживались в этом вопросе совсем иной точки зрения, чем доминиканцы, а одно из положений святого Афанасия как будто указывало путь к спасению моего дедушки. Согласно этому великодушному арбитру неверующий мог быть осужден на вечные муки, только если он отверг истинную церковь по доброй воле и достаточно хорошо зная ее учение. Мадам Макилвра вручила мне книгу, и я сама перечитала эти строчки. Сомнения исчезли, дедушка был спасен. Он знал учение католической церкви недостаточно хорошо! Оно было для него чужим. Он интересовался им лишь от случая к случаю, пользуясь сведениями из вторых рук, как язычник Гайавата, до которого доходили странные рассказы о миссионерах — белых людях в черной одежде с крестом. Бросившись на шею госпоже Макилвре, я впервые в жизни благословила дедушкину замкнутость и маску отчужденности, появлявшуюся на его лице с выпяченной нижней губой каждый раз, когда он сталкивался с незнакомыми ему представлениями и обычаями. Я решила немедленно убрать маленький алтарь, устроенный дома у меня в спальне, забыть о благодарственных молитвах перед едой, о тщательном соблюдении поста и обо всех внешних проявлениях благочестия, дабы чрезмерно яркий свет, излучаемый моим примером, не мог просветить дедушку и сжечь его дотла.

Так как конец недели я проводила дома, мой энтузиазм не успел остыть, и в первое же воскресенье дедушка обратил внимание на происшедшую во мне перемену, тем более что из-за пристрастия к драматическим эффектам я несколько перестаралась.

— Надеюсь, — сказал он довольно сурово и насмешливо, — что светская обстановка этого дома не заставила тебя отказаться от своей веры. Когда ты станешь старше, у тебя будет достаточно времени, чтобы переменить религию, если ты этого захочешь.

Несправедливость его выговора привела меня в восхищение. Теперь я могла по праву сравнивать себя со святыми и мучениками: подобные страдания были знакомы господу богу и Элси Динсмор, когда она садилась за фортепиано. Но я все равно очень рассердилась на дедушку и громко хлопнула дверью своей комнаты, куда удалилась, чтобы пережить нанесенную мне обиду. Я почти желала дедушке немедленной смерти, чтобы бог объяснил ему, почему я себя так веду, — ведь иначе он не узнает правды до следующей жизни и все это время будет считать меня жертвой моего собственного легкомыслия.

Как будто в награду за мое молчание следующая среда принесла мне счастливейшее мгновение в жизни. Чтобы понять, в чем состояло мое счастье, читатель должен вдохнуть глоток того воздуха, которым дышал наш монастырь. Тому, кто думает, что жизнь, которую мы вели в его стенах, была пустой, бессодержательной, холодной, суровой и замкнутой, придется изменить свои взгляды — каждый наш день был отмечен кипением страстей. Прежде всего мы ели, учились и спали в той обычной для женских пансионов атмосфере интриг, соперничества, сплетен, фаворитизма, тирании и мятежей, после которой настоящая жизнь кажется томительным, неправдоподобно скучным перемирием, отдыхом от подлинных мук борьбы. Но, покрывая нестройный шум этой девичьей оперетты с ее дребезжанием ломающихся дружб, пересылкой тайных писем, передачей от парты к парте записочек и секретов, в монастыре святого Сердца звучала другая, более серьезная и торжественная мелодия, с отголосками великой религиозной драмы, тоже состоящей из страстей и причуд, финалом которой было спасение, а содержанием — поиски неуловимой и изменчивой, как настроения султана, благосклонности бога, вымогаемой мольбами, бунтом, отчаяньем, хитростью и постоянными надоедливими просьбами. Парадоксальность католицизма придавала этой драме особенную остроту. Божественного деспота, которого мы обхаживали, нельзя было купить, как товар, многочасовым стоянием на *prie-dieu**, неукоснительным

* Скамейка, на которую молящиеся становятся коленями (франц.).

хождением к причастию, покорностью, почтительным отношением к старшим. Все это, конечно, засчитывалось, но в то же время самая испорченная девочка в школе, чье хорошенькое надменное личико с подкрашенными губами и спокойным, непроницаемым взглядом ясно говорило даже нам, младшим ученицам, о тайном знании мужчин, могла оказаться в глубине души новой Марией Египетской, новой потаскушкой-святой. Эта возможность придавала странный оттенок нашей монастырской жизни; мать игуменья, наверное, ни разу не исключила из школы ни одну девочку, не вспомнив с легким смущением о распутной юности святого Августина и святого Игнатия Лойолы.

Не очень понятное учение о спасении с его всеохватывающей мудростью и загадочным очарованием определяло всю жизнь нашего монастыря. Любая его послушница могла бы, не теряя душевного равновесия, отстоять свои взгляды на очищение посредством греха в беседе с мистером Оденем, герром Кафкой или господином Достоевским; а госпожа Макилвра, которая в отличие от старца Зосимы сочла бы дурным вкусом кланяться убийце, притаившемуся в сердце Дмитрия Карамазова, наверняка пригласила бы самого господина Карамазова к себе и завела с ним длинный и интересный разговор.

Как все истинные интеллигентки, наши наставницы интересовались лишь самыми крайними проявлениями романтизма. Они презирали упорядоченную ересь Лютера, Кальвина и им подобных и превращали великих атеистов и грешников в героев живописных картин, знакомство с которыми называлось у нас преподаванием истории.

Марло, Бодлер и, конечно, Байрон освещали зловещим светом все наши курсы литературы. Десятилетние девочки знали наизусть «Шильонского узника» и заслушивались рассказами о Клэр Клэрмон*, Каролине Лэмб**, супругах Сегати*** и покорении Геллеспонта. Даже мсье Вольтеру не отказывали в некоем двусмысленном признании. Монахини говорили о нем со страхом и восхищением:

— Великий ум, неукротимый дух, но как ужасно они были использованы!

Руссо, этот небрежно одетый представитель третьего сословия, совершенно их не интересовал.

* Клэр Клэрмон (1798—1879) — писательница, прославившаяся любовной связью с Байроном.

** Каролина Лэмб (1798—1879) — мать незаконной дочери Байрона.

*** Во время пребывания в Венеции Байрон жил в доме торговца тканями Сегати, жена которого была его любовницей.

Существовало множество приемов, с помощью которых восторженные увлечения учителей, разделяемые учениками, согласовывались с официальными католическими воззрениями. Наиболее образованные из наших наставниц ссылались на полярность добра и зла: разве знакомство со злом не предопределяет знакомство с богом и богопротивные поэты не суть ли то же самое, что черные апостолы нашего искупителя? С другой стороны, молодая монашенка, преподававшая арифметику в шестом и седьмом классах и увлекавшаяся бейсболом, говорила своим ученикам, что лично она не сомневается, что лорд Байрон перед смертью раскаялся.

Поэтому нас нисколько не удивила написанная на доске строчка стихов развратного поэта, которую мы увидели в ту памятную среду, войдя в классную комнату, предназначенную для занятий риторикой в восьмом классе. «*Zoe mou, sas agaro*». Написанные французским почерком госпожи Баркли, эти прощальные слова, обращенные Байроном к афинской девушке, должны были говорить нам о быстротечности страсти. Но случилось так, что мне они говорили не только об этом. Я уже читала это стихотворение одна, в библиотеке бабушки; я даже знала его наизусть, и меня обидело вторжение в мои личные владения, неизбежное превращение этого стихотворения в общее достояние. Через несколько мгновений указка госпожи Баркли начала переходить от слова к слову.

— Моя... жизнь... я... люблю... тебя, — отчетливо переводила она.

Когда указка вернулась назад, чтобы снова повторить тот же путь, я замкнулась в своем высокомерии и начала рисовать портрет сидящей рядом со мной девочки. Неожиданно острый конец деревянной палки впился в мой блокнот.

— Ты похожа на лорда Байрона: так же блистательна и так же испорченна.

Я слышала стук опустившейся на место указки и хруст дважды разорванного рисунка, но не могла поднять глаз. Дрожа от возбуждения, охваченная каким-то благоговейным ужасом, я сжалась в комок на своем стуле. До этого мгновенья я, как Наполеон, наивно думала, что самый счастливый день в жизни человека — это день первого причастия, и вот теперь, осчастливленная фразой госпожи Баркли, я почувствовала, как это мелкобуржуазное представление внезапно заколебалось и обратилось в ничто. Я сидела неподвижно, стараясь выглядеть как можно скромнее, в то время как другие ученицы смотрели на меня с радостным одобрением, удивле-

нием и страхом, как будто я вдруг заболела какой-то необыкновенной болезнью, превратилась в святую или пережила преображение. Замечание госпожи Баркли, которое я тихонько повторяла про себя, имело для нас, девочек, значение окончательного приговора, незыблемого в своей несомненной справедливости. Она слыла самой суровой и немногословной из наших учителей. У нее были темные, сросшиеся над переносицей брови и смуглое, оливкового цвета лицо, слегка затененное над верхней губой едва заметными усиками. Госпожу Баркли считали честью и совестью нашего монастыря. Она не терпела ни малейших отступлений от правил, не пропускала незамеченной ни одну мелочь, была безукоризненно и неумолимо честной и не имела любимчиков, но на ее заостренном лице лежала печать страдания, как будто ее пресловутая дисциплинированность оставляла на нем такие же резкие следы, как на некоторых из наших письменных работ. У нее был ядовитый, саркастический ум и диплом Сорбонны. До этого дня я один или два раза осмелилась подумать, что нравлюсь госпоже Баркли. Ее темные очень красивые глаза иногда обращались в мою сторону в тот момент, когда ее губы готовились произнести афоризм или какую-нибудь едкую шутку. Но едва я успевала обдумать значение ее взгляда, взвесить и измерить его ценность, чтобы занести в свою памятную книжку под рубрикой оплаченных привязанностей, как какое-нибудь язвительное замечание разрушало мою мечту и меня опять охватывали сомнения. Однако на этот раз сомнений не осталось. Сделанный мне выговор был объяснением в любви, таким же откровенным, как то, которое было написано на доске и расплывалось у меня перед глазами. Я была счастлива и испытывала необъяснимую приподнятость духа; две мысли — что меня сравнили с лордом Байроном и что меня любит госпожа Баркли, самая загадочная монахиня нашего монастыря, — смешиваясь, рождали ощущение триумфа, похожего на триумф Дон-Жуана.

Всеобщее внимание, которое я привлекала в этот день в столовой, не испортило моего настроения. Ненасытная, я не могла дожидаться конца недели, чтобы принести домой слова госпожи Баркли, как будто они были врученной мне наградой. Со щедростью богача я мечтала разделить это счастье, эту честь с дедушкой. Наконец-то я могла вознаградить его за все труды и за все волнения, которые я ему доставляла. И в то же время это событие должно было иметь практическое значение, хоть немного объяснив дедушке, что я собой представ-

ляю. Обрывки фраз, постоянно повторяемых о моем прототипе, звучали у меня в мозгу: «Этот несчастный гений», «Эта смятенная душа», «Эта одаренная и неустойчивая натура».

Услышав мою новость, дедушка побагровел. На его лбу вздулись вены, он выругался, его лицо изменилось и помолодело — это был первый случай, когда я видела его сердитым. Споры и объяснения были бесполезны. Дедушка считал, что по вине истории он и лорд Байрон оказались слишком близко друг к другу. Хотя повинный в кровосмешении поэт умер за сорок лет до его рождения, дедушка не ощущал романтической удаленности этого события. Отгороженность от мира, державшая его в плену отвлеченных понятий добра и зла и лишавшая его возможности допустить существование явлений, не укладывающихся в рамки обычного, заставляла его относиться к поэту так же, как он относился к себе и своим соседям, то есть судить о нем по его поступкам. Он немедленно снял телефонную трубку и громовым голосом судьи спросил у матери игуменьи, по какому праву одна из ее сестер сравнила его невинную внучку с этим вырожденком и негодяем Байроном. В понедельник госпожа Баркли, войдя в класс с плотно сжатыми губами, объявила, что она должна исправить допущенную ею ошибку:

— Мэри Маккарти ничем не напоминает лорда Байрона: его блеск и раскованность ей так же чужды, как его пороки.

Беседы между госпожой Макилврой и дедушкой прекратились. На пути этого замечательного союза умов наконец встало непреодолимое препятствие. Однако с этого времени госпожа Баркли начала более явственно высказывать мне свое расположение, а признаки страдания на ее лице начали проступать более отчетливо, и в конце концов кто-то сказал, что у нее рак (предположение, подтверждавшееся желтизной ее кожи), и кто-то добавил, что ее отравила неприязнь к матери игуменьи.

Д. О. Б.



Недалеко от угла Пятнадцатой улицы и Четвертой авеню есть магазин с вывеской «Доб Бернар». На днях, идя к станции метро «Юнион-сквер», я прошла мимо него. К моему

глубокому изумлению, пунцовый румянец вдруг залил мое лицо и шею, и я скорчилась в мучительной судороге стыда, как бывает после перепоя. Я отвела глаза от вывески и поспешила спуститься к поезду, низко наклонив голову, чтобы никто не разглядел мое тайное «я», до этого мгновенья мне самой казавшееся совершенно забытым. Теперь я прохожу мимо этой вывески каждый день и всегда заранее думаю, посмотреть на нее или нет. Обычно я смотрю, но торопливо и исподтишка, с плохо скрытым безразличием, чтобы кто-нибудь не догадался, что это я вишу здесь, распятая на черных буквах рекламы мужского белья.

Больше всего меня поразило, что безвестный торговец с Четырнадцатой улицы использовал в своей вывеске не только таинственное и странное прозвище, данное мне в монастыре, но еще и имя моего небесного покровителя — святого Бернара из Клэрво, которого я выбрала в заступники, страдая от ненавистой клички. Это почти убедило меня, что жизнь состоит из вереницы бегущих по кругу пар или что заботами некоего внимательного, обитающего на небесах аптекаря яд и противоядие всегда вкладываются в один и тот же пакетик. Правда, с моей точки зрения, святой Бернар принес людям гораздо меньше пользы, чем собаки, носящие его имя, если не считать того, что в небесной иерархии он олицетворял интеллектуальное созерцательное начало в противоположность, скажем, святому Мартину Турскому, святому Фрэнсису Ксавье или святому Алоизу из Гонзаги, сохранившему младенческую чистоту и умершему в ранней молодости. Деятельная жизнь всегда претила святому Бернару, хотя время от времени ему приходилось погружаться в ее пучину, но, с другой стороны, его нельзя отнести и к истинным *exalté* *, короче говоря, это был книжник, и я думаю, что в монастыре мой выбор сочли странным для одиннадцатилетней девочки, так как даже монахини, узнав о нем, были слегка удивлены и озабочены, как бывают удивлены и озабочены взрослые, когда ребенок из множества предложенных ему игрушек выбирает какой-нибудь полезный и прозаический предмет.

Слава богу, что я так легко об этом забыла, говорила я себе в тот день, сидя в вагоне метро. В официальной истории моей жизни этот эпизод не значился. Время от времени кто-нибудь спрашивал, было ли у меня прозвище, и я всегда отвечала отрицательно — как ни странно, я не принадлежу к

* Здесь: человек, пылко увлекающийся отвлеченными идеями (*франц.*).

числу людей, которым обычно дают прозвище. Я даже немного удивлялась, почему мне удастся оставаться Мэри или Марией, без привычного завершающего «аминь», и, сожалея об этом, чувствовала себя в чем-то обездоленной, как будто при дележке пирога мне достался кусок, в котором не оказалось сюрприза — даже наперстка старой девы или грошовой монетки скупца. Человек — не что иное, как государство в миниатюре, думала я. Какие только договора и союзы не заключает правящая партия, чтобы поддержать свою неустойчивую власть. Все дозволено. Прошлое искажается в угоду настоящему. Для любого бюрократического строя потеря памяти — это благо. Но после того как режим рушится и все заинтересованные партии умирают, наступает, наконец, момент, когда вскрываются архивы, старые призраки выходят на волю и историю приходится переписывать заново, соглашаясь с только что сделанными открытиями.

То же самое случилось со мной, когда я сидела, застыв на месте, и смотрела на фотографию мисс Метро образца февраля 1943 года, которая любит Нью-Йорк и в часы досуга пишет письма своим двум братьям офицерам, служащим в армии и во флоте. Заскрипели петли, и тяжелые двери памяти распахнулись. Я снова была в монастыре — бледная новенькая девочка, сидящая на одной из первых парт в общей комнате для самостоятельных занятий; рядом со мной хорошенькая, пользующаяся общей любовью восьмиклассница, скукающая в моем обществе и недовольная нашим соседством. Я вижу себя совершенно отчетливо: я честолюбива, мне хочется дружить с самыми привлекательными и влиятельными девочками, но в то же время я наивна и бесхитростна: мне кажется, что добиться этого ничего не стоит — нужно только быть самой собой. Первые неудачи меня пугают. Я оглядываюсь вокруг и вижу, что монастырская жизнь — это пирамида и что я и мои одноклассницы находимся у самого ее основания. Изучив расстановку сил и переплетение интересов, я делаю открытие: главную роль играют две девочки — Элионор Хэнихен и Мэри Хайнрикс, мое счастье зависит от их благосклонности.

В монастыре было много красивых, изящных девушек с ирландскими и немецкими фамилиями, тайком употреблявших косметику, имевших поклонников и находившихся, как казалось, на грани романтического побега. Кроме них, было несколько привлекательных девушек-протестанток, вероисповедание которых делало их еще более привлекательными в на-

ших глазах — монахини говорили нам, что мы должны быть к ним особенно внимательны, так как, не принадлежа к католической церкви, они являются, так сказать, нашими гостями, и мы обращались с ними так же благоговейно, как с французскими куклами. Эти две группы составляли высшее общество монастыря; наши наставницы и мы, ученицы младших классов, восхищались красотой счастливиц, пользовавшихся гораздо более громкой славой, чем несколько серьезных учениц, про которых говорили, что они находятся в монастыре по призванию.

Элионор Хэнихен и Мэри Хайнрикс не принадлежали ни к одной из этих групп. Это были странные девочки четырнадцати-пятнадцати лет, ленивые и развязные, отличавшиеся низкими голосами, очень темным цветом волос и полным безразличием к монастырской жизни. Говорили, что они приехали с востока. Высокая костлявая Элионор Хэнихен носила очки в роговой оправе. Мэри Хайнрикс была ниже ее и гораздо полнее. Их форменные платья из голубой саржи всегда выглядели неопрятно, воротнички и манжеты пришивались наспех и неизменно отдавались в стирку на день позже, чем нужно. Они постоянно нарушали правила: то болтали в комнате для самостоятельных занятий, то хихикали в церкви.

И с такими неблагоприятными данными эти девочки завоевали совершенно исключительное положение. Они были монастырскими клоунами. Как все клоуны, они вступили в хитрую сделку с жизнью, променяв достоинство на власть и заискивая перед сильными, покупали возможность не считаться с равными и более слабыми. Со старшеклассницами они паясничали, преувеличивая свои физические странности, свою лень и эксцентричную манеру речи. С младшими они обходились иначе: мы были для них актерами, школа — зрительным залом, а они сами — высокопоставленными комментаторами из королевской ложи. В этом случае на всеобщее обозрение выставлялись наши слабости, наше тщеславие, наши привычки, и зрелище это казалось им таким комичным, что они почти не владели собой. Вся жизнь этих девочек была перемежающейся лихорадкой смеха. Жесточайший приступ мог разразиться на площадке для игр, за обеденным столом: стоило одной шепнуть что-нибудь на ухо другой, как сейчас же обе они начинали беззвучно трястись от смеха, потом раздавались приглушенные взвизгивания, и дежурная монахиня должна была стучать ладонью по столу, чтобы водворить тишину.

Самым неприятным в этом веселье — особенно для нас,

младших, — был его необъяснимый, почти абстрактный характер. По большей части мы совершенно не представляли себе, над чем смеются Элионор и Мэри. Любые публичные выступления — концерты, школьные спектакли — превращали их в колышущийся студень. Но почему, собственно, скромное, ничем не примечательное исполнение «Веселого крестьянина» казалось им таким неудержимо смешным? На этот вопрос никто не мог ответить, и меньше всего сама исполнительница. Непосредственной жертве этой забавы было особенно тяжело еще потому, что, не зная истинной причины смеха, она не могла отомстить той же монетой и рассмеяться сама. Как я теперь понимаю, отношение этих двух девочек к окружающим определялось их глубокой внутренней общностью. Рассматривая окружающий мир с привилегированных позиций своего особого мира, они не видели вокруг себя ничего, кроме курьезов. Они смеялись над нами как таковыми. Так смеются крестьяне при виде чужаков из другой части страны. Поводы же для смеха — кто-то попросил передать соль, кто-то, готовя уроки, встал и пошел за словарем — были только предлогом: мы все были для них какими-то фантастическими существами. Но тогда это не приходило мне в голову. Их смех был чем-то вроде компаса с обезумевшими стрелками, управлявшими всей жизнью школы. Никто никогда не знал, где остановится дрожащий темный конец, и многие жили в постоянном страхе, что стрелка укажет на их парту и на какое-то время они станут воплощением абсурда и первопричиной этого космического веселья.

Как многие неразлучные друзья, Элионор и Мэри развлекались выдумыванием прозвищ, раздавая их со щедростью господа бога, как будто переименовывание себе подобных было для них новым актом творения, чем-то вроде светского крещения. И подобно тому как после омовения в купели мы становимся уже не только детьми своих родителей, но и детьми бога, новое имя переносило нас из господних владений в мир троллей, управляемый этими двумя непостижимыми божествами. Прозвища давались всем. Чтобы обратить на себя внимание Элионор и Мэри, нужно было обладать каким-нибудь особым качеством, но каким именно — знали только они. Очень скоро я поняла (начало мудрости), что у меня есть две возможности занять в монастыре почетное место: первая — избежать прозвища, вторая — получить прозвище, которое при всей своей нелепости оставалось бы доброжелательным; оно могло быть грубым, но не должно было быть злым. В общем,

я, пожалуй, предпочла бы первый путь, как менее рискованный. Прошло несколько месяцев, и меня по-прежнему не замечали; я немного успокоилась, мое желание, казалось, исполняется.

Они сообщили мне эту новость вечером, когда мы кончили делать уроки. Мы выходили друг за другом из большой общей комнаты для самостоятельных занятий, как вдруг Элионор нарушила строй и подошла ко мне.

— Мы придумали, — сказала она.

— Что? — спросила я спокойно, потому что в глубине души давно уже знала, что во мне есть нечто такое, что неизбежно заставит этих двух странных девочек обратить на меня внимание. Я окаменела в ожидании, чувствуя, как становлюсь чем-то вроде мишени для стрельбы из лука. В том, что они выстрелят, я не сомневалась (в меня было так легко попасть), но — великий боже! — пусть стрела вонзится в одну из больших концентрических окружностей, только — о мать божья! — не в алое и нежное яблочко моего сердца. Я не представляла себе, что меня ожидает.

— Доб, — сказала Элионор и засмеялась, глядя на меня с удивлением, так как я не подхватила ее смеха.

— Что? — переспросила я растерянно.

— Де-о-бе, — сказала Элионор по буквам.

— А что это значит? — спросила я их обеих, потому что к этому времени Мэри тоже подошла к нам. Они качали темноволосыми головами и смеялись.

— Нет, нет, — говорили они, — мы не можем тебе сказать. Но это очень, очень хорошее прозвище. Верно? — Они переглянулись. — Мы считаем, что одно из самых лучших.

Я поняла, что спрашивать бесполезно. Они бы ни за что мне не ответили, и настойчивость только сделала бы меня еще более смешной, еще более похожей на «Доб». Мне пришлось в голову, что, если я ничем не обнаружу своего беспокойства, они скоро забудут о своей выдумке, но они оказались хитрее меня. На следующий день прозвище облетело всю школу. Я слышала его на площадке для игры в бейсбол, его шепотом передавали друг другу за длинным обеденным столом. Оно раздавалось в нашей спальне.

— Что это значит? — долетал до меня вопрос какой-нибудь девочки.

Элионор или Мэри что-то говорили ей на ухо, девочка окидывала меня быстрым взглядом и начинала смеяться. Очевидно, они попали в точку, и, когда я в этом убедилась, лю-

бопытство пересилило во мне страх и обиду. Мне стало безразлично, насколько унижительно это прозвище; я вынесла бы все, что угодно, говорила я себе, если б только знала, что оно значит. Если бы у меня была хоть одна близкая подруга, которая могла бы выведать эту тайну и сказать мне. Но я была новенькой и, наверное, немного странной девочкой, у меня не было близких друзей, и теперь прозвище казалось еще более смешным оттого, что все в школе знали, что оно значит, и знали, что я хочу это знать, но не говорили мне. Мое одиночество, о котором раньше никто не подозревал, стало очевидным для всех и, так сказать, само собой разумеющимся. Ни одна девочка не могла стать моей подругой, не сказав мне, что значит это прозвище, а Элионор и Мэри никому бы этого не простили.

Мне оставалось догадаться самой, и ночами, лежа в постели, я наподобие мельниковой дочки-выскочки из немецкой сказки лихорадочно перебирала всевозможные варианты, будто мне, как и ей, непременно нужно было найти отгадку к какому-то определенному сроку. Нелепые фразы приходили мне в голову: «Достань Одноногого Барана», «Дай Ответ Богу». Или другие, вполне осмысленные и унижительные: «Дура, Отмой Бороду». Однажды ночью я встала, налила в фарфоровую миску воды и в темноте вымыла подбородок; когда я при утреннем свете посмотрела на салфетку, которой терла лицо, она была совершенно чистой. Впрочем, мне и без того казалось, что прозвище должно иметь какой-то более глубокий смысл. Мои недостатки не имели ничего общего с обыденными промахами, которые можно заглазить, например, вымыв подбородок. Очевидно, речь шла о чем-то искони мне присущем и неискоренимом, о каком-то тайном изъяне. И хотя я не могла сказать, в чем именно он состоял, в те ночи я ощущала его почти физически и знала, что он существовал всегда, даже в моей прежней школе, где меня все любили, считали хорошей спортсменкой и хорошей актрисой; он всегда исходил от моего «я», этот особый дух, который не могли уловить обычные сети табелей успеваемости и еженедельных исповедей.

Я поняла, что вопреки своим надеждам никогда не буду принадлежать к избранному монастырскому обществу, ни к кругу красавиц, ни к кругу благовоспитанных девочек с хорошими манерами, чье примерное поведение раз в неделю отмечалось широкими муаровыми лентами голубого, зеленого или розового цвета — в зависимости от возраста, — которые они носили, как патронташ, найскось от плеча к бедру. Я мог-

ла занять место лишь в неряшливом кругу зубрилок, но тогда все мои знакомства ограничились бы несколькими маленькими грязнулями моего собственного возраста, настолько жалкими и презираемыми, что им, конечно, никто не сказал бы, что значит мое прозвище. Но даже они, думала я, счастливее меня, потому что они смирились со своим ничтожным положением. Ни одна старшая девочка не снизошла бы до того, чтобы насмехаться над ними, я же — я ждала слишком многого, жаждала слишком многого, жертвовала слишком многим, и за это меня наказали ненавистной кличкой. Теперь моим единственным желанием было остаться одной, но в монастыре это было трудно, так как монахини считали, что одиночество хорошо для отшельников, а для девочек-подростков вредно. Я проводила много времени в библиотеке, прочла всего Купера и все «Лекции Стоддерда»*. Меня вдруг увлекла религия: я подолгу разговаривала с пылким миссионером-иезуитом, часами благоговейно стояла на коленях перед святым причастием, но кличка преследовала меня даже в церкви: глядя на распятие, я видела буквы J. N. R. J.** — имя, данное в насмешку Христу, сейчас было насмешкой надо мной, потому что я была не настолько уязвимым и самодовольным существом, чтобы не понимать суетности своих страданий, не имеющих ничего общего со страданиями бога. Отгородиться полностью от монастырской жизни я не могла, и, как я ни старалась быть незаметной, проходя по коридору вместе с кучкой своих одноклассниц, старшие девочки замечали меня:

— Привет, Доб!

Оглядываясь сейчас назад, я понимаю, что если бы я расплакалась на глазах у всех, попросила бы пощады, то у моих гонителей появились бы угрызения совести. Какая-нибудь монастырская богиня пожалела бы меня, поговорила деликатно с Элионор и Мэри, и прозвище было бы забыто. Может быть, мне даже объяснили бы, что оно значит. Но я не плакала, даже когда оставалась одна в своей комнате. Я выбрала гораздо более постыдный путь. Я приняла прозвище, превратив его в шутку, и развязно пользовалась им сама, когда звонила во время каникул подругам, чтобы позвать их в кино:

— Это Доб говорит.

Одновременно я строила планы бегства из монастыря и

* Серия книг Дж. Л. Стоддерда (1850—1931), посвященная описанию его многочисленных путешествий.

** Первые буквы латинской надписи Jesus Nazarenus Rex Judaeorum (Иисус из Назарета, Царь Иудейский), сделанной, по преданию, на кресте, на котором распяли Христа; впоследствии обычно воспроизводились на распятии.

писала домой, пытаюсь добиться их осуществления. Я решила, что, выйдя из этих стен, я больше никогда, никогда, никому не открою свою душу. Я чувствовала, что в этом была моя главная ошибка.

Прощаясь со мной, мать игуменья плакала.

— Я думаю, — сказала она, — что ты станешь писательницей, когда вырастешь большой, и это будет замечательно, но я хотела бы, чтобы ты не забывала о том, чему тебя научили здесь, в монастыре.

Я была тронута и взволнована значительностью этой минуты, ее предсказанием и высказанной на прощанье просьбой.

— Хорошо, — сказала я сквозь слезы, намереваясь забыть о монастыре в первые же сутки. И это мне вполне удалось.

Некоторое время прозвище еще оставалось со мной в новой школе, куда я поступила. Одна девочка как-то сказала мне:

— Я слышала, тебя звали Доб?

— Да, — спокойно ответила я.

— Как это пишется? — спросила она.

— Де-о-пе, — ответила я.

— Очень смешно.

— Да, — согласилась я. — Совершенно не представляю себе, что это значит.

В таком варианте мое прозвище просуществовало еще недели три. Потом я перестала поддерживать отношения с девочками, которые меня так называли, и больше никогда его не слышала.

И вот сейчас этот вопрос возник снова. Что означают буквы Д—О—Б? Вчера на углу Пятнадцатой улицы и Четвертой авеню я вдруг прозрела. «Длинноногая Образованная Букашка», — сказала я вслух. Слова явились сами собой, без всякого усилия с моей стороны, и в то же мгновение я почувствовала облегчение — ту спокойную уверенность в одержанной победе, которая возникает у человека, очнувшегося от ночного кошмара. Значит, я угадала? Неужели все так просто? Неужели Элионор и Мэри ничего позорного во мне не обнаружили, а просто сделали мне странный комплимент, в котором не было ничего обидного? Я рассмеялась от всего сердца, как смеешься, избавившись, наконец, от мучительной тревоги, и, не в силах остановиться, повторяла: ах, какая же я была глупая!

Теперь можно оглянуться назад, думала я, ликуя, избавившись от всех сомнений, как сбежавший банковский кассир, долгие годы хранивший свою душу в нераспакованных чемоданах в ожидании, когда дело против него будет прекращено и он сможет вернуться в родной город. Комната, где мы готовили уроки, встала у меня перед глазами, с моей любимой монахиней на возвышении и красивыми девушками, сидящими на своих обычных местах. Мое сердце рванулось им навстречу, готовое заключить их в объятия.

Но я опоздала. Элионор Хэнихен умерла, моя любимая монахиня перешла в другой монастырь, красивые девушки вышли замуж; время от времени я встречаюсь с ними, но их дружба меня больше не привлекает. Что же касается бледной, некрасивой девочки на одной из первых парт, то она тоже стала для меня недосыгаемой. Я вижу, как она крадется по коридору, окруженная маленькой кучкой своих одноклассниц.

— Привет, Доб! — говорю я, слегка презирая ее за неопытность, за неумение скрыть свои честолюбивые стремления.

Я с удовольствием сунула бы ей за воротник ужа или пришила простыню к пододеяльнику, но, к сожалению, монастырский устав запрещает подобные жестокости. Я ненавижу ее, потому что она моя жертва, потому что это я дала ей постыдное загадочное имя и сколько бы бессонных ночей она ни провела в своей кровати, ей все равно не удастся разгадать, что оно значит.

СОРНЯКИ



Она решила, что уедет, как только расцветут петунии. С глубоким облегчением она положила лопатку и остановилась передохнуть. Вокруг лежала коричневая земля бывшего огорода — чуть кривобокий прямоугольник, расчерченный аккуратными, но неровными рядами цветочной рассады, похожий издали на письмо, написанное ребенком, потерявшим линейку. Жаль, что она не сделала, как советовали в книге, и не наметила ряды с помощью колышков и веревки, подумала она. В будущем году... Ее сердце сжалось от ужаса, когда она поняла, куда направились ее мысли. Опять то же самое.

Само собой разумеется, что в будущем году ее здесь не будет. Она твердила это себе уже пять недель и все никак не могла привыкнуть. Предоставленный самому себе, ее праздный ум неторопливо и беззаботно тянулся к какому-нибудь замыслу, как беспечная рука Персефоны тянулась когда-то к зернышкам граната.

Ей вспомнились все прежние случаи, когда она собиралась его оставить. И как ей всегда что-нибудь мешало: приглашение в гости на ближайшую субботу, от которого ей не хотелось отказаться, созревший виноград, из которого нужно было приготовить сок, новый диван для гостиной, который на следующей неделе должны были доставить от Мейси, мастер, который должен был прийти, чтобы исправить кипятильник. А к тому времени, когда диван прибывал, мастер уходил и сок был приготовлен, ее гнев стихал или, во всяком случае, терял свою остроту, и ей оставалось только снова и снова вертеть в руке обкатанный камень недовольства.

Но сейчас все было решено, все проблемы, мучившие ее с апреля, с того самого утра, когда она пошла сажать душистый горошек вместо того, чтобы идти упаковывать свой чемодан, как, конечно, следовало поступить после той гадости, которую он сказал. Сейчас она действительно установила дату своего отъезда, отметив ее в настоящем календаре, а не только в календаре своего сердца, числившем годы, как дни, и неизменно говорившем, что осталось самое большее несколько недель до той минуты, когда она снова будет с друзьями — вернувшаяся путешественница со свежим ломтиком жизни на ладони и множеством нерассказанных историй. Она уговаривала себя с апреля; вскапывая, поливая и пропалывая, она пыталась представить себе цветы, которые вырастут здесь в августе, в то время как она сама будет где-то далеко, в Нью-Йорке, в душной мебелированной комнате. Чем-то это было похоже на попытку представить собственную смерть, но иногда, обычно утром, ей это почти удавалось; тогда она откладывала работу и с изумлением говорила себе: кажется, я могла бы уехать завтра, меня здесь ничто не удерживает. И всегда она забывала о петуниях, которые росли дома в специальных корзинах и поэтому не попадались ей на глаза. Внезапно они вторгались в ее сознание: белые оборки с желтыми горлышками, посаженные квадратами, чередующимися с квадратами черно-красных цинний и прозрачно-голубых скабиоз, казавшихся рядом с ними театральным задником, изображающим небо; любовь и отчаянье сжимали ей сердце, когда она понимала,

что не может оставить их — пока они жили, она была их рабой.

Но признаться в этом — значило потерять над собой власть. Напоминая о времени и временах года, сад твердил ей, что надо торопиться, что надо уезжать сейчас же, пока не поздно, пока новый оборот колеса опять, в который раз не заставит ее отправиться в неторопливое странствие от рождения к размножению и смерти. Теперь впервые она начала считать недели. Ее лихорадило от постоянного ожидания перемен; она легко обижалась, все доводила до крайности и мысленно десять раз в день отказывалась от своих друзей, своего дома и своего фарфора. Дикие мысли приходили ей в голову: может быть, убить петунии? «Петунии особенно часто гибнут от мильдю. Поливайте осторожно», — предупреждала книга по садоводству. Временами она смотрела на кувшин воды со льдом, стоявший на обеденном столе, как наследник смотрит на пузырек со снотворным, стоящий у изголовья престарелого родственника. Но у нее никогда не хватало решимости; чудовищное искушение проходило, и она в ознобе выскальзывала из дома, стараясь не шуметь, чтобы муж не задержал ее под каким-нибудь предлогом (он считал, что она слишком много работает, жаловался, что никогда ее не видит и что у нее испортился характер); она брала совок, садовую вилку, ручной культиватор и, скрывшись за оградой, построенной для защиты от кроликов и сурков, снова принималась за свой покаянный труд, снова вступала в безнадежную, отчаянную схватку с садом.

— Зачем ты с ним возишься, если это не доставляет тебе удовольствия? спрашивал ее муж. — Не притворяйся, пожалуйста, что ты делаешь это для меня.

Она не знала, что ему ответить, и только раз вспыхнула:

— Ты ненавидишь его, потому что он мой. Ты был бы рад, если бы здесь все погибло.

Но она действительно не знала, зачем ей нужен сад. Разве что в ее работе было что-то направленное против мужа. Как будто своей исключительной, непомерной преданностью она хотела вознаградить эти растения за его ревнивую враждебность, за то, что он не упускал ни одного случая, когда можно было, сославшись на неотложное дело, на приступ нежности, на что угодно, удержать ее дома. Иногда ей казалось, что она остается только ради того, чтобы охранять и защищать свои цветы, потому что, вызвав их к жизни, она чувство-

вала себя их матерью. В других случаях все было проще и грубее. Она не доставит ему этой радости, ожесточенно твердила она, радости, которую он испытал бы, увидев, что она потеряла все свое достояние, накопленное трудом и любовью, вложенными в эту богатую, но трудную землю. Она сделала ошибку, она знала это; владелец оранжереи предупреждал ее:

— Вы откусили больше, чем сможете проглотить.

Теперь она иногда останавливалась, чтобы взглянуть на сорняки, колыхавшиеся на легком весеннем ветру и теснившиеся у ограды ее сада, где они росли еще выше, еще гуще и пышнее, чем на поле. Как будто поле было враждебным морским простором, который с угрожающим спокойствием колебался и вздымался где-то в отдалении и с мстительной яростью обрушивался на ее прямоугольный остров всей мощью последней зеленой волны, доходившей до груди человека. В такие минуты ей становилось страшно, она вздрагивала и вновь принималась за работу, зная, что, если она упустит хоть минуту, эти влажные густые заросли захлестнут и поглотят без остатка ее самое, дело ее рук и инструменты, которыми она работала. Ей всегда казалось, что муж заодно с сорняками — с таким удовольствием он тысячу раз повторял, что с точки зрения ботаники между цветами и сорняками нет никакой разницы. Когда по утрам после короткого периода дождей она торопливо шла в сад и видела, что двухдневные побеги дикой горчицы превратили ее коричневый участок в зеленый, она была почти готова поверить в его победу; горькие упрямые слезы стояли у нее в глазах, пока она цапкой очищала землю.

Она еще помнила время, когда все было иначе, когда цветы, посаженные вдоль садовой изгороди, радовали глаз чистыми красками: розовой, алой, лимонно-желтой и васильковой, а ее муж стоял рядом и восхищенно говорил:

— Ты прирожденный садовод, родная.

Тогда она без огорчения откладывала в сторону садовые инструменты, чтобы поболтать с кем-нибудь из знакомых, отправиться на пикник, сделать указание прислуге; тогда бывали летние вечера, когда он сидел на скамейке и что-нибудь пил, а шланг в ее руках мягко покачивался над цветочными клумбами, и время от времени она прерывала поливку, чтобы взять у него стакан и сделать несколько глотков.

Позже, стоя на коленях в саду, она пыталась понять, когда наступила перемена. Когда она отказалась поехать с ним в город из-за того, что некому было поливать цветы? Когда он

купил собаку, которая подрыла луковицы тюльпанов? Нет, нет, думала она. Это было неизбежно с самого начала; сад должен был стать мукой, подобно тому как цветок должен превратиться в свою первооснову — безжизненную анилиновую краску, потому что все на свете обращается в самое себя, и брак, родившийся из одиночества и отчаянья, не может принести ничего, кроме одиночества и отчаянья. Если я для утешения завожу сад, ты заводешь собаку, и твоя собака разрушает мой сад, и так оно и идет одно за другим, пока все, что было добром, не станет злом и в жизни не останется ни одного уголка, не отравленного ненавистью. Тогда уже ни к чему вести счет обидам (ее фотография, разорванная пополам и выброшенная в помойное ведро), потому что обижаться можно, только если нарушен какой-нибудь человеческий договор, а они уже миновали стадию договоров, и стадию репараций, и стадию прощения; любое упоминание о любви, нравственном долге и общественном мнении было бессмысленным — в каждой воюющей стране священники молятся о победе.

До вчерашнего дня она не представляла себе, как далеко все это зашло. Она повторяла про себя названия цветов: травяное дерево, черный рубин, лунник, скорбящая невеста («Да, — прошептала она, — это я, это я»), метель, чистотел и последнее, написанное на пакетице, который продавец дал ей бесплатно, — упокойник.

— Боже милостивый, — воскликнула она, — можно подумать, что я выращиваю цветы для могилы! Неужели я желаю ему смерти?

И в то же время образ молодой вдовы — ее самой — возник у нее в воображении с такой отчетливостью, как будто ей показывали картинки с помощью старого волшебного фонаря. Она видела себя, бледную и красивую, в черном платье, и свою близкую подругу, которой она шептала покаянные фразы («Это правда, мы не ладили, но я, конечно, не желала ему этого. Сейчас мне так хочется попросить у него прощение за все, что было. Если бы он знал, что я его любила, несмотря ни на что»). Да, думала она, если бы он умер, я бы искренно его любила, и все было бы гораздо проще. Ей не пришлось бы ни от чего отказываться: ни от спудовских салатных тарелок, ни от сада, ни от полосатых обоев в гостиной. Ей не пришлось бы решать, брать ли с собой сковородку (это была ее собственность). Все вещи, с которыми она уже почти решила расстаться, все, что она уже считала потерянным, вернулось бы к ней снова. И она осталась бы среди них одна,

распожжалась бы ими по своему усмотрению, и никто не мешал бы ей и не говорил: «Почему у нас сегодня и суп и салат? Ты тратишь слишком много денег».

Как странно, думала она, ведь дело вовсе не в деньгах. Умерев, он не оставил бы ей ничего; коммиссионные автоматически прекратились бы, и страховой премии она тоже не получила бы. Единственное, что ей могла дать его смерть, — это избавление от необходимости принять решение. Сколько женщин, подумала она, отравили своих мужей вовсе не ради выгоды и не ради другого мужчины, а просто из-за того, что не могли решиться их оставить. Крайняя мера всегда самая простая. Ядохимикаты попадают в суп, а муж в могилу. Жена сожалеет, но уже поздно; от нее больше ничего не зависит. Убийство гуманнее, чем развод; викторианцы и тут были мудрее нас.

Мне в самом деле лучше уехать, если у меня появляются такие мысли, сказала она себе. И ужасное предчувствие кольнуло ее сердце, сначала слегка, как прикосновение хлыста к шкуре лошади, когда наездник — женщина. Что, если я войду сейчас в дом и найду его мертвым за рабочим столом с разбросанными перед ним синьками? Она увидела, будто вторым зрением, как она будет мучиться от угрызений совести, и поняла, что этого ей не вынести. На мгновение она застыла от ужаса. Совершенно ясно, что надо пойти и посмотреть, но она не могла шевельнуться. Успокойся, уговаривала она себя, если он умер, прислуга рано или поздно придет и скажет. Незачем туда ходить. Можно подождать здесь. Но ничего не помогало. Теперь она была уверена, что он умер: оставалась одна последняя надежда. Если ей удастся быстро добежать домой... Она уже бежала по подъездной дорожке. Перед его окном она остановилась. Оно было слишком высоким, чтобы она могла заглянуть внутрь. Вот видишь, сказала она себе, почти радуясь, что столкнулась с этим препятствием, ничего нельзя сделать. Но она нашла выход. Сбрав все силы, она подтащила к окну ящик из-под апельсинов и, взобравшись на крышку, заглянула в окно. Он был в комнате, за своим столом, недвижим; она не могла понять, дышит он или нет. Впервые она взглянула на него со стороны: мужчина в коричневом костюме, склонившийся над бумагами, похожий на картину, нарисованную художником и забытую там, за столом, картину незнакомую, без предыстории и все-таки удивительно правдоподобную. Он шевельнулся и снова стал человеком. Она знала его, он ей не нравился; все в порядке, он

был жив. Она глубоко вздохнула и торопливо соскользнула вниз, чтобы он не обернулся и не увидел ее. Все остальное время, проведенное в саду, она иступленно поздравляла себя, как человек, избежавший страшной опасности, настоящей или выдуманной. Но когда он в пять часов вышел из дому и испугал ее, бесшумно приблизившись, чтобы позвать обедать, у нее вырвался долгий, пронзительный, отчаянный крик, который, казалось, висел в воздухе много времени спустя после ее ухода. Будто он застал ее с руками, обогранными кровью.

Утром крик все еще оставался здесь, в саду. После вчерашнего дня отсрочка стала опасной. Разрыв был неотвратим. Та половина ее «я», которая консервировала фрукты, разбивала на склоне ровные площадки и запасала на зиму растительное масло, должна была, наконец, прийти к соглашению с другой половиной, знавшей наизусть расписание поездов и спрятавшей десятидолларовую бумажку в коробку с драгоценностями. Ей нужно было прорубить дорогу сквозь чащу взваленных на себя обязанностей, а то, что выбранный путь мог оказаться не самым легким, это, в конце концов, не имело значения. Если она не в силах отказаться от петуний, значит надо уехать, когда они расцветут. Главное — не строить планов, которые могли бы задержать ее дома после первого августа. Решительным жестом она подняла совок и вонзила его рядом с несколькими глянцевыми стрелками чужой. Осторожно надавливая на землю, она вытащила одно растение и с удовлетворением увидела орешек, раскачивающийся на длинном корне. Когда имеешь дело с чужой, главное — вытащить орешки, иначе все труды пропадут даром — за неделю она вырастет снова. О мотыге не может быть и речи. Нужен совок или садовая вилка с длинными плоскими изогнутыми зубцами.

— Почему ты все это не бросишь? — безучастно спрашивал муж, когда она указывала ему на тысячи зеленых стрелок, торчащих из земли, которую она только что обработала.

— Ах, отстань, — отвечала она.

Хотя часто это действительно было самым сильным ее желанием — все бросить, лечь в кровать и никогда больше не заставлять себя что-нибудь делать; спать, есть в постели и жить, как живут сорняки, молча существуя за счет кого-то другого. Но цветы постоянно добивались своего; стоило ей представить себе несколько умирающих космосов, раскачивающихся маленькими головками среди высокой травы, как она чувствовала, что у нее сжимается сердце, будто это его опле-

ли сильные враждебные коричневые корни. Что ж, думала она теперь, в будущем году все изменится. В будущем году природа все равно распорядится здесь по-своему. Еще слава богу, что я не посадила многолетников.

Остальную часть утра она с радостью работала. Услышав голос прислуги, зовущей ее к обеду, она послушно встала. Идя по узкой дорожке, она заметила, что дикие ландыши вот-вот зацветут. Около веранды было тенистое место, куда она вполне могла их пересадить. Если внести удобрения и хорошо обработать почву, на будущий год цветы станут вдвое крупнее. Комок земли с несколькими растениями оказался у нее в руках, прежде чем она поняла, что делает.

— Боже мой, боже мой, — прошептала она и опустила ландыши в ямку, вырытую ее совком. Она разровняла вокруг них землю и утоптала ее ногой. Еще немного, и она бы попалась, биение сердца отчетливо говорило ей, что лучше больше не рисковать. Ее владения стали для нее ловушкой, она ходила по краю пропасти — теперь уже нельзя было терять ни минуты.

В гостинице она сняла телефонную трубку, едва коридорный успел закрыть за собой дверь. У нее не было никаких планов. Ее воображение, трудившееся (сколько дней?) тайком от всех, донесло ее только до этой минуты: будущее представлялось ей в виде руки в еще не снятой перчатке, протянутой к гостиничному телефону. Первые пять звонков оказались безрезультатными. Этой возможности она не предвидела. Во всех ее расчетах сомнительным элементом была она, долгожданная, где-то задержавшаяся родственница, чей приезд домой ожидается с часу на час, она, любимая сестра, в чьей комнате не тронули ни одной безделушки; и за время, прожитое с мужем, в ее сознании прочно укоренилась мысль: друзья ждут ее и не могут понять, почему она так долго не возвращается. Сейчас после пятой попытки она резким движением положила трубку, чтобы прервать сверливший уши надоедливый звук, раздававшийся в ответ на ее никем не услышанный звонок. Чтобы отвлечься, она приняла ванну, утешая себя, что еще слишком рано, что летом многих нет в городе, что ее звонков никто не мог ожидать, и так далее. Но, выйдя из ванны, она все-таки не знала, как одеться, потому что одновременно и рассчитывала и не рассчитывала на приглашение к ужину. В шестой раз она дозвонилась. Как мило, что

она в городе, сказала подруга, не придет ли она в четверг пообедать. До четверга оставалось четыре дня, и она приняла приглашение, пробормотав несколько неопределенных слов. Оказалось, что ее поразительную новость невозможно сообщить. Для этого просто не представлялось случая, и вместе с тем она почти физически ощущала, как слова теснятся у нее во рту и чуть ли не давят на ее язык. Она торопливо повесила трубку, чтобы на другом конце провода не догадались о ее разочаровании. Позвонив в седьмой раз, она узнала, что та, кому она звонила, уехала в Коннектикут; в ответ на восьмой звонок она получила приглашение к обеду на завтра. Она понимала, что поступает неблагоразумно, умалчивая о своих делах; ей нужна была помощь, работа, поддержка, деньги, но она не могла проникнуть сквозь вставший на ее пути частокол условностей, исключавший подлинную близость. Она почувствовала, что за эти пять лет стала гостьей, бывшей подругой, живущей за городом и остановившейся на несколько дней в отеле «Билтмор»; в ее отсутствие цепь сомкнулась, руки, когда-то сжимавшие ее руки, теперь не расцепятся, чтобы вновь принять ее в круг. Они забыли ее, вернее, забыли ее прежнее «я», оставшееся неизменным только в ее собственной памяти; время стояло на месте для нее одной.

Она отошла от телефона и неохотно начала одеваться. Спустя полчаса в ресторане гостиницы она заметила, что ее разглядывает какой-то мужчина, и, хотя она сидела, не поднимая головы от тарелки, в душе она колебалась, и у нее даже мелькнула мысль, не окажется ли незнакомец... Однако благоразумие подсказало ей, что удовольствие быть выслушанной может обойтись ей слишком дорого. Я должна быть сильной, сказала она себе и расплатилась за обед, но, хотя эта маленькая победа немного ее подбодрила, она все еще была потрясена пробудившейся в ней потребностью в сочувствии, чуть было не заставившей ее поддаться столь банальному искушению. Вернувшись в номер и перелистав все захваченные с собой журналы, она взяла лежавшую в номере библию и упрямо читала «Книгу царств», пока не заснула.

Когда она открыла глаза, было еще слишком рано, чтобы звонить кому-нибудь в контору. Она позавтракала и просмотрела в газете объявления о найме. Ничего подходящего для нее не оказалось. К десяти часам она почувствовала такую растерянность и апатию, что не могла заставить себя снять телефонную трубку, чтобы попросить кого-нибудь из знакомых помочь ей найти работу. Она знала, что ее ждет неизбежный

вопрос, неминуемое «почему», приправленное сочувствием и любопытством; это было ей не по силам. Лучше, внезапно решила она, пойти в какое-нибудь агентство, где не нужны никакие личные объяснения. Через десять минут она была на Рокфеллер-плаза, готовая тут же перечислить все, что она умеет делать. Но сад Победы с рядами молодых тополей напомнил ей о ее собственном саде, как будто это был грех, в котором она забыла признаться на исповеди. Боже мой, боже мой, подумала она, на что я гожусь? Кто меня возьмет? И ей показалось, что она ушла недостаточно далеко, что нужно полностью отказаться от самой себя. У нее появилась блестящая мысль: она наймется кухаркой. Она представила себе, как живет в комнате для прислуги на третьем этаже одного из домов Пэлхема и никто не знает, кто она на самом деле, она видела кровать с тонким одеялом, бугристый матрас, ванную, которую она делит с ребенком, или туалетную комнату в подвале. Все отвратительные атрибуты домашнего рабства предстали перед ней в романтическом ореоле — она откажется от себя и спасется. Если сейчас же пойти на Четырнадцатую улицу, купить дешевое платье и туфли, к вечеру она уже будет устроена. Свою собственную одежду она оставит в номере гостиницы, и, когда он за ней придет, его встретят лишь изделия Бонуита Теллера, Марка Кросса, шляпы от Джона-Фредерика и благоухания Скьяпарелли. Мысленно она уже выбирала туфли для своей новой жизни (лакированные с бантиками, их можно надеть и в выходной день, или черные на низком каблуке практичнее?). Но что-то внутри нее — совесть или здравый смысл — подсказало ей, что ничего у нее не выйдет. Это была детская мечта о мести (посмотри, до чего ты меня довел). Она с огорчением отказалась от своей затеи.

Но ведь надо же все-таки что-то делать, говорила она себе, завтра я останусь без денег. У нее в сумочке лежало несколько дорогих безделушек, доставшихся ей по наследству от матери. Она подумала, что, наверное, пора их продать; хорошо пообедав, с деньгами в кармане, ей будет легче обращаться в конторы по найму. Решительным шагом она направилась к Пятьдесят девятой улице, чувствуя, что ее снова подхватила волна ликования, которая принесла ее в город. Она снова была свободна, пусть только на несколько часов: все решения отложены, обязанности забыты. Магазин, скупающий старое золото и брильянты, куда она только что вошла, был, казалось, конечным пунктом ее бегства — положив драгоценности на прилавок, она освободилась от своего последнего достоя-

ния, оценщик отсчитал сто долларов, и ей больше нечего было терять. Она засунула деньги в бумажник и поспешила вернуться в гостиницу.

Но вместе с ключом портье передал ей записку, извещавшую, что приглашение переносится на другой день и что ее просят позвонить еще раз. Приподнятое настроение мгновенно улетучилось. Впереди был пустой день. Она тут же вышла на улицу, нашла закусочную и позавтракала. Потом она пошла в кино и, вернувшись в номер, вместо того, чтобы кому-нибудь позвонить, легла в постель и читала Евангелие от Матфея, пока не почувствовала, что уже достаточно поздно и можно спать. Она не обедала. Третий день прошел почти так же: снова кино и вечером библия.

На четвертый день утром ее разбудил телефонный звонок, и она сразу поняла, что это он.

— Вот видишь, я тебя нашел, — сказал он.

— Нашел, — согласилась она, — это было не очень трудно.

— Не очень, — коротко отозвался он. — Может быть, ты спустишься и позавтракаешь со мной?

— Нет.

— Ну и убирайся к черту! — крикнул он и повесил трубку.

Он позвонил снова в тот же вечер, он был пьян, и на этот раз разговор прервала она. Со дня приезда она не видела ни одного знакомого лица. После первого вечера она не ела ничего, кроме булок с котлетами и бутербродов, проглоченных у аптечных прилавков. Взгляд, брошенный в ее сторону, причинял ей боль, метрдотель и дежурный администратор внушали ей страх — она выходила из гостиницы, не оставляя ключа. Она чувствовала себя выставленной на всеобщее обозрение и в то же время совершенно заброшенной.

Она зашла в одну-единственную контору по найму и заполнила анкету. Выйдя на улицу, она вспомнила, что не написала о своей прежней работе, но не могла заставить себя вернуться. Она пряталась и ждала его и одновременно кого-то другого, друга или постороннего, который придет ей на помощь, услышав ее невысказанный призыв. Она жила в состоянии странной настороженности, как будто дала объявление в газету настолько расплывчатого содержания, что разве только господь бог мог бы на него откликнуться, а письмо, написанное обычными в гостиницах фиолетовыми чернилами, которое она каждый день боялась найти у себя под дверью,

должно было заключать в себе нечто не имеющее никакого отношения к повседневной жизни.

Но это ожидание, эта бессмысленная, ни на чем не основанная надежда сделали ее за эти несколько дней странно безвольной и погрузили в состояние покорного отчаяния. Она знала, что ей обязательно нужно что-то предпринять, что деньги кончатся и ее выставят из гостиницы. И в то же время она ждала этой катастрофы как освобождения; бухгалтер, ведающий расчетами с проживающими, мог оказаться Спасителем, ибо Спаситель, как учит нас святое писание, является иногда в самом неожиданном обличье. Ей казалось, что теперь все зависит от случая: уведомление о выселении могло вызвать кристаллизацию раствора, в котором во взвешенном состоянии находилось ее будущее — сама она была бессильна. Сейчас даже ее бегство казалось ей актом величайшего мужества; она не могла представить себе, как у нее хватило духа совершить подобный поступок. И в самом деле, если бы она могла предвидеть, что из этого получится, говорила она себе, она бы никогда не решилась на последний отчаянный шаг, она держала бы его про запас как угрозу и обещание и после тридцати лет замужества умерла бы, раздумывая, насколько иной могла оказаться ее жизнь, если бы она его оставила. Какая глупость, плача, говорила она, какое безумие! Она сменила застенки деспота на застенки собственного «я», и в этой тюрьме нельзя было даже мечтать о бегстве. В четверг в шесть часов вечера она все еще не решила, какое платье надеть к обеду: длинное или короткое. Она положила оба платья на кровать, но спор между ними был неразрешим, и в половине седьмого она вышла из гостиницы и ходила по улицам, пока не нашла почту, откуда отправила своей подруге телеграмму с извинениями, прекрасно понимая, что прерывает последнюю связь с миром, со своим прошлым и будущим.

Но когда на шестой день утром она не услышала его звонка, слабая надежда чуть всколыхнула ее сознание, будто повеяло морским ветром в августовский день. Если он от нее отказался и уехал из города, быть может, не все еще потеряно. Она чувствовала, как тает ее решимость в эти долгие утренние часы, проведенные в номере. Она не сомневалась, что теперь уже не сможет устоять перед ним: если он прикажет, она подчинится. Потеряв веру в себя, она проиграла затеянную с ним тяжбу. И все-таки она знала, что, если он ее оставит, она не погибнет, просто потому, что физически она продол-

жала существовать, и потому, что у нее был некий запас пассивной стойкости. Рано или поздно она начала бы выходить, звонить по телефону, она получила бы работу, и постепенно силами обстоятельств вокруг нее сплелась бы новая сеть, как возникает новая ткань вокруг раны, даже если к пострадавшему не вызвали хирурга, чтобы наложить необходимые швы.

На шестой день, когда утро прошло, а телефон так и не зазвонил, она воспрянула духом и почувствовала, что к ней вернулась почти забытая веселость. Он наверняка уехал, решила она, и теперь мне действительно будет трудно, но, может быть, в конце концов это окажется даже интересно. Ощущение, что за ней следят, исчезло, она быстро надела свое лучшее белое платье, черные туфли и большую черную шляпу с широкими полями. Летом в городе лучше всего выглядит белое с черным, уверенно говорила она себе. Было три часа дня, она еще ничего не ела, но пустота в желудке только придавала остроту приятному чувству легкости и отваги. Она с удовольствием прислушивалась к жизнерадостному постукиванию своих каблучков по каменному полу около лифта, сумочка изящно раскачивалась на ее обнаженной загорелой руке. Нажимая кнопку, она впервые точно знала, куда собирается пойти — к старому другу, занимающему важный пост в рекламном бюро, она даже знала, что все будет хорошо, что, сделав ей два-три комплимента, он пригласит ее в какое-нибудь уютное кафе выпить коктейль, и там после второго бокала представится удобный случай, и она скажет ему — совершенно просто и естественно, что рассталась с мужем. Когда он осторожно спросит о причине, единственное, что от нее потребуется, — это найти подходящую формулировку, чтобы, с одной стороны, не показаться озлобленной, а с другой — чересчур смиренной, и преподнести правду в столь удобоваримой оболочке, чтобы собеседник смог проглотить ее без видимого неудовольствия. Пока лифт шел вниз, сама собой составила нужная фраза («Я бы давным-давно с ним рассталась, если бы не эти проклятые петунии»). Ей удалось взять правильный тон, она сразу это почувствовала, представляя себе, какие перемены вызовет эта фраза в лице ее друга, который сначала ей не поверит, потом все-таки поверит и в конце концов рассмеется. В ее мозгу возникла целая вереница подобных фраз, начавших свою самостоятельную жизнь. («Но ты говоришь, что рассталась с ним пять дней назад, что же ты делала все это время?» — «Лежала в номере гостиницы и читала валявшуюся там библию».) Она улыбнулась, чувствуя

себя в родной стихии. Она вернулась в порт, из которого пять лет назад начала свое плавание, вернулась к привычному с детства языку, в котором шутки прикрывают правду, но не отрицают ее.

Дверцы лифта распахнулись, и она увидела, что в вестибюле сидит ее муж.

Двумя днями позже он отпер дверь дома и слегка подтолкнул ее вперед, как будто привел собаку или сбежавшую уроков школьницу. Ей показалось, что за неделю дом постарел и обветшал. Она остановилась в дверях гостиной, обводя комнату взглядом постороннего наблюдателя. Ей бросились в глаза облезшая краска на оконных рамах, заплатка на стене с плохо подогнанным узором обоев, голубое кресло из другого гарнитура, пятно, появившееся на спинке дивана в том месте, где она обычно прислонялась к нему головой. Два неопрятных букета таволги стояли на мраморной доске кофейного столика, сделанного из большого старого стола; она поняла, что это прислуга говорит ей на языке цветов: «Добро пожаловать». Обычно, когда с ней случалось что-либо подобное, когда комната или лицо возлюбленного не совпадали с представлением, которое хранила ее память, она слегка прикрывала глаза, как делала, глядя на себя в зеркало, и щурилась до тех пор, пока не смещался фокус и очертания не становились расплывчатыми, тогда мгновенным усилием воображения она даровала тому, на что смотрела, какое-нибудь украшение — вазу с цветами, стеклянную папиросницу, иронический взгляд или улыбку, — и через несколько секунд все вставало на свое место; лицо или комната послушно менялись, и ее глаза, теперь уже широко открытые, могли смотреть на них с любовью. Однако на этот раз ничего не получилось; она по привычке прищурилась, контуры предметов стали менее отчетливыми, но все осталось без перемен.

— Вот видишь, — сказал муж довольно сердечно, своим обычным деловым тоном, — здесь ничего не изменилось.

Его замечание пришлось настолько кстати, что она сделала роковую супружескую ошибку, заговорив с ним, как с близким человеком.

— Правда? — спросила она. — В самом деле? Комната кажется мне такой темной. Как будто во все цвета кто-то

подмешал черной краски. Может быть, прислуга переменила лампочки?

— Не говори глупостей, — сказал он, слегка подталкивая ее к лестнице. — Зачем ей это делать? Давай сразу пообедим, — добавил он и опять слегка подтолкнул ее, как будто боялся, что у нее вдруг появится какое-нибудь странное желание, противоречащее его намерениям.

Она подчинилась не раздумывая, как подчинялась все время, с тех пор как встретила его в вестибюле гостиницы. Ее поражение казалось ей постыдным и окончательным. Но, к счастью, она больше ничего не чувствовала: ни потребности взбунтоваться, ни обиды — чиновники завоеванной страны спокойно сотрудничают с завоевателями, и подпольное движение спит.

Единственное, что ее беспокоило весь вечер, — это ощущение, что что-то случилось со светом. Сидя за столом напротив мужа, она с трудом различала его лицо, хотя в столовой, как всегда, горело двенадцать свечей. Наконец, не выдержав, она извинилась, встала и включила электричество. Но от этого не стало лучше, теперь лицо мужа казалось ей неестественно белым. Вкус пищи тоже как будто изменился. Муж ел с явным удовольствием, а она не могла отделаться от мысли, что что-то сделано не так — может быть, прислуга забыла налить херес в тушеное мясо.

— Ты устала, — предусмотрительно сказал муж, и она с благодарностью приняла это объяснение.

И все-таки, когда они поели, она не удержалась и обошла все лампы, чтобы посмотреть, нет ли на них пыли. Но ее палец остался чистым.

Утром она снова заметила, что у нее что-то случилось со зрением. Проснувшись, она задержала взгляд на оконной занавеске: перед отъездом в Нью-Йорк занавеска была белой, сейчас она отчетливо видела, что занавеска кремовая. Немного испуганная, она закрыла глаза и, спасаясь бегством, заснула. Ее разбудило негромкое позвякивание стеклянной сырницы, призывавшее к ленчу и мгновенно пробудившее в ней уверенность, что случилось несчастье. Что-то было не так, что-то, о чем она забыла, что-то более важное, чем неприятности со светом или то, что она снова лежала в постели мужа. Но память отказывалась ей помочь, пока в их обычном утреннем разговоре не наступила пауза и, взглянув случайно на окно, она не увидела на подоконнике ящики

мертвыми петуниями. Услышав, как она тихонько вскрикнула, муж посмотрел в ту же сторону.

— Что случилось? — спросил он.

— Ничего, — ответила она, — просто я что-то вспомнила.

Он не стал допытываться, и через некоторое время, услышав его вопрос («Неужели ты еще не видела своего сада?»), она с облегчением убедилась, что он не подозревает, что для нее значат его слова. Для него они были простым актом вежливости, костью, которую он бросил, снисходя к ее странностям. Он все еще нервничал и обращался с ней как с гостьей, но то, о чем он ее спросил, нисколько его не интересовало, потому что он не дал себе труда подождать ответа.

Для нее же этот вопрос прозвучал как глас судьбы. Она сразу поняла, что должна, по крайней мере, пойти и посмотреть, но все-таки не пошла, отложив сначала на день, потом на два, и все это время ничего не делала, отказывалась ходить на рынок, составлять меню, готовить французский салат и просто лежала в постели, иногда засыпая, как в гостинице, и неизменно просыпаясь с тем гнетущим ощущением возвращения сознания, которое бывает после наркоза или опьянения, когда человек уже понимает, что в его жизни что-то изменилось, но еще не знает, что именно. Если бы муж не повторил свой вопрос во второй и в третий раз, говорила она себе, у нее, может быть, никогда не хватило бы духа сделать над собой почти невероятное усилие и зайти в сарай, где лежали ее инструменты, чтобы взять совок, культиватор и заставить себя медленно пройти к ограде, отделяющей сад от поля. Но в третий раз в его вопросе прозвучала тревога и растерянность. Отсутствие интереса к саду начало казаться ему ненормальным, он хотел успокоиться. Потому что он совершенно не представлял себе (и это становилось все более и более очевидным), что, собственно, произошло на прошлой неделе. Ему казалось, что он восторжествовал, что он, победоносный страж домашнего очага, настиг убежавшую нимфу, приласкал ее и, подчинив своей воле, вернул домой. Ему ни на минуту не приходило в голову, что ее поражение было внутренним, что, ослабевшая, опороченная, она, подобно Франции, сама упала в объятия победителя, и до тех пор, пока он этого не понимал, она еще могла как-то ему сопротивляться. Но чтобы сохранить иллюзию, нужно было, чтобы он верил в то, что она осталась прежней, и не заподозрил ее в покорности, отдававшей ее не только во власть ему, но и

во власть любой случайности. Она оправдывала свое много-
часовое пребывание в комнате душевной усталостью, но так
не могло продолжаться вечно. Он уже начал слегка крити-
ковать их завтраки, обеды и ужины и проводил пальцем по
столу, на котором лежала пыль, — передышка кончилась, го-
ворили ей интонации его голоса. И, проходя сейчас мимо его
окна, она понимала, что звук ее шагов внушал ему бодрость —
он означал возобновление нормальной жизни, возобновление
военных действий.

Сад ждал ее слишком долго, предупреждала она себя, те-
перь уже ничего не поделаешь. Нетрудно представить себе,
что ты увидишь, если оставляешь цветы без присмотра в те-
чение десяти влажных июньских дней. Она была готова
к худшему. И все-таки на полдороге трезвость отступила
перед надеждой, и она побежала, как будто этот финальный
рывок мог возместить ущерб, нанесенный ее медлительно-
стью, как будто она могла застигнуть сад в момент гибели
и вопреки вероятности спасти его в последнюю минуту.
Но сада не было. Вначале ей показалось, что он исчез без
следа. За десять дней сорняки проглотили его. Отгорожен-
ный от поля коричневый прямоугольник стал зеленым, исчез-
ли даже колышки, отмечавшие ряды, единственное, что
осталось, это ограда — бессмысленное свидетельство челове-
ческих усилий, затраченных когда-то на этом прямоугольном
куске земли. Первое потрясение заставило ее закрыть глаза:
это было фантастическое видение, с которым она боролась
всю весну, наводящий жуть *tableau vivant** под названием
«Триумф сорняков», столько раз являвшаяся ей снова и сно-
ва, преграждая путь к свободе, терзая душу, вызывая к ее
жалости и любви. Она отступала перед ней сотни раз, пока,
наконец, ее сердце не ожесточилось и она не сказала себе:
меня здесь не будет, я этого не увижу. И вот теперь все было
так, как она себе представляла, только не в середине лета,
а в начале, и она была здесь, а душная меблированная ком-
ната осталась где-то далеко за пределами ее досягаемости.
Она открыла глаза, но не потому, что надеялась обнаружить
что-нибудь утешительное, а скорее из нездорового стремления
разглядеть свое несчастье во всех подробностях. Теперь она
различала отдельные растения и заметила, что на поле уже
распустились лютики и маргаритки, а у нее за оградой цвели
только самые выносливые, самые зеленые, самые грубые

* Живая картина (франц.).

растения, сорняки из сорняков: лопухи, чертополох, молочай, морковник; крестовник и плющ из стелющихся и в особенности душиельница чужа, крадущаяся под землей и стремительно выбрасывающая вверх росток за ростком. Конечно, все это совершенно естественно, говорила она себе: сорняки, разросшиеся лучше других, наверное, самые сильные, их семена более жизнеспособны. Но разум был бессилён — её сердце восприняло это зрелище как приговор и проклятие.

Все пропало, шептала она себе, прислонившись к ограде, все пропало; в первый раз она признала себя побежденной не на какое-то время, а навсегда. До этой минуты в её сознании оставались крохотные островки надежды, куда тайными обходными путями слетались её мысли, а в её договоре с жизнью всегда находилась лазейка, позволявшая ей верить, что не произошло ничего непоправимого, что нашествию сорняков, например, помешала сухая погода или чудом нашедшийся помощник, выполовший их вместо неё (прислуга, заботливый сосед, мальчик, нанятый мужем?); но сейчас она столкнулась с жестокой непреложностью *fait accompli**: перед ней лежал погибший сад, погибший безвозвратно, потому что, хотя что-то ещё можно было спасти (она заметила несколько васильков в сплошном зеленом ковре у своих ног), первоначальный замысел, зеркало совершенной красоты, в котором ей виделось отражение её собственного образа, было разбито. Она равнодушно опустила на землю и сидела, глядя вокруг себя. В её мозгу сами собой возникли слова, и она произнесла их вслух:

— Теперь мне больше не для чего жить, — сказала она.

Очевидная абсурдность этой фразы подействовала на неё отрезвляюще. Она снова услышала голос здравого смысла; в конце концов, тебе предстоит прожить ещё по крайней мере лет сорок, говорил он, и ты должна на что-то употребить это время, ты не можешь просто так взять и умереть, к тому же люди живут на свете не ради садов, а ради идеалов, принципов и других людей. Этот сад уничтожен, но можно разбить новый в другом месте; из васильков, цинний, космосов и, может быть, даже скабиоз родится другой сад, пусть не такой красивый. Если выбрать самые сильные растения, в августе у тебя на столе будут цветы. Она предложила этот план своей душе и ждала знакомой вспышки энергии, когда хочется засучить рукава и сердце превращается в большой

* Сверхившегося факта (франц.).

гостеприимный дом, готовый к вечернему приему гостей. Но механизм предвкушения не включился. Второсортный сад не мог даже на мгновение оживить ее надежды. Как приемный ребенок или второй муж, он никогда не возместил бы ее утраты. Сорняки покончили со всем этим. Сорняки сами стали ее садом, конечным продуктом ее труда, и выступавшие на молодой траве белые пузырьки — слюни, как их называют дети, — были внешним признаком ее собственной болезни. Она празднично сидела на теплой земле, ни о чем не думая, ничего не чувствуя, кроме стыда, не позволявшего ей вернуться домой.

На этот раз, услышав шаги мужа, она из гордости не обернулась, даже когда почувствовала, что он остановился у нее за спиной перед самым входом в сад.

— Вот тебе и на, — сказал он. — Какая неприятность!

— Да, — с вызовом согласилась она. — Сад погиб.

Наступила пауза, во время которой она мысленно видела, как он пожимает плечами. В ней начал закипать прежний гнев, и она подняла голову. Слова, не раз произносившиеся во время прежних ссор, классические формулировки обвинений и оскорблений готовы были сорваться с ее языка («Полубуйся, до чего ты меня довел, ты только этого и хотел, можешь теперь радоваться»), но ее остановило выражение его лица: на нем не было ни ликования, ни безразличия, лишь любопытство и удивление. Сорняки в конце концов произвели на него впечатление; никогда раньше он не принимал их всерьез, считая, что это одна из химер, созданных ее большим воображением. Сейчас он стоял, охваченный благоговейным ужасом перед устрашающим доказательством их реальности, и в первый раз они оба молча переживали одно и то же чувство.

— Что это за кошмар? — спросил он наконец, наклоняясь и вытаскивая стрелку чужой. Корень оборвался в его неумелых руках.

— Не так, — сказала она, — смотри. — Ее совок извлек растение из земли с орешком на корне. — Это тот сорняк, о котором я говорила всю весну.

Он принялся его рассматривать со свойственной ему методичностью, вертя орех между пальцами.

— Это же просто маленькая луковица, — заметил он.

Поправлять его не имело смысла; объясняя разницу между луковицей и клубнем с точки зрения ботаники, она могла рассеять чувство отвращения и страха, на мгновение сблизив-

ше их друг с другом. Ей хотелось поскорее поделиться им, всеми подробностями своего несчастья, сказать ему: посмотри, вот с чем я боролась, посмотри на щавель, на пырей, на крестовник, посмотри, вот здесь вырос бы душистый горошек: здесь я вырыла канаву и наполнила ее навозом, подумай, сколько я удобряла, поливала, полола; ее охватило какое-то лихорадочное волнение и радость при мысли, что он, не признававший ее сад, пока тот был жив, встретился с ним, так сказать, посмертно и отдал ему дань уважения. Но осторожность или такт удержали ее. Обращать в новую веру нужно осторожно. Еще немного, и он поймет, какие муки она претерпела в саду; широкие подошвы его коричневых ботинок придавили один из выживших васильков, как будто для иллюстрации тяготевшего над ним обвинения. Но она не хотела говорить ему об этом. Достаточно того, что он разделил, пусть бессознательно, тяжесть ее утраты, что он хотя бы в малой степени воспринял ее несчастье как свое. Со страхом и надеждой она ждала, что он скажет дальше.

— Вот тебе и на, — повторил он с еще большим удивлением, и теперь она была уверена, что сейчас это произойдет, сейчас случится долгожданное чудо: быть может, он обвинит ее, вскрикнет, извинится, но главное, он горько пожалеет не столько о саде, сколько о ней, о мертвой молодой женщине, которую он привез из Нью-Йорка и с которой, несмотря на исходивший от нее запах тления, лежал в одной постели, завтракал за одним столом и сидел на диване.

— У тебя прибавилось работы, — сказал он. На мгновение ей показалось, что она ослышалась. — Может быть, удастся найти какого-нибудь мальчика, чтобы помочь тебе, — продолжал он деловым тоном.

Все было кончено, она сразу это поняла, но все-таки сделала последнюю попытку:

— Сада больше нет, — сказала она настойчиво и враждебно, медленно, с ударением произнося каждое слово, как будто хотела заставить его понять важность того, что она говорила.

— Чепуха, — решительно возразил он. — Ты всегда все преувеличиваешь. Я позвоню завтра мистеру Дженкинсу и узнаю, нельзя ли прислать...

Когда он назвал имя жившего по соседству фермера, у нее вырвался вопль.

— Я убью тебя, если ты это сделаешь! — закричала она.

Схватив садовую вилку, она с яростью вонзила ее в землю и в неудержимом стремлении к разрушению начала рас-

вызывать куски дерна вместе с растениями. Рассыпавшаяся земля падала ей на голову и на лицо, по которому текли слезы. Она сознавала, что представляет собой странное и даже отталкивающее зрелище, что муж потрясен ее видом и ее криками, но продолжала рыдать с каким-то злорадным удовольствием, чувствуя, что это единственная оставшаяся у нее возможность наказать его, понимая, что отталкивающая внешность и явное помрачение рассудка в конце концов послужат ей отмщением. Первый приступ ярости прошел, но она продолжала размахивать вилкой, пока его массивная неловкая фигура не скрылась из вида и его последние слова не перестали звучать у нее в ушах.

В конце августа он вошел в гостиную с пестрым букетом, в котором она узнала некоторые из наиболее выносливых цветов своего сада: космосы, васильки и три-четыре совсем маленькие черно-красные циннии. Вперемешку с ними красовались сорняки — толстые розоватые стебли гусиных лапок, бледно-зеленые зонтики морковника. Сомнений не было, он заходил в сад, и уже не первый раз. В конце июня она слышала, как он бранился под окном, подвязывая вяющие розы; в июле он принес домой малину и спросил:

— Может быть, съедем ее на третье?

Ягоды растеклись и смялись — он слишком поздно снял их с куста. Сейчас она лежала на диване, читала детективный роман и смотрела, как он берет вазу, чересчур высокую для такого букета, и втискивает в нее цветы. У нее не было ни малейшего желания исправить его ошибку, наоборот, его неловкость даже доставляла ей удовольствие, и уродливый букет тоже, и темные потеки на кофейном столике, и пятно на форменном платье прислуги, которое она заметила за завтраком. Она нежилась в лучах никому не понятного удовлетворения, как делала все лето. Она была сломлена, но осталась незаменимой, и то, что физически она продолжала существовать, думала она, должно было непрестанно напоминать ему обо всем, что он потерял. Она познала наяву то ощущение, которое обычно доступно только в мечтах: они еще пожалеют обо мне, когда я умру, они еще оценят меня, когда меня больше не будет.

Теперь она могла взглянуть на то, что с ней произошло, с беспристрастием историка. Они с мужем совместными усилиями убили ту частицу ее «я», которая всегда вызывала

у него тревогу и недовольство, частицу, для которой никогда не было ничего окончательного, неизменно полную замыслов, планов и надежд, жившую только будущим и, как пожарник, спавшую в одежде на случай внезапной тревоги. Это была та часть ее «я», которая мечтала о побеге из плена, но в то же время создавала крохотные призрачные оазисы долга и радости, пять лет удерживавшие ее на месте. И это было не сочетание двух противоположных друг другу сущностей, как она думала прежде, а единое целое, образующее созидательный, творческий центр, который в неустанном предвиденье перемен возводил временные строения — ряды маленьких домиков, которые, захватывая все новую и новую территорию, хотя и не составляли еще города в подлинном смысле этого слова, во всяком случае, прокладывали дорогу — *via vitae* *.

Это была та часть ее «я», которая возбуждала его ревность тем, что невольно жила несколько отчужденно, тратя значительную долю внутреннего жара на свои собственные начинания; и все же он добивался сейчас ее возрождения, потому что понял, что в ней заключалось главное, и жаждал увидеть те самые симптомы, которые три месяца назад вызывали у него отвращение. К каким только уловкам он не прибегал, чтобы воскресить ее. Он взывал к ее хозяйственному инстинкту, к ее эстетическому чувству, к ее тщеславию, к ее жалости; сама его неловкость была мольбой о помощи, и она слышала эти призывы, но как будто сквозь сон — она не могла пошевелить пальцем. Она прекрасно понимала, чем все это кончится: настанет момент, когда она вдруг поднимется с дивана, выхватит у него из рук нелепый букет, мгновенно придаст ему нужный вид, потребует другую вазу и торжественно установит ее на каминной доске, а он будет стоять рядом, смущенный и благодарный, будто присутствует на богослужении, на домашней пасхальной мессе. Но сейчас она могла только откинуться на подушку и сквозь полуопущенные ресницы незаметно наблюдать за ним, наслаждаясь черствым пирогом иронии и презрения.

Потому что удовольствие, которое она получала от своего запущенного дома, от беззаботной, предоставленной самой себе прислуги и заброшенного сада (который она, впрочем, с июня ни разу не видела), было по своему характеру чисто негативным — это было вознаграждение за собственное бес-

* Дорогу жизни (*латин.*).

силе. Неприятности, испытываемые мужем из-за того, что она утратила способность созидать, не могли возместить потерю тех радостей, которые давало ей само созидание. Лежа на диване и глядя на пустую пыльную комнату, она чувствовала острые уколы совести, как будто болела ампутированная нога или рука. Иногда она вставала и начинала что-нибудь делать, но, прежде чем подсвечники были наполовину вычищены, ее интерес угасал и она оставляла их в тазу, предоставляя прислуге кончить работу. Ей казалось, что дальше так продолжаться не может, и она молила судьбу, чтобы он ее оставил. (О том, чтобы уйти самой, больше не могло быть и речи.) Теперь ее жизнь зависела от него одного: там, где отрешение, отказ от любви обесцветили все любимые предметы, как обесцвечивает мороз цветы осеннего сада, когда настает пора умирания, выжил только он, только этот крепкий вечнозеленый многолетник. Как ни сильна была ее неприязнь, ей не приходило в голову отречься от него, и сейчас, останавливая на нем взгляд, она чувствовала даже некоторое облегчение — это был привычно неприятный предмет среди всех других, ставших чужими и пугающими. Но в ее взгляде было и раздумье: как долго, спрашивала она себя, сможет он это выдержать? Ее собственная выносливость стала безграничной, потому что время перестало для нее существовать, но он был трезвым, энергичным человеком, и домашние неурядицы в конце концов могли истощить запас его терпения.

Он поставил вазу на стол, вынул носовой платок и стал суетливо вытирать пыль, как женщина, которая гремит на кухне посудой, чтобы разбудить спящего, не решаясь окликнуть его из страха показаться невежливой. Потом он откашлялся:

— У тебя опять появились красивые цветы.

Она, наконец, села и посмотрела ему в глаза, но ничего не ответила.

— Может быть, ты пойдешь и согласишься на них?

Она видела, что он колеблется, не решаясь произнести заранее приготовленные слова. Он боится меня, подумала она с легкой жалостью.

— Было бы так приятно иметь в доме побольше цветов, — с энтузиазмом продолжал он. — У тебя там снова выросло множество всякой всячины. Даже твои сорняки великолепны.

И он продолжал быстро и нервно говорить, рассказывал, что делается в саду, и предлагал различные улучшения — прививку старых яблонь с помощью специалиста садовника,

установку плетней вдоль дорожки, ведущей в сад, — планы, о которых она не раз говорила и которые он всегда отвергал. Она едва его слушала; сама идея всех этих усовершенствований казалась ей бессмысленной: с таким же успехом можно украшать фресками дом с наглухо заколоченными окнами.

Видя, что она не отвечает, он остановился и изменил тактику. Подойдя к ней, он взял ее за руку.

— Мне хочется, чтобы эта комната стала такой, как прежде, — сказал он совсем новым для него тоном — тоскливо, с детской непосредственностью. — Помнишь, ты всегда ставила какие-то желтоголовые кустики на кофейный столик.

На мгновение она увидела окружавшие ее предметы его глазами, и перед ней возникла картина, гораздо менее точная и четкая, чем та, которую знала она сама: в этой картине не было чистых тонов, и бледный, светло-лимонный желтый цвет (он, конечно, имел в виду африканские ноготки, их цветочек напоминает гвоздику, чистейшая желтизна) легко смешивался с оранжевым цветом французских ноготков или с оранжевыми переливами космосов; больше всего в этой картине ценилась неизменность, благие намерения и размер — чем больше цветочек, тем лучше, но она тоже была воплощением идеала красоты, любви и щедрости, и боль его потери, потери огромной и необъяснимой, превзошла и поглотила ее собственную.

Она слегка пожала его руку и, прошептав: «Да, я помню», — отпустила ее. Но он снова взял ее за руку и крепко сжал. Она чувствовала, как тогда в поле, что у него вот-вот вырвется какое-то мучительное признание. В ней самой за мгновение до этого совершился резкий скачок от жалости к сочувствию, ей было больно, что по ее вине он оказался в таком трудном положении; способен ли он вот так же огорчиться ее горестями, о которых он никогда ничего не хотел знать, мог ли он, наконец, просто заплакать вместе с ней из-за того, что она не в силах его оставить, из-за того, что им недостает храбрости, или более привлекательной перспективы, или чего-то еще, что могло бы заставить их расстаться?

— Я всегда любил твои цветы, — невнятно произнес он высоким от волнения голосом. — Ты это знаешь.

Когда эта ложь, эта слезливая, сентиментальная бесстыдная ложь достигла ее ушей, все ее существо восстало в бессиловом возмущении. Как ты посмел, шептало ее сердце, как ты посмел это сказать? Можно ли — и в такую минуту! — поступить более низко? Она могла напомнить ему сотню слу-

чаев, доказывающих обратное. Но заведомая неискренность этих слов выходила за пределы доказательств и за пределы лицемерия, она была порождением того упрямства и душевной косности, которые не подчинялись разуму, так как его разум и совесть были жестоко изуродованы стремлением к неизменно благополучному течению жизни, изуродованы волей, способной навязывать букет, стоящий на камине, варварски пренебрегая цветом, красотой тонов, гармонией форм, и сейчас диктаторским указом создать миф о согласной семейной жизни, об общих вкусах и занятиях.

И при всем этом в его голосе слышались слезы... Она знала, что они значат: сейчас он действительно любил ее цветы — сейчас, когда она их лишилась и они больше ничем ему не угрожали; и для него и для нее цветы ушли из реального мира и превратились в воспоминание, и в том сумеречном царстве, где они теперь находились, он мог обладать ими — и ею, — как беспощадный, слепой и прожорливый властелин. Она поняла, что ее жалость растрочена впустую, что он сделал с ней то, что хотел, — перенес ее всю целиком в обитель теней, в город мертвых, где его воля была всемогуща. Теперь она значила для него не больше, чем дубовый листок, вложенный в школьный учебник, или локон белокурых волос, или спрятанная в ящичке подвязка. Но для него в этом было все — и любовь и поклонение. Он не мог обойтись без лжи, ложь составляла основу его веры. Протестовать было бесполезно. Ей все равно не удалось бы переубедить его, единственное, чего она могла достигнуть, — это вызвать его раздражение, смутить, оттолкнуть. И в последней попытке противостоять ему она уступила, отдавая ему все: цветы, факты, правду. Пусть он обращается с ними так, как считает нужным, она потеряла их и будет терять снова и снова. Пусть служат ему.

Она еще крепче сжала его руку.

— Да, — сказала она неуверенно, — я знаю.

В конце концов ложь далась ей легче, чем она думала.

ДРУГ ДОМА



Его величайшее преимущество заключалось в том, что он никому особенно не нравился. Вернее, нравился не настолько, чтобы придавать этому значение. Поэтому все женатые

знакомые наперебой приглашали его к себе. Так как никто его не превозносил, не ставил в пример, не повторял его шуток и политических прогнозов, ни у кого не возникало желания умалять его достоинства; наоборот, мужья и жены его друзей постоянно открывали в нем ценные качества, которых им недоставало друг в друге, и муж, известный своей неприязнью к внушительной свите знакомых жены, радостно приветствовал незаметного Фрэнсиса Клири, потому что до этой минуты жена о нем почти не вспоминала. В затяжной войне супругов, в битвах между друзьями Фрэнсис Клири оставался открытым городом. Лишенный укреплений, он не подвергался разрушению, как будто в лацкан его пиджака был воткнут белый флаг. Определенная категория домашних споров мгновенно прекращалась при одном упоминании его имени.

(— Просто тебе не нравятся мои друзья.

— Вовсе нет.

— Ты их ненавидишь.

— Неправда, — и с торжеством: — Мне нравится Фрэнсис Клири.)

Олицетворение терпимости, воплощение компромисса, он занимал подобающее ему место, как только его друзья начинали семейную жизнь. Мужчина, который раньше завтракал с Фрэнсисом Клири один или два раза в год, через два-три года после женитьбы с удивлением замечал, что Фрэнсис Клири стал его ближайшим другом: его регулярно звали на уикенды, к обеду, на коктейль, без него не составлялась ни одна партия в бридж или в теннис. И хотя его никогда не приглашали на свадебную церемонию (жена чаще всего случайно знакомилась с ним где-нибудь в ресторане через несколько месяцев после свадьбы, переживая в этот момент что-то вроде аристотелевского узнавания: «Почему Джек никогда о вас ничего не говорил? Вы должны пообедать у нас в следующий четверг»), его азалии или цикламены оказывались в больнице первыми, когда рождался ребенок.

Если прежде с Фрэнсисом Клири дружила жена, общая схема отношений складывалась по тому же принципу. Ничем не примечательный поклонник, занимавший довольно скромное место в ее девичьей жизни, Фрэнсис Клири незаметно проскальзывал в самый центр новой композиции: проводил у нее две недели летом, играл в шахматы с ее мужем, сопровождал ее в ресторан, когда она оставалась в городе одна. Он превращался «в твоего друга Фрэнсиса Клири», в ходячую рекламу добродушия ее мужа.

— Как ты можешь упрекать меня в ревности? — спрашивал муж. — Только на прошлой неделе ты завтракала с Фрэнсисом Клири.

Оставшись наедине со своим старым другом, она, как и раньше, скучала, включала проигрыватель и, извинившись, выходила на кухню посмотреть, не испортила ли прислуга соус. Но, поощряемая мужем, приглашала его снова и снова, потому что его присутствие в доме придавало ей уверенность; оно говорило ей, что брак ничуть ее не изменил, что она по-прежнему может встречаться со своими друзьями и что ее муж — великодушный человек с широкими взглядами, хотя он, естественно, не может разделять все ее симпатии. Кроме того, с Фрэнсисом Клири было так легко. Стоило прийти ее настоящим друзьям, как непременно случалась какая-нибудь неприятность — ссора, неуместный разговор о прошлом, — а если не случалась, она боялась, что может случиться, поэтому, когда они уходили, восклицание мужа: «Слава богу, наконец-то!» — находило отклик и в ее сердце.

В большинстве случаев после нескольких неудачных вечеров или одного уикенда она приходила к убеждению, что друзья, которых она так любила, действительно мешают ее счастью, и тогда она отказывалась от них, конечно, только на время (говоря себе, что позднее, при благоприятном стечении обстоятельств, Джим наверняка увидит в них то, что так ясно видит она, точно так же как она не сомневалась, что когда-нибудь — на следующей неделе или в будущем году — Джим полюбит бобы в стручках, если она подаст их ему в подходящий момент, с тем соусом, с каким нужно). Пока же, разумеется, лучше приглашать Фрэнсиса Клири — в конце концов, он близкий друг ее настоящих друзей (разве не они познакомили ее с ним?). С годами различие между ее «настоящими» друзьями и Фрэнсисом Клири становилось все менее и менее отчетливым, пока ей не начинало казаться, что он всегда был одним из самых близких ей людей.

Вездесущность Фрэнсиса Клири была связана с тем, что его можно было использовать как символ, причем символ, воплощающий не только какую-то идею (например, терпимость), но и реально существующего человека или нескольких человек. Так, муж, набрасывая перед очередным вечером список гостей, спрашивал жену:

— А как быть с Колдуэллами? (Или Мюллерами, или Кап-ланами.)

— О боже мой! — раздавался в ответ пронзительный

возглас жены. — Неужели мы не можем обойтись без Колдуэллов?

— Я их люблю.

— Отвратительные люди. К тому же они ни с кем не знакомы.

— Это мои старые друзья. Я многим им обязан.

— Тогда приглашай их, когда меня нет дома. Ты знаешь, что они меня терпеть не могут.

— Не говори глупостей. Они бы тебя обожали, если б ты только захотела.

В отчаянье жена на мгновенье задумывалась. Она уже видела, как ее вечер, ее очаровательный, прекрасно сложенный, в меру разнообразный вечер терпит крушение, разбиваясь о гранитное упрямство мужа. Но внезапно ее осеняла счастливая мысль.

— Послушай, — говорила она более спокойно, — почему бы нам не пригласить вместо них Фрэнсиса Клири? Он прекрасно подходит ко всем остальным. И он тоже твой старый друг, как и Хью Колдуэлл. Пожалуйста, не думай, будто все дело в том, что Колдуэллы твои друзья, просто они не гармонируют с другими гостями.

И муж, видя признаки надвигающейся бури так же отчетливо, как она, понимал, что, если он будет настаивать на приглашении Колдуэллов, его жена может обойтись с ними непростительно грубо, а если она этого не сделает, то сочтет собственную уступчивость достаточным оправданием для того, чтобы потом месяцами наводнять дом своими невыносимыми друзьями, — иными словами, он понимал, что можно выиграть битву и проиграть войну, и нехотя, скрепя сердце соглашался. В конце концов, Фрэнсис Клири принадлежал к тому же кругу, что и ненавистные жене Колдуэллы. Пусть сами они не придут, его присутствие внесет колдуэлловский дух, и, если уж быть до конца честным, говорил он самому себе, спор шел скорее о Колдуэллах в принципе, чем о Колдуэллах как таковых.

Другая женщина, сохранившая несколько лучшие отношения с мужем или наделенная несколько большими тактическими способностями, начнет иначе:

— Милый, — скажет она, поднимая глаза от записной книжки, где аккуратным столбиком уже написано три-четыре имени, — мне пришла в голову одна мысль. Почему бы нам не пригласить Фрэнсиса Клири?

Она произнесет эти слова с видом человека, которого вне-

запно осенила счастливая мысль, и, хотя ее тон плохо согласуется с тем фактом, что они всегда приглашают Фрэнсиса Клири, муж, ожидавший худшего (старый школьный друг или восхитительный певец, с которым жена познакомилась на благотворительном концерте), вздохнет с облегчением и не заметит в этом предложении ничего странного.

— Хорошо, — скажет он, благодарный жене за то, что она проявляет интерес к его старому сослуживцу, всегда казавшемуся ему довольно скучным, и, прежде чем он успеет передумать, она наберет номер Фрэнсиса Клири и заручится его согласием. А потом, когда возникнет вопрос о Колдуэллах, она скажет с легким недовольством:

— Ты не боишься переборщить? Ведь мы уже пригласили Фрэнсиса Клири. Я совершенно убеждена, что, когда среди гостей образуется какая-то тесная группа, это всегда очень плохо.

— Не знаю.

— Ну, милый, неужели ты не помнишь тот вечер, когда мы пригласили этих итальянцев, и они сидели в углу и разговаривали только друг с другом...

В обоих случаях результат будет тот же. Фрэнсис Клири придет на вечер, заменяя неудобоваримых Колдуэллов. Он будет их тенью, их призраком. Непритязательный, достаточно воспитанный, он придет рано и останется допоздна. Его присутствие не украсит вечера, но каждый раз, взглядывая в его сторону, хозяин будет испытывать теплое чувство солидарности со своим прошлым; уловив подходящую минуту, он поговорит с ним о Колдуэллах, и Фрэнсис расскажет ему о последнем приключении Хью. Далеко не блестящий собеседник, Фрэнсис Клири в этой узкой области не знал себе равных. Он помнил множество старых анекдотов и прекрасно рассказывал о чужих подвигах. Сам Хью Колдуэлл, страдавший тяжелой астмой и имевший досадную привычку в середине фразы задыхаться и ловить ртом воздух, никогда не произвел бы такого благоприятного впечатления, как Хью Колдуэлл, представленный Фрэнсисом. В самом деле, рассказывая свои собственные истории, подлинный Колдуэлл — эта живая астматическая плоть — становился препятствием, отвлекающим внимание слушателей от его рассказов. Подобно тому как кино вытесняет сейчас театр, а радио — концертный зал, Фрэнсис Клири стремится вытеснить своего друга Хью Колдуэлла и, вытесняя, прославляет его. Фрэнсиса Клири можно сравнить с киноэкраном, на котором пожилая актриса благодаря магическому искусству

оператора и гримера появляется молодой, сияющей, без морщин, или радио, позволяющим нам наслаждаться симфонией, не видя потного лба первого скрипача.

И все-таки, как все механические развлечения, Фрэнсис Клири, в конце концов, наводил тоску. Если вы слушали его слишком долго, у вас появлялось то ощущение удаленности и отчуждения, которое бывает, когда ходишь в кино по утрам. В конечном счете хозяин отходил от него, и под влиянием этой призрачной встречи его желание видеть Колдуэлла не только не становилось сильнее, но, наоборот, пропадало, как пропадает аппетит, когда что-нибудь перехватишь перед обедом, или как исчезает желание видеть картины Ван-Гога из-за репродукций «Подсолнечников» и «Арлезианки», украшающих гостинные друзей Фрэнсиса Клири в качестве постоянного символа их художественных симпатий. Но подобно тому как печальный опыт «Арлезианки» вряд ли удержал кого-нибудь от покупки репродукции «Женщины в белом» Пикассо, пример Хью Колдуэлла не помешает хозяину в каком-нибудь другом случае заменить Фрэнсисом Клири другого старого друга, которого не переносит его жена, и на многих его вечерах будут присутствовать только Фрэнсисы Клири мужского и женского пола, только дублеры, только удачные копии, дружески беседующие друг с другом под репродукциями Редона, Руо или Ренуара, всегда готовые рассказать анекдот, привести цитату, пересказать что-нибудь своими словами, любезные и неуязвимые, как секунданты на дуэли. Вспоминая потом об этом вечере, муж и жена будут ломать себе голову, почему он не удался, хотя гости сидели долго, съели все сандвичи и основательно перепились. Но постигшая их неудача не только не вызовет взаимного недовольства или упреков, а, наоборот, сблизит их. Обмениваясь нелестными замечаниями о своих друзьях, они натянут одеяла и, обнявшись, придут к выводу, что предпочитают общество друг друга или, вернее, что они оба предпочитают себя как супружескую чету всем остальным своим знакомым.

А что подельывает Фрэнсис Клири, севший в такси и направившийся домой со своим двойником женского пола? Секс не для него. Это видно из его имени — оно может принадлежать и мужчине и женщине: называть его Фрэнком никому не придет в голову. Фрэнсис может быть холостяком или старой девой; довольно часто это супружеская пара, существующая как единое целое. Если мужчина начал карьеру Фрэнсиса Клири одиноким, ему лучше не жениться, потому что жена мо-

жет придать его облику излишнюю определенность: найдутся люди, которым она понравится, поэтому другим она покажется неприятной, и не успеет он опомниться, как с ее помощью его имя утратит магическую способность улаживать споры и станет источником конфликтов. Хотя секс не для Фрэнсиса Клири, это не значит, что время от времени у него не появляются любовницы или любовники, если Фрэнсис Клири — женщина; Фрэнсис Клири может даже влюбиться, но так как большую часть свободного времени он отдает знакомым и проводит на людях, этот маленький кусочек жизни, оставленный им для себя, действительно принадлежит только ему. Его романтические приключения, если он их затевает, не отражаются в расписании, которому подчинена его жизнь. Они не имеют никакого отношения к его светским обязанностям, и трудно сказать, что здесь причина, а что следствие: привык ли он проводить с друзьями все свои вечера, уикенды и каникулы из-за того, что в ранней молодости влюбился в замужнюю женщину, или с самого начала понял, что судьба предназначила ему роль друга, и соответственным образом устроил свои личные дела, довольствуясь — без особой к тому склонности — лишь низменными развлечениями *sub rosa* * в спальных вагонах, темных аллеях, общественных парках и дешевых гостиницах, где он записывался под вымышленными именами? Этого никто не знает. Судя по некоторым его поступкам, он сознательно избрал такой образ жизни, охотно жертвуя любовью ради любого телефонного звонка. Подружившись, он намекал своим женатым друзьям на губительную страсть или порок, подобно тому как случайный попутчик, проговорив с вами положенное время, протягивает визитную карточку, но исповеди Фрэнсиса Клири не внушали особого доверия и казались по меньшей мере несерьезными: кто, в самом деле, поверит в роковую страсть или противоестественную склонность, если несчастная жертва в любой день свободна с пяти вечера до полуночи, не говоря уже о воскресеньях и отпусках? Тем не менее его признания принимались вполне благосклонно. Они помогали «объяснить» Фрэнсиса Клири новым знакомым, которые сочли бы его странным, если б не уверились, что в тайниках души он скрывает какой-то воистину ужасный порок.

В других случаях Фрэнсис Клири действовал, видимо, без всякого расчета. Время от времени он подумывал о женитьбе, но никак не мог найти «подходящую особу», существ-

* Здесь: под кустом (латин.).

вовавшую, очевидно, вне сферы практической жизни, подобно душе человека, который еще не родился на свет. Стоило, однако, появиться реальной женщине с чертами «подходящей особы», как выяснялось, что она уже замужем, или не проявляет к нему достаточного интереса, или не может оставить старую мать, или находились какие-то другие причины, из-за которых брак оказывался невозможным. Фрэнсис Клири продолжал присматриваться и примериваться, пока время не лишало эту деятельность всякого смысла, и к пятидесяти годам успокаивался, считая, что в его судьбе повинен то ли географический казус (у каждого есть двойник или дополняющая половина, но не обязательно в Нью-Йорке и даже в Америке), то ли слишком романтический склад характера, то ли сохранившаяся с юности дурная привычка заводить романы с замужними женщинами, из-за чего во всех женщинах, не имевших мужей, ему всегда чего-то не хватало. Покончив с любовью, Фрэнсис Клири с еще большей горячностью отдавался своим обязанностям друга: наносил визиты, делал мелкие подарки, оказывал незначительные услуги, распространял безобидные сплетни, справлялся о здоровье, гулял с детьми и нередко переживал пору позднего расцвета, внушавшую всем его друзьям надежду, что он все-таки решил жениться, в то время как, наоборот, окончательный отказ от женитьбы позволял, наконец, полностью раскрыться его натуре. Эта сторона его личности — это бескорыстие — делала Фрэнсиса Клири почти достойным любви. Он, несомненно, заслуживал расположения, если не явного предпочтения, своих друзей, и те мужья и жены, которые вначале выбирали его как меньшее из двух зол, в конце концов начинали ценить его собственные достоинства. Очень важно, правда, что они ценили главным образом его доброту, то есть черту, которая в отличие от таких свойств, как талант, обаяние или красота, обычно не вызывает зависти. Но, несмотря на доброе сердце Фрэнсиса Клири, обед или прогулка с ним вдвоем воспринимались как тяжкий труд, и, если случайно оба участника этих молчаливых tête-à-têtes* остались довольны, спутник Фрэнсиса Клири долго не мог забыть об этом событии и постоянно рассказывал о нем знакомым («Вы знаете, как-то на днях я прекрасно провел время с Фрэнсисом Клири»), как будто в награду за его добродетель ему довелось лицезреть чудо.

* Свиданий наедине (франц.).

Впрочем, вполне вероятно, что в этом последнем случае одного человека принимали за другого. Фрэнсис Клири, о котором мы только что говорили, — добрый, растерянный, тоскующий — был, по-видимому, не настоящим Фрэнсисом Клири, а его дядюшкой, в честь которого назвали подлинного современного Фрэнсиса Клири-племянника. Добрый Клири всегда казался своим знакомым неким анахронизмом, они говорили, что он напоминает им детство, незамужнюю тетушку, чинившую их одежду, или неженатого брата их дедушки, каждое рождество дарившего детям золотую монету и завещавшего им свои часы. Настоящий Фрэнсис Клири не пробуждал воспоминаний. Он был таким же продуктом эпохи, как нейлон или клееная фанера, и отличался от тех, других Фрэнсисов Клири — от своих зажившихся на свете дядюшек и тетушек — тем, что ни у кого не вызывал жалости. Кто станет скорбеть о Фрэнсисе Клири, никогда не скорбевшем о самом себе? За ним не волочились обломки погибших идеалов, неудовлетворенных желаний, попранного честолюбия. Стоило вам произнести в его присутствии слова «крушение надежд», как сразу становилось ясно, что само это понятие вышло из моды и отдает глубокой провинцией: может быть, где-нибудь на Среднем Западе в маленьких городишках люди еще бродят ночью по улицам, беспокоиво вопрошая судьбу, не могла ли она распорядиться ими как-то иначе, но в любом передовом культурном центре человек, как простыня, подвергается специальной обработке, препятствующей появлению морщин, и жизнь не сулит ему ни приятных неожиданностей, ни разочарований.

И наш, настоящий Фрэнсис Клири был как раз таким безупречно обработанным человеком — идеалом, к которому другие только стремились. У него, казалось, вообще не было никаких потребностей, и в этом состояло его главное обаяние. Вернее, как в правильно составленном уравнении, в данном случае спрос и предложение точно уравнивали друг друга, так что их разность — сам человек — оказывалась равной нулю. Когда он закрывал за собой входную дверь, о нем не вспоминали. О нем никогда не говорили в его отсутствие, а если и говорили, то только для поддержания традиции. Один или два раза в год Фрэнсис Клири объявлял о каком-нибудь недомогании и, лежа в комфортабельном номере гостиницы, принимал от друзей цветы, книги и студень из телячьих ножек с винным соусом. Эти болезни носили такой же символический характер, как все, что касалось Фрэнсиса Клири:

они позволяли друзьям беспокоиться о нем, не испытывая никакого беспокойства. Если бы Фрэнсис Клири хоть изредка не болел, они бы начали считать себя бессердечными чудовищами — можно ли иметь близкого друга, о котором вы никогда не вспоминаете? Предусмотрительный, осторожный Фрэнсис умел позаботиться о том, чтобы подобные вопросы не возникали. Он не мог позволить себе роскошь быть для кого-то укором совести или источником внутренних разногласий — со стороны Фрэнсиса Клири это было бы так же неблагоприятно, как дать повод для ссоры. Настоящий друг, заболевший воспалением легких, мог чахнуть в меблированных комнатах, брошенный на попечение горничной, или сражаться с белой горячкой где-нибудь в Бельвю, но, если у Фрэнсиса Клири вдруг начинало першить в горле, все спешили его утешить.

С этой же целью он время от времени просил знакомых помочь ему разрешить какую-нибудь не слишком сложную проблему (где провести отпуск — в Мэне или Нью-Хемпшире?), с видом человека, обращающегося за помощью в самый критический момент своей жизни. Преданные друзья давали ему советы и путеводители, делились детскими воспоминаниями о летних каникулах, вручали рекомендательные письма, и, когда Фрэнсис, наконец, уезжал туда, куда собирался уехать с самого начала, они чувствовали, что сделали для него все, что могли, — обязанности, налагаемые дружбой, были выполнены как нельзя лучше.

И совсем уже редко, если дружба начинала давать ощутимые трещины (муж и жена вновь влюблялись друг в друга или отдалялись настолько, что каждый встречался со своими собственными друзьями или начинал обхаживать другого Фрэнсиса Клири-конкурента), он заходил так далеко, что одалживал у мужа деньги. Конечно, эти займы были всего лишь временной мерой, и сознание собственной щедрости, горячившее кровь мужа, почти всегда помогало восстановить кровообращение дружбы. Тем не менее в течение нескольких дней, пока Клири оставался должником (обычно он прибегал к этому средству не раньше 27 числа и безотлагательно возвращал долг в первый день следующего месяца), его терзало глубокое беспокойство. Раза два ему казалось, что он видел в глазах мужа страх: не превратят ли финансовые затруднения «этого милого Фрэнсиса Клири», как его часто называли жены, в еще одного «бедного старину Фрэнка». Он не сомневался, что муж спрашивает себя, не обманулся ли он. Что,

если этот старый добрый друг на самом деле просто назойливый попрошайка, все это время ловко скрывавший свои намерения, чтобы сейчас нанести удар? Классическая фраза разочарованного мужчины — «я думал, вы не из таких», — казалось, вот-вот сорвется у него с языка, и Фрэнсис чувствовал, как почва уходит у него из-под ног. Все, разумеется, кончалось благополучно. Фрэнсис возвращал деньги, и муж мысленно вытирал пот со лба, удивляясь, как он мог его заподозрить. Конечно, Фрэнсис Клири был «не из таких» и никогда не принадлежал к «таким». Все друзья, учившиеся с ним в школе или в колледже, вернее те немногие, которые были в состоянии его вспомнить, проявляли в этом вопросе полное единодушие.

Даже тогда, в самом начале, он был совершенно лишен назойливости. Он никогда не стремился выделяться, блистать, считаться ближайшим другом, быть непременно самым привлекательным, самым элегантным, самым остроумным. Ему было достаточно, что он находился там, где другие, вместе со всеми и играл роль безмолвного свидетеля. Где бы он ни учился — в одном из оксфордских колледжей или в нью-йоркской средней школе № 12, в Йельском университете или в университете штата Айова, в Технологическом институте Карнеги, в Чикагском институте искусств или в Гарвардском торговом колледже, — он никогда не относился к тем студентам, чьи высказывания цитировались в ежегоднике учебного заведения, и, открыв этот журнал сегодня, вы увидите, что издатели увековечили свое бессилие, оставив под его фотографией пустое место. Но он ни у кого не вызывал антипатии, потому что в нем не было ни малейших следов неутолимого голода, настороженности, тайного стыда (даже тщательно замаскированных прилежанием к наукам, безразличием к обществу, эксцентричностью, геологическими экспедициями или орнитологическими экскурсиями), которые выжигают на человеке клеймо и заставляют всех тех, кто считает друг друга «своими», мстить ему за то, что он чужой. Когда разгорались партийные страсти, он не проявлял ни особого беспокойства, ни излишней самоуверенности, ни чрезмерного равнодушия и в результате во многих случаях оказывался членом более аристократического кружка, чем тот, на который мог рассчитывать, а если в общей суматохе о нем случайно забывали, ошибки всегда исправляли: по прошествии некоторого времени его без лишних слов вносили в список, только не на втором курсе, а на третьем. И оказанное ему предпочтение — запоздалое или преждевре-

менное — всегда вызывало смятение того, кто, не войдя в число избранных, с полным основанием считал, что в нем больше блеска и привлекательности, что он богаче, успешнее его учится, успешнее занимается спортом, лучше умеет пить или делать что-нибудь другое, считающееся достойным в его среде. Естественно, что внимание, которым удостаивали Фрэнсиса Клири, казалось им намеренным оскорблением. С тех самых пор всегда и всюду предпочтение, отдаваемое Фрэнсису Клири, было не только утверждением чего-то присущего лично ему, но и отрицанием чего-то присущего другим.

Именно так обстояло дело в семье, о которой мы говорили: если для мужа Фрэнсис Клири был суррогатом Хью Колдуэлла, то для жены он был его противоположностью. А сам мистер Колдуэлл, сидя на своем продавленном кресле в Гринич Вилледже, утешался мыслью, что его не пригласили к Лейтонам просто потому, что подлая миссис Лейтон не разрешает мужу встречаться с друзьями бурной молодости. Но когда Фрэнсис Клири — приятель Джона Лейтона того же года приобретения, что и Хью, — забегал к нему на обратном пути от их общего друга, мистер Колдуэлл больше не мог заблуждаться относительно намерений миссис Лейтон. Она не допускала в свой дом именно его, и если, разглядывая Фрэнсиса Клири, он спрашивал себя: «Да чем же, черт возьми, этот тип лучше меня?», то это был как раз тот вопрос, над которым миссис Лейтон хотела заставить его задуматься.

Тут читатель может спросить, какими же мотивами руководствовалась миссис Лейтон? Что заставляло ее преследовать отца знакомого человека, который, даже захотев, не мог причинить ей никакого вреда? Лучшим ответом на этот вопрос будет другой вопрос. Пусть тот, кому поведение миссис Лейтон кажется необъяснимым или по меньшей мере странным, спросит у себя, почему он не любит подруг своей жены. Правда ли, как он убеждает себя, что дело только в их непривлекательности, или в том, что они пробуждают в жене худшие стороны ее натуры — поощряют мотовство, наводят на мысли о любовных приключениях, — или в том, что они постоянно толкуют о вещах и людях, о которых он не имеет ни малейшего представления, или одалживают деньги, или отнимают слишком много времени? Может быть, если уж позволить себе еще большую откровенность, они вызывают у него ревность? Но и это объяснение неубедительно, потому что, оглянувшись вокруг, мы увидим мужей, закрывающих двери своего дома перед друзьями и родственниками жены и с удивительной

сердечностью относящихся к ее любовникам, и других, которые грубо отталкивают своих жен, тяготясь их привязанностью и все же пользуются всеми способами, чтобы лишить их того, что с любой разумной точки зрения могло бы служить отдушиной, отводным каналом неиспользованных чувств, — общества друзей. Может быть, зависть — то слово которое здесь нужно? Признает ли недоумевающий читатель, что его жена и ее друзья обладают каким-то общим для них качеством, которого он сам лишен? Когда-то именно это качество привлекало его больше всего, хотя сейчас ему, наверное, удалось полностью вытравить его из характера жены, как бывает, когда женщина, выйдя замуж за молодого поэта, потому что он не похож на других знакомых ей мужчин, вскоре убеждает его поступить в рекламное бюро или в лучшем случае превращает в неврастеника, который едва в состоянии написать одно стихотворение за год. В нашем обществе, где все построено на конкуренции, зависть часто принимается за любовь: флегматичный мужчина, который женится на темпераментной женщине, поступает как делец, скупающий акции конкурирующей фирмы, чтобы задушить ее. Вначале он тешился мыслью, что конкурент обладает рядом патентов, которые ему хочется пустить в дело, но вскоре выясняется, что эти некогда столь вожаделенные патенты могут закрыть ход его собственным изобретениям и, следовательно, подлежат уничтожению. В конечном счете оказывается, что мы не можем обладать тем, что нам не дано. Что, как это ни удивительно, темперамент, деньги, уважение, талант, которые мы надеялись приобрести, вступая в брак, враждебны самой нашей природе. Тогда нам не остается ничего иного, как убить темперамент, растратить деньги, растоптать уважение и искалечить талант, а доведя до конца эту разрушительную деятельность, мы можем даже начать сердиться: жена поэта будет пилить мужа за то, что он больше не пишет стихов, а скучный мужчина, женившийся на веселой девушке, упрекать жену за необщительность.

Но здесь надо указать на некоторые различия. Иногда непосредственным предметом зависти или вожаделения является жена или муж; в таких браках друзья — случайная жертва. Мы ничего не имеем против них лично, и если они все-таки вызывают нашу ненависть, то только потому, что мы видим, как они улыбаются жене. Но бывают другие браки, в которых случайной жертвой оказывается один из супругов, заложник, приведенный домой после налета на вражеский стан, то

есть на кружок друзей. Мы не питаем к нему никаких злых чувств, мы даже жалеем его, когда для пользы дела придется отрубить ему ухо или мизинец, чтобы наказать за дурной поступок. Мы мстим не ему лично, он лишь символ той неприязни, которую мы испытываем к какой-нибудь группе, классу, касте, полу или расе. Для этих случаев обычно характерно резкое, вызывающее удивление несходство между мужем и женой; посмотрите на коммуниста, женившегося на дочери банкира, или на антисемита, женатого на прекрасной еврейке, или на дельца, который женился на актрисе и заставил ее бросить сцену. Подобные браки являются примерами метонимии: в них часть принимается за целое, символ за то, что он выражает. Если речь идет о дельце и актрисе, можно подумать, что делец сошел с ума, — зачем жениться на актрисе, не собираясь сидеть в первом ряду на премьерах? — но так думают только те, кто не знает, что студенческая жизнь этого дельца была отравлена неудачной попыткой создать Драматическое общество, что его тайное стремление к кровавой мести театральным подмосткам уже проявлялось в некоторых операциях с недвижимостью в районе Таймсквера, в финансовой поддержке радио- и кинокомпаний и в анонимном письме о сомнительном эпизоде в одном из бродвейских боевиков, как-то раз отправленном правительственному чиновнику, ведающему театрами. Коммунист, обрекающий дочь банкира на убогую жизнь где-нибудь на Тринадцатой улице, — неприбранная кушетка, банка сгущенного молока рядом с переполненной окурками медной пепельницей на обеденном столе, кипы пыльных брошюр, поздние собрания, дешевое виски без содовой, прическа, сделанная над раковиной с помощью состава, купленного по дешевке у аптекаря, — может быть, сам испытывает отвращение к условиям, в которых он заставляет жить свою жену, но его квартира — это сцена, где все приготовлено к визиту ее ненавистного отца. И антисемит, женившийся на прекрасной еврейке и воображающий, что его увлек порыв чувств, может хорошо обращаться со своей женой, исключив ее посредством лично им изданного указа из членов еврейской расы (благо она действительно не очень похожа на еврейку), может бесчисленное множество раз заявлять (мысленно и даже вслух), что он женился на ней, несмотря на ее родственников — ее матушку, сестрицу и горбоносых дядюшек, — в то время как на самом деле ему с ней скучно и он со злорадным удовольствием думает о ежегодном визите тещи. Каждое лето он обещает жене, что не

будет употреблять слово «еврейчик» в присутствии ее старой матери, и все-таки это слово всегда срывается у него с языка, мать в слезах уходит, а он получает новое подтверждение полноты своей семейной жизни.

Но это имеет лишь теоретический интерес, поскольку друзьям, мужьям и женам не так уж важно, вызывают ли они неприязнь сами по себе или в силу каких-то косвенных обстоятельств. Ребенку, в которого попала бомба, безразлично, какими мотивами руководствовался тот, кто ее сбросил. Поэтому миссис Лейтон, если мы хотим вернуться к разговору о супружеской жизни Лейтонов, может ненавидеть Хью Колдуэлла за то, что он или кто-нибудь вроде него однажды прошелся карандашом по ее рисунку в вечернем классе Художественной студенческой лиги, или потому, что она работала модельером у Мейси, а он проповедовал нудизм, или по любой другой причине, связанной с различием их взглядов. Может быть, ей не нравится в нем всего лишь одно: дружеское расположение к ее мужу. Так или иначе ради собственного удовольствия или чтобы досадить своему супругу, миссис Лейтон сделает все возможное, чтобы в ее очаровательном новом доме мистер Колдуэлл чувствовал себя неуютно.

Некоторые люди, несмотря на самые добрые намерения, не в силах отказаться от радостей любви, другие — их еще больше — от радости победы. Рассматривая эти две категории в обратном порядке, придется признать, что женщина вроде миссис Лейтон ведет нечестную игру, притворяясь, что ей приходится идти на жертвы, принимая у себя в доме только Фрэнсисов Клири: ревность и гнев изгнанного Хью Колдуэлла с лихвой вознаграждают ее за легкую скуку, которую она испытывает в присутствии гостей. Еще больший мошенник — антисемит, постоянно приглашающий к себе троюродного брата жены, Фрэнсиса Клири-еврея, чтобы потом говорить самые оскорбительные и нелепые вещи, не боясь, что его упрекнут в предубежденности. Но гнуснее всех пресловутый делец, женившийся на актрисе и прикрывающий свою ненависть к театру встречами с молодым Фрэнсисом Клири, работающим на радио и когда-то одно лето выступавшим вместе с его женой. Этот человек, назовем его Эл, несколько месяцев разыгрывал из себя друга Фрэнсиса. Он приглашал его на деловые завтраки, знакомил с радиомангатами, слушал его утренние передачи. Его жена, бывшая актриса, удивленная и растроганная подобными знаками внимания, казавшимися ей несомненными вестниками любви, уже видела в мечтах то

счастливого время, когда у них в гостиной появятся ее настоящие друзья — драматурги, директора театров, актеры — все те, которых ей так недоставало в их загородном доме. И только когда муж стал затевать бесконечные разговоры о превосходстве стихотворной драмы на открытом воздухе перед обычной драмой, ограниченной замкнутым пространством сцены, она догадалась о его коварстве. Ее ответ был решительным и беспощадным. Она обошлась с Фрэнсисом так, будто муж питал к нему настоящую симпатию: в один прекрасный вечер, даже не потрудившись подыскать какой-нибудь предлог, она выставила его из дома.

Пережитое потрясение оказалось роковым для юного Фрэнсиса Клири. Оно заставило его взглянуть в лицо всем тем опасностям, о которых он раньше предпочитал не думать. В течение двух часов, шагая взад и вперед по платформе в ожидании поезда, который должен был увезти его из Фарфилд-Каунти прочь от глительного человека, распилавшегося в любви к Норману Корвину и собиравшегося пригласить его на завтрак с президентом радиокompании «Ред-Нетвек», в течение этого невыносимо долгого и промелькнувшего как миг времени он почувствовал, что его приравняли ко множеству других людей: к тещам и свекровям, к сестрам, истинным друзьям и бывшим возлюбленным, жизнь которых состоит из цепи унижений, ко всем тем, кто испытывает искреннюю привязанность и потому в любую минуту может быть отвергнут. Он горько сетовал на лицемерие мужа, не шевельнувшего пальцем ради его спасения; он сетовал так горько и так долго, что в конце концов ожесточился. После этого случая Фрэнсис с необычайной энергией заботился о том, чтобы даже тень искренней привязанности не омрачала его дружеские связи, и выдавал свое нежелание поддерживать кого-нибудь из супругов за преданность дому, особенно в таких сложных домах, как у Лейтонов, где в надежде избежать подозрений в пристрастности он сосредоточивал свое внимание на детях, постоянно затевал с ними игры, или приглашал их в зоопарк, или водил по воскресеньям в кукольный театр, причем относился к этим развлечениям с таким энтузиазмом, что многие его друзья то и дело выражали сожаление по поводу того, что Фрэнсис не женат, так как, очевидно, он обожает детей. И хотя многие дети не питали к нему никаких теплых чувств и считали, что перспектива посидеть в баре с отцом и каким-нибудь его сомнительным собутыльником гораздо привлекательней самой интересной прогулки, предложенной Фрэнси-

сом, другие отпрыски, чье воспитание протекало успешнее, принимали слова за действительность и, услышав от родителей, что Фрэнсис их обожает, проникались к нему ответной любовью со всей пылкостью, которую отпустила им природа. И в том и в другом случае, видя, как дитя рука об руку с Фрэнсисом направляется по каким-нибудь своим детским делам, мать ни секунды не сомневалась, что ее ребенка ожидает довольно скромное удовольствие. Собственный опыт подсказывал ей, что в обществе Фрэнсиса Клиру ее крошке не грозит ни малейшая опасность познакомиться с чем-нибудь более привлекательным, чем привычная жизнь в собственном доме.

В большинстве случаев этих предосторожностей оказывалось достаточно, чтобы сохранить положение друга дома. С профессиональной радостью Фрэнсис наблюдал за своими младшими коллегами, пытавшимися выпутаться из сложностей более близких отношений. Он сам больше никогда не попадался на удочку, когда кто-нибудь из супругов коварно притворялся, что он им нравится, искал его общества, сетовал на то, что они редко вместе обедают, стремился почаще завтракать с ним наедине или вступал с ним в переписку, в то время как другой (допустим, это был муж), разозленный подобной несправедливостью, по сто раз в день спрашивал себя, как может его Доротея терпеть возле себя такого жалкого тупицу и устраивать в спальне скандалы каждый раз, когда кто-нибудь из его настоящих — интересных! — друзей переступал порог их квартиры. Фрэнсис мог предсказать с точностью до часа, когда наступит неизбежный разрыв, и, если бы не деловое соперничество, он, наверное, вовремя предостерег бы своего молодого тезку от посещения Лейтонов в тот вечер, когда Лейтон совершенно без всякого повода вдруг запустил бокал ему в голову. Сам он был так осторожен, что время от времени обращался в бегство, даже когда в этом не было необходимости. Малейшие признаки расположения мужа или жены внушали ему тревогу и заставляли поспешно удаляться, не дожидаясь установления дружеских отношений, и супруги, не замышлявшие ничего дурного и рассчитывавшие заменить им некоторых своих друзей, недоумевали, чем они могли обидеть этого симпатичного мистера Клиру.

Вечер, проведенный на платформе, оставил в его душе неизгладимый след. Он и раньше без труда отказывался от любви, внимания и уважения, если только когда-нибудь испытывал потребность в подобных чувствах, но после этого слу-

чая страх перед любовью буквально не давал ему ни минуты покоя. В каждом чуть более ласковом взгляде ему чудились признаки крушения. Вся его жизнь превратилась в жонглирование знаками внимания — подарками, визитами, заботливыми расспросами, играми, прогулками за город, — но если бы кто-нибудь принял все эти уловки за чистую монету, он был бы разорен, подобно тому как один-единственный золотой, попав в обращение, неизбежно разрушил бы всю нашу денежную систему. Привязанность какого-то одного человеческого существа перенесла бы его в мир оценок и взвешивания, в мир сравнений. Стоило кому-то его оценить, как немедленно возник бы вопрос о его настоящей стоимости. Перестав быть нулем, мертвой точкой, от которой начинается отсчет, он превращался в положительное число, пусть даже в мельчайшую дробь, и тем самым вступал на путь соревнования. Или иначе: он переставал быть X, неизвестной величиной, не поддающейся оценке, вместо которой в уравнение общественной жизни можно подставить любую известную величину (Хью Колдуэлла), и становился сам этой известной величиной, то есть переходил из ведения алгебры в ведение арифметики. Он больше не представлял Хью Колдуэлла, а существовал в одной с ним плоскости, и, следовательно, их можно было сравнить. Но его главное достоинство заключалось в том, что его нельзя было полюбить, как Хью Колдуэлла, и, если бы он вдруг понравился кому-нибудь вдвое, вчетверо, даже в десять раз меньше, чем Колдуэлл, этого оказалось бы достаточно, чтобы погубить его карьеру друга дома.

Муж, услышав, как оживляется голос жены, когда она разговаривает по телефону с Фрэнсисом Клири, настолько пугался, что задавал себе недопустимый вопрос: зачем мы приглашаем этого типа? Ее чуть взволнованный тон оскорблял его чувство приличия, это было нарушением неписаного соглашения — она плутовала. У мужа появлялось ощущение, что его одурачили. С этого момента он проникался неприязнью к Фрэнсису Клири, и его жене нужно было бороться за приглашение, Фрэнсиса, как будто он в самом деле был ее другом. Если она не любила терять знакомых, ей приходилось видеться с ним, когда мужа не было в городе или когда он задерживался у себя в конторе, и они встречались в барах немногочисленных гостиниц, куда она забегала между покупками. Но атмосфера недозволенности глубоко чужда Фрэнсису Клири. Ее привязанность и верность не могли вознаградить его за то, что он больше не бывал в ее доме. Он ненавидел ее за

эту привязанность, ставшую, как он догадывался, причиной всех его неприятностей. Как и муж, он чувствовал себя оскорбленным, в его глазах она тоже была предательницей. Из-за ее неумеренно пылко-го дружелюбия они оба оказались в глупом положении. Но и она начинала понимать, что Фрэнсис тяжело переживает изгнание. Ей казалось (в данном случае речь идет о довольно глупой женщине), что Фрэнсис тоскует о своем старом друге, ее муже, и, чтобы избавить его от лишних мучений, она начинала лгать.

— Джерри ужасно о вас скучает, — говорила она, — но мы почти ни с кем не встречаемся. Он неважно себя чувствует. Мы сидим дома и читаем детективы.

Фрэнсис, конечно, понимал, в чем дело, а потом в один прекрасный день он встречал их где-нибудь в ресторане с большой компанией друзей, и двуличие жены становилось явным. Подталкивания локтем и отчаянные молящие взгляды не оказывали никакого действия — Джерри так и не приглашал Фрэнсиса пересесть за их стол. После этого инцидента, когда бы она ни позвонила, всегда оказывалось, что Фрэнсис занят и не может с ней увидеться. А если в его присутствии кто-нибудь произносил ее имя, он говорил о ней с такой необычной для него резкостью, что знакомым не оставалось ничего иного, как предположить, что она попыталась встать между ним и его старым другом — ее мужем — или хотела завести с ним любовную интрижку и потерпела неудачу. Так как о муже он по-прежнему отзывался в самых лестных выражениях, обе эти гипотезы казались вполне правдоподобными. Между тем он восхищался мужем вполне искренне. Он уважал Джерри за то, что тот его презирал, — Фрэнсис разделял эту точку зрения. Что же касается незадачливой жены, то она так и не поняла, что произошло. Ей оставалось поверить мужу, говорившему не в первый раз, что она не умеет ладить с людьми.

Так между Сциллой (Эл) и Харибдой (жена Джерри) продолжал Фрэнсис свой нелегкий путь. Он менялся; быть может, в этих переменах были повинны превратности его жизни, быть может, постоянное напряжение в ожидании настоящих и мнимых опасностей. Необходимость примерно раз в год производить ревизию своих владений тоже не прибавляла ему бодрости. Он считал, что заключил неплохую сделку с жизнью. Но каждый раз, когда жена какого-нибудь Джерри вдруг проникалась к нему симпатией, ему приходилось призывать на помощь всю свою проницательность. Если я нравлюсь ей, почему бы мне не понравиться кому-нибудь еще? — вопрошал

он самого себя. А если я могу понравиться, то почему меня нельзя полюбить? Но правда ли, что я ей нравлюсь, и насколько это серьезно? После таких эпизодов проходили недели, прежде чем ему удавалось задушить в себе эти вопросы. Он, как делец, боялся, что зря поспешил, подписывая соглашение с жизнью, — вдруг покупатель заплатил бы дороже. И как делец может успокоиться, только убедив себя, что собственность, от которой он отделался, не сулила ему ничего, кроме неприятностей, так и Фрэнсису не оставалось ничего другого, как вновь и вновь убеждать себя, что он поступил совершенно правильно, написав свое имя против презренного и все-таки победоносного нуля. Но каким бы успехом ни завершался очередной смотр, это полночное подведение итогов не могло доставить удовольствия даже Фрэнсису; его насильственно усыпленное «я» должно было когда-нибудь проснуться и загореться яростью и гневом.

Или, быть может, все дело в том, что природа не терпит пустоты; быть может, стенки ничем не заполненной, наглухо запечатанной капсулы, предназначенной для души Фрэнсиса, не выдерживали атмосферного давления и, рухнув, открывали доступ всем тем эмоциональным потокам — ненависти, зависти, страху, — которые в отличие от любви не связаны с определенным объектом и свободно перемещаются в пространстве, где протекает жизнедеятельность человека. Так или иначе Фрэнсис менялся. Буквально на наших глазах он превращался в нечто такое, чем, казалось, никак не мог быть. Если вы не замечали всех ступеней этого процесса, то только потому, что настолько привыкли не обращать на него внимания, что, превратись он у вас в гостиную в змею, вы и тогда не бросили бы взгляда в его сторону. Ваше безразличие оказалось для Фрэнсиса чем-то вроде шапки-невидимки, под прикрытием которой он приготовил вам довольно неприятный сюрприз. Но теперь, когда он подтолкнул вашу память, вы припоминали, что, хотя Фрэнсис никогда не отличался изысканными манерами, раньше он производил более приятное впечатление. Однажды, например, он с готовностью ушел из вашего дома в половине восьмого, пожертвовав коктейлем ради одной из самых неприятных дам, которую нужно было проводить в гостиницу, в Гринич Вилледж, где она всегда ужинала. Но с годами он начал уходить из вашего дома все позже и позже, и вот уже вашей жене приходится в девять вечера готовить ему яичницу. Теперь вы счастливы, если в 12 или в 2, а то и в 3 часа ночи вам не надо стелить ему постель в ком-

нате для гостей или в лучшем случае отвозить домой на такси и самому отпирать дверь его дома. Когда-то у вас засиживались приятные люди, которые о чем-то спорили, читали стихи, играли на пианино, пели; теперь интересные гости посещают другие дома, а круг ваших знакомств сузился до Фрэнсиса Клири, и вы, наверное, не удивляетесь этому, считая, что так устроена жизнь.

Быть может, все более заметное пристрастие к спиртным напиткам (Фрэнсис больше не ждет, чтобы вы обратили внимание на его пустой бокал, он наливает себе сам или развязно спрашивает: «Кто-то, кажется, предложил еще выпить?»), быть может, это пристрастие привело к тому, что он засиживается все дольше и становится все грубее. В прежние времена он умолкал на полуслове, если замечал, что окружающие заинтересовались чем-то другим, и заговаривал, только дождавшись паузы в общем разговоре. Но с годами он становится настойчивее. Его речь может прервать прибытие нового гостя, хозяин, извинившись, выйдет помочь кому-то разыскать пальто, или хозяйка пойдет взглянуть на ребенка, — Фрэнсис будто держит закладку в том месте, где он остановился.

— Так вот... — немедленно начинает он, как только ему больше ничто не мешает.

Мало того, его мнения, которые он раньше старательно приспособлял к общему разговору и высказывал в достаточно расплывчатой форме, чтобы их легко можно было изменить, теперь стали резкими и навязчивыми. Это особенно характерно для Клири женского рода. Когда-то незаметная слушательница, теперь она приходит на вечер, одержимая одной мыслью, и возвращается к ней вновь и вновь с неотвязностью призрака, появляющегося в определенный час в определенном месте. Мысль эта почти всегда принадлежит прошлому — какой-нибудь отголосок некогда живых споров (абстрактное и предметное искусство, старая и новая системы образования), — но Фрэнсис в юбке проповедует ее с таким жаром, как будто сама является представительницей минувшей эпохи. Любую попытку переменить разговор она воспринимает как непочтительность к памяти умерших. «Другие, может быть, забыли, но я помню», — написано на ее обиженном лице.

Если хозяйке удастся переключить ее на какую-нибудь менее отвлеченную тему, одного случайно сказанного слова оказывается достаточно, чтобы тяжелый воз ее рассуждений вновь загромыхал по той же дороге. Предположим, что она

посвятила себя защите Рафаэля от нападок Мондриана *. За-молчав на мгновение, она тут же оживает, стоит кому-нибудь из гостей допустить оплошность и сказать: «Она хороша как картина».

— Вы можете говорить о картинах все, что хотите... — начинает Фрэнсис.

У Клири-мужчины эта воинственность носит обычно более конкретный характер. Теперь он все чаще разбивает стаканы, лампы, пепельницы. Он может задеть локтем горничную, когда та подает соус, и хозяйке приходится нести платье в чистку. Иногда к нему на весь вечер возвращается прежнее миролюбивое настроение, но вдруг в полночь его охватывает тоска:

— Господи боже! — восклицает он, прерывая разговор гостей, забывших о его существовании. Или хватает чужую шляпу и, спотыкаясь, бросается к двери, по дороге опрокидывая стол.

Фрэнсис Клири в образе супружеской пары не злоупотребляет спиртными напитками. Наоборот, он спокойно, но твердо отказывается от третьей и даже от второй рюмки. В своем раздвоенном облике он приезжает рано и располагается на диване (Клири всех видов и родов испытывают особое влечение к дивану, которым они завладевают как символом власти). С этой удобной позиции он, или, точнее говоря, они, с царственной неподвижностью наблюдают за всем происходящим. Едва познакомившись с семьей и еще не вполне утвердившись в доме, они обращаются с самыми старыми и близкими друзьями хозяина и хозяйки (бывший товарищ по комнате в общежитии колледжа или бывший любовник) так, будто те нуждаются в их одобрении. Они не считают нужным поддерживать обычную беседу; когда к ним кого-нибудь подводят, они задают резкие, бесцеремонные вопросы («Объясните, пожалуйста, что означает этот желтый галстук?», «Почему у героев вашего романа такая ужасная личная жизнь?») или просто сидят, ожидая, что их будут развлекать.

Как и Фрэнсис Клири, пристрастившийся к вину, они уходят последними, предварительно поделившись с хозяевами своими наблюдениями. Ничто не ускользает от их внимания: они заметили, что ваш прежний товарищ по комнате заикается, а бывший любовник косит; они сосчитали, сколько бокалов виски выпил пьяница, и сообщили вам, что у него дрожит рука;

* Питер Корнелиус Мондриан (1872—1944) — художник-абстракционист, один из руководителей «Американского общества художников-абстракционистов», основанного в 1936 году.

женщина, которую вы считали красивой, оказывается, кривонога, а симпатичному русскому пора вымыть голову. Их рассказ совершенно бесстрастен: они никого не осуждают, они докладывают. Хотя каждое человеческое существо является, так сказать, произведением искусства, Клири выступают как представители науки и гордятся своей нечувствительностью к эстетическому воздействию. Если художник стремится выделить то, что он считает главным в своем персонаже, и говорит вам: «Смотрите сюда!», Клири обязательно будут смотреть на что-нибудь другое. Выразительность глаз никогда не ослепит их настолько, чтобы они не заметили безвольный подбородок. И вы с женой, привыкнув подчиняться законам искусства и человечности и смотреть туда, куда вам указывают, чувствуете, что унылое обозрение всех деталей лишает вас душевного равновесия. Друзья, которых вы раньше воспринимали как некое целое, кажутся вам теперь сборными конструкциями, составленными из бракованных деталей. Вас душит отчаянье, но вы не осмеливаетесь спросить, по какому праву они занимаются такого рода наблюдениями — их замечания обладают особой авторитетностью и убедительностью из-за того, что они называют ваших гостей, с которыми только что познакомились, просто по имени.

— Джон страшно пьет, — заявляют они, и вы уже не решаетесь возразить, что этот вечер был исключением, — фамильярное «Джон» предполагает такую осведомленность, на которую вы не смеете претендовать.

К тому времени, когда они выпьют последний стакан («Пожалуйста, немного холодной воды прямо из-под крана») и вы проводите их до двери, вы с женой будете полностью выжаты душевно и физически. Вам даже не о чем будет спорить, потому что, проявив завидное беспристрастие, они выставили на посмешище и ваших друзей, и друзей вашей жены. Вы оказываетесь в пустыне. У вас не осталось никого, кроме друг друга и нескольких Клири.

Единственный выход из этого мучительного положения — снять с себя вину за появление Клири и переложить ее на жену. Можно даже поделить всех Клири между собой. Скажем, мужу взять на себя супругов Клири («Это тебе понадобится их приглашать!»), а жене — Фрэнсиса. Вы можете начать обходиться с ними по-дружески, и в результате обе эти группки немедленно исчезнут. Но тогда вам придется заняться поисками нового Фрэнсиса Клири высшего класса — нуля, возведенного в более высокую степень, ставшего отрицанием

отрицания. Поиски могут затянуться, вы можете напасть на ложный след, но наконец, в один прекрасный вечер, где-нибудь за рюмкой коктейля вы встретите это идеальное воплощение пустоты и, ухватившись за него четырьмя руками, уведете к себе домой, чтобы угощать сандвичами и в страшном волнении, как любовники, сетовать на то, что вы не встретились раньше. Все ваши неприятности позади, жена снова смотрит на вас с улыбкой, и, когда вы вместе с ней стоите в дверях, провожая его домой, ваша рука с нежностью опускается на ее плечо.

Но, увы, тот же процесс грозит начаться снова, и ставки повышаются. Новое ничтожество занимает больше места и еще менее содержательно, чем ваше прежнее сокровище; естественно, что оно стоит дороже. Дюжина других семейных пар мечтает переманить у вас эту выдающуюся личность, прекрасно сознающую свою ценность. Зависть, сквозящая во взглядах ваших коллег и соседей всякий раз, когда вы демонстрируете Фрэнсиса Клири на каком-нибудь сборище, подсказывает вам, что, если вы хотите его удержать, вам придется основательно раскошелиться. Куда девались цветы в горшках, рождественские сыры и детские игрушки, которые постоянно приносил в дом прежний Фрэнсис Клири? Теперешний экстра-друг не приносит ничего; он даже не старается быть приятным: ему не придет в голову поговорить со старой дамой, помочь накрыть на стол или сходить за хлебом. Его общество — это все, на что вы можете рассчитывать, и то при условии, что вы готовы подчиняться его непомерным и непрерывно растущим требованиям. Всем своим поведением он дает вам понять, что его можно удержать, только отказавшись от своих друзей, от своей работы, от своих интересов и принципов, от всего того, что составляет ваше «я», и единственной наградой за эту чудовищную жертву будет сознание, что вашей жене пришлось сделать то же самое. Скоро он начнет приводить к вам в дом своих друзей — другие семейные пары, с которыми вам придется его делить (неужели вы вообразили, что он посвятит себя исключительно вам?). И вот он уже одалживает у вас деньги, книги, виски. Он не остановится ни перед чем, потому что он всегда вас ненавидел, и потому что он знает, что теперь вы в его власти — вам без него не обойтись. Глядя, как это чудовище развалилось на диване, жена с неподдельной нежностью вспоминает о вашем старом чудаковатом друге Хью Колдуэлле, но теперь уже поздно. Хью Колдуэлл выходит из себя при одном упоминании ее имени, а может быть, и вашего

тоже, и, честно говоря, вам еще нужно спросить у себя, так ли уж вам хочется снова увидеть Хью Колдуэлла, особенно если вы знаете, что жена захочет тогда повидать кого-нибудь из своих старых друзей? Нет, отвечаете вы, этого мы не можем себе позволить: нужен какой-то компромисс, какой-то средний путь — не стоит заходить так далеко. Вы напрягаете все свои умственные способности, чтобы разрешить неразрешимое противоречие. Ведь наверняка где-то в этом большом городе, беззвучно восклицаете вы, спокойно живет, может быть даже в меблированной комнате, друг, к которому вы оба могли бы относиться без неприязни... Какой-нибудь скромный мужчина или женщина, какая-нибудь непритязательная пара без определенных вкусов, ведущая размеренную жизнь, какой-нибудь безобидный человек, совершенно лишенный навязчивости и собственной индивидуальности... Любовными мазками вы дорисовываете портрет этого идеального существа, в то время как оно само, ваше пресловутое меньшее из двух зол, сидит на диване и усмехается вам в лицо; но вы не узнаете его.

В конце концов, говорите вы себе, мои желания так скромны, я готов на любую жертву во имя мира и спокойствия. Вы только забыли, что этот деспот появился у вас в доме тоже во имя мира и спокойствия, точно так же, как еврейский банкир, попав в концентрационный лагерь, забыл, что в 1931 году делал взносы в фонд нацистской партии, потому что больше всего боялся коммунистов; точно так же, как философ-антифашист Бенедетто Кроче, вернувшись в Неаполь, забыл те дни, когда он поддерживал Муссолини в римском сенате, потому что предпочитал порядок анархии, а большевизм был тогда реальной угрозой. Вы не в состоянии поверить и никогда не поверите, что болтливый тиран, восседающий на диване, появился у вас в доме как логическое следствие вашего стремления к миру и спокойствию — то есть к мертвому равновесию. Вам кажется, что его присутствие результат жестокой, совершенно непредвиденной случайности.

Жена вам не нравится, но вы не хотите ничего менять. В более романтический период вы, наверное, мечтали о роскошных блондинках, о доступных женщинах и скверных притонах; тогда у вас даже хватило бы духа убежать с какой-нибудь органисткой или женой методистского священника. Но вы человек миролюбивый и необычайно дорожите своей репутацией. Вы не стремитесь к бурной жизни и более содержательной тоже. Правда, какое-то время тому назад вы — теоретически — проявляли интерес и к тому и к другому, но скоро

поняли, что бурная жизнь одного может послужить оправданием для бурной жизни всех, а кто знает, может быть, ваша жена или ваш сосед окажутся способнее вас. Если бы люди рождались равными, не нужно было бы создавать программы достижения равенства. Если бы промышленник не боялся, что кто-то его перегонит, он охотно приглашал бы к себе на фабрику всех и каждого. Мы не стремимся иметь больше других, хотя часто хватаем больше из страха, что получим меньше. Чего мы действительно хотим, так это абсолютного равенства, но его можно достигнуть, только ведя счет в нисходящем направлении и рассматривая нуль как высший, недостижимый идеал. Вот почему мы превращаем свою жизнь в сплошную конференцию по разоружению; я готов уменьшить свои требования, если вы уменьшите ваши. Если наша цель — равенство, вести счет в восходящем направлении невозможно, так как при этом государство может получить разрешение на содержание такого флота, который оно не в состоянии создать, а человеку будут гарантированы такие свободы, которыми он не сможет воспользоваться, что немедленно снова приведет к неравенству.

До тех пор пока вы и я не согласимся с принципом «От каждого по способностям, каждому по потребностям», тоталитаризм останется соблазнительным выходом для демократии и Фрэнсис Клири будет считаться идеальным другом. Вот сейчас вы строите планы свержения притеснителя, собравшегося провести с вами уикенд. Громким голосом он заявляет, что голоден, хотя завтракал всего час тому назад. Жена бросается в кухню, чтобы приготовить ему сэндвич с цыпленком, а вы сидите и смотрите на него в неловком молчании. Вы боитесь включить проигрыватель, потому что он не любит музыку; вы боитесь заговорить, потому что его обижает упоминание о людях, с которыми он незнаком, или о вещах, в которых он ничего не понимает; вы боитесь взять газету, потому что он сочтет это невежливым, а если вы осмелитесь ему противоречить, он ущипнет ребенка.

Когда жена приносит сэндвич, а он, ковырнув его толстым, презрительно оттопыренным пальцем, просит, чтобы ему дали пикули и майонез, в вашем сердце пробуждается жажда сопротивления. Сочувствие, которое вы испытываете к несчастной женщине, учащает ваш пульс. Нужно объединиться с ней и свергнуть тирана, говорите вы себе. Если она сделает это сама, тем лучше, но вы, разумеется, искренне ее поддержите. К сожалению, существует опасность, что теплота тайного

единения, привлекательность совместных планов и приготовлений, интимность негласных ночных встреч в уединенных коттеджах с надежным фермером, стоящим на страже («Qui passe?» *), возродят у вашей жены некоторые иллюзии. Вопрос о друзьях может возникнуть снова; вполне вероятно, что опять наступит период анархии и в вашей гостиной встретятся призраки обоих враждующих лагерей, и вновь начнутся старые споры; страсти разгорятся настолько, что вам придется среди ночи выскакивать из дому и искать убежище в гостинице. Не лучше ли, спрашиваете вы себя, в интересах мира заранее подыскать какого-нибудь общего друга и избежать междоусобицы? Кажется, где-то совсем недавно вы встретили одну пару... Напрасно вы стараетесь припомнить их лица и их имена. Память упорно сопротивляется вашим усилиям, но вы не отчаиваетесь. Смутность ваших впечатлений подтверждает, что вы попали на верный след. Это как раз те люди, которые вам нужны. Стоит вам увидеть их снова, как вы сейчас же их узнаете и с радостным криком броситесь к ним навстречу. Вас смущает только одно обстоятельство. Что, если они уже заняты?..

Единственный способ избавиться от этого постоянно повторяющегося кошмара (если исключить достойный выход из положения, вряд ли заслуживающий упоминания) — это сделать следующий логически неизбежный шаг и самому стать Клири, конечно, вместе с женой, — превратиться, например, в супругов Клири с Раунд Хилл Роуд. Почему вы отшатнулись? Что вы теряете? Чем вы отличаетесь от человека на диване?

ЖЕСТОКОЕ И БЕСЧЕЛОВЕЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ



Она просто не могла причинить боль мужу. Она убедила в этом Молодого Человека, своих подруг и даже мужа. При одной мысли, что нужно Сказать Ему, у нее буквально сердце кровью обливалось, говорила она. И это была чистая правда,

* Кто идет? (франц.).

хотя она сознавала, что положение женщины, собирающейся расстаться с мужем, почти так же приятно, как положение невесты. В обоих случаях все начинается с тайных ухаживаний, истинный смысл которых нужно скрыть от посторонних. Но маскировка ухаживаний, предшествующих браку, — это всего лишь кратковременная дань суеверию. К тому же это личная забота каждого из партнеров, не имеющая ничего общего с двусторонним заговором молчания. Девушка наводит семью и друзей на ложный след, потому что еще не уверена, что все пойдет так, как надо, что гладкая и прямая дорога приведет ее к алтарю. Поделившись своими надеждами, она может невзначай оповестить о своем поражении. После того как достигнуто полное понимание, оба участника некоторое время испытывают естественное чувство неловкости и смущения, а затем приходит Оглашение.

При ухаживаниях, предшествующих разводу, кратковременный обман затягивается, превращаясь из прихоти в необходимость, из случайности в систему. Одним словом, он перестает быть развлечением и становится обязанностью. А то обстоятельство, что обман влечет за собой чувство вины и острые приступы неподдельного отвращения, только разнообразит и углубляет удовольствие, взвинчивая нервы и ставя влюбленных, так сказать, в положение вне закона, что еще больше сближает их друг с другом. Но она понимала, что эта интермедия дает ей, кроме того, возможность, до тех пор не представлявшуюся, насладиться чувством собственного превосходства. Муж — это она могла сказать с полной уверенностью — вызывал у нее лишь сочувствие и жалость. Сознание, что она наградила его рогами, не доставляло ей ни малейшего удовольствия, говорила она Молодому Человеку, и никогда, ни на одно мгновение, говорила она, он не представлялся ей комическим персонажем, вроде тех обманутых мужей, которых мы видим на сцене. (Молодой Человек уверял ее, что его чувства столь же деликатны и что он относится к потерпевшему с глубочайшим уважением и почтительностью.) Ей казалось, что, изменив мужу, она настолько же возвысилась сама, насколько унизила его; поэтому ей просто незачем было злорадствовать, и если она все-таки злорадствовала, то вопреки самым искренним стремлениям не делать этого, вопреки своим моральным принципам, которые обязывали ее, даже совершая греховный поступок, полностью отдавать себе отчет в том, что она совершила что-то греховное и постыдное.

Чувство откровенного превосходства она испытывала толь-

ко по отношению к друзьям. Обеды и встречи за чашкой чая, бывшие раньше скучной обязанностью, способом убить время, стали опасными, полными драматизма приключениями. Во время этих женских tête-à-têtes имя Молодого Человека превращалось в ярко раскрашенный шар с динамитом, которым она будто бы невзначай перебрасывалась с собеседницами. Она говорила о нем как о друге дома, обсуждала его сердечные дела, нападала на него или защищала, разбирала по косточкам, и при всем этом ее взгляд неизменно оставался ясным и равнодушным, в голосе не слышалось ни нотки личной заинтересованности и все ее поведение говорило о насмешливом безразличии. А на самом деле!..

Раза три в неделю, чаще во время обеда или за чашкой чая, она балансировала вот так на краю пропасти и, наслаждаясь ощущением риска, вовлекала своих сотрапезниц в эту опасную игру, все правила и секреты которой знала она одна. Выходы в свет доставляли ей еще больше удовольствия. Встретиться в доме у кого-нибудь из друзей, заранее об этом договорившись, и изобразить удивление, найти на вечерах верный тон, приличествующий молодой бескорыстно-доброжелательной женщине, в театре во время антрактов обращаться с ним, как со своим «пажом», — все это были настоящие режиссерские триумфы, достигаемые с большим трудом и требующие большего нервного напряжения, чем застольные беседы, потому что в них участвовали два актера. Надо было все время уклоняться от его слишком пылких взглядов и заносить неудачные реплики в дебет расходо-приходной книги ее любви, чтобы потом наедине проявить снисходительность и свести счеты.

Само несовершенство его игры доставляло ей удовольствие. Не потому, думала она, что его пылкость и неловкость свидетельствовали об искренности его страсти, и не потому, что они показывали его неискусшенность в интригах, а скорее из-за того, что такой фон хорошо оттенял всю тонкость ее собственного мастерства.

«Мне нужно было поступить на сцену, — говорила она весело, — или стать женой дипломата, или международным шпионом». И он восторженно соглашался с ней.

На самом деле она не была уверена, что смогла бы стать актрисой, так как считала, что изображать самое себя более привлекательное и благодарное занятие, чем воплощать какой-нибудь характер, созданный драматургом. Во время ее личных спектаклей на всеобщее обозрение выставлялась ее собственная

многогранная натура, и зрители — к несчастью, в данном случае их было лишь двое — могли аплодировать одновременно и ее актерскому мастерству, и ее внутренней разносторонности. К тому же *доппée* * этой пьесы составляла реальная жизнь, и никакие наказания за пропущенную реплику или несвоевременный выход, во всяком случае вначале, ей не угрожали.

Она знала, что любит его за то, что он плохой актер, за то, что он покорно выслушивает ее ласковые и в то же время колкие поучения. Сознание собственного превосходства крепло в ней не только из-за легковерия друзей, но из-за смешных черточек в характере ее возлюбленного, а также из-за уязвимости его положения. В этом улье маткой, несомненно, была она.

Появления в Обществе не обязательно носили характер дуэтов. Иногда они принимали форму трио. В таких случаях обдуманная доброжелательность, с которой она всегда оберегала чувства мужа, служила двоякой цели. Изображая откровенную привязанность к семейному очагу и пылкую супружескую любовь, она без конца называла мужа «милый», то и дело ласково поглаживала его по плечу и пожимала ему руку, пока он не расцветал на глазах, а Молодой Человек столь же явно и мучительно увядал. Ни о какой мести Молодой Человек не смел и думать. Ее поведение было освящено законом, обычаем и привычкой, оно приличествовало роли жены, и Молодой Человек, не будучи женатым, не мог возмутиться и ответить ей тем же. Хотя ее нежности были чистой провокацией, никто бы не посмел ей этого сказать, и Молодой Человек предпочитал не затрагивать опасную тему. Но она и так все знала. И, сознавая садизм этих представлений, она несколько не стыдилась их, хотя мучительно стыдилась своего намерения нанести удар мужу. Отчасти она наказывала таким образом Молодого Человека за то зло, которое он причинил ее мужу, считая, что у нее есть все основания играть и роль судьи, и роль обвиняемой. Отчасти же ей казалось, что, как это ни унижительно для Молодого Человека, она имеет право изображать любящую жену, потому что в каком-то смысле она действительно была любящей женой. Она в самом деле испытывала все эти чувства, настаивала она, а как они проявляются — это уже неважно.

Однако нежелание огорчать мужа и стремление пощадить его гордость в конце концов отступили перед убеждением, что

* Основу (франц.).

роман должен вступить в следующую, predeterminedную ему фазу. Возможности тайных ухаживаний были исчерпаны, настало время Оглашения. Она и Молодой Человек начали наперебой высокопарно уверять друг друга, что Сложившаяся Ситуация Невыносима, что Так Дальше Продолжаться не Может. Смысл этих бурных жалоб сводился к тому, что при существующих условиях они недостаточно видятся друг с другом, что они слишком мало бывают наедине, что их разлуки слишком тягостны и что обман стал для них мукой. Быть может, Молодой Человек действительно верил во все это, она — нет. Впервые она поняла, что ценность брака как института заключается в его признании Обществом. Длительная тайная связь нагоняет тоску, решила она. Как ни приятно скрыться от посторонних глаз, как ни радостно владеть тайной, любовный дуэт достигает в конце концов той стадии, когда огни рампы становятся необходимы, чтобы влить в исполнителей новые силы. Вот для чего, думала она, нужны помолвки, приемы, на которых жениху и невесте преподносят подарки, банкеты и пышные свадебные церемонии в церкви. Все это только общепринятые способы, к которым прибегают влюбленные, чтобы привлечь к себе внимание. Развод и второй брак, естественно, вызывают больше разговоров, чем просто помолвка, и теперь она была готова, она жаждала услышать, Что Скажут Люди.

Обеды, чай с подругами, Появления в Обществе постепенно приелись. В конце концов не такое уж большое удовольствие Быть Женщиной, у которой Есть Тайна, если твои друзья об этом даже не подозревают. Короче говоря, счастье обладать тайной было неполным, пока она не могла ее выдать, и ей не терпелось услышать все эти «Боже мой, а мне и в голову не приходило», «Я думала, что вы с Томом так счастливы!», «Как это вам удалось так ловко все скрыть!», которыми близкие знакомые должны были встретить ее сообщение. Аудитория из двух человек перестала ее устраивать; ей нужна была большая сцена. Вначале, слегка волнуясь, она попробовала свои силы на двух-трех самых близких подругах, взяв с них клятву, что никто ничего не узнает.

— Том должен услышать это от меня, — заявила она. — Он будет слишком уязвлен, если в конце концов обнаружит, что узнал эту новость позже всех. Ни в коем случае даже потом не признавайся, что я рассказала тебе об этом сегодня. Мне просто необходимо было с кем-нибудь поделиться.

После таких встреч она спешила к телефонной будке, чтобы рассказать Молодому Человеку о своей беседе.

— Я ее потрясла, — неизменно говорила она с легким торжеством. — Но ей кажется, что это прекрасно.

А что, если нет? За это она не могла поручиться. Не ощущала ли она во время этих разговоров какую-то сдержанность, какое-то невысказанное осуждение со стороны своих ближайших друзей?

Как жаль, размышляла она, что мнение других людей имеет для нее такое большое значение.

— Я, наверное, не могла бы всерьез полюбить мужчину, которым не восхищаются все мои знакомые, — однажды призналась она себе.

Молодой Человек всем нравился, это было очевидно. И все-таки... У нее просто разыгрались нервы, решила она. Конечно же, это только естественно: людей, которыми восхищаются все без исключения, просто не бывает. А если бы даже существовал человек, которого все презирают, разве полюбить его не значило бы бросить гордый вызов целому миру? Конечно, да, хотя ей вряд ли суждено совершить именно этот подвиг, потому что Молодой Человек пользовался успехом, его всюду приглашали, он хорошо танцевал, обладал приятными манерами и умел поддерживать любой разговор. Но не слишком ли он мил, не слишком ли любезен? Может быть, как раз эти его качества и вызвали молчаливое порицание ее друзей?

К этому времени Молодой Человек начал ее слегка раздражать. В ее снисходительных выговорах стали проскальзывать колкости, и ей приходилось прилагать все больше усилий к тому, чтобы не дать своему показному недовольству превратиться в настоящее. Она выискивала недостатки в его характере и изводила его с безжалостностью зубного врача, сверлящего больной зуб. Она была одержима стремлением поучать; с суровостью цензора она отмечала каждую его избитую фразу, каждое общее место, каждую неудачную остроту. И как она ни старалась не выходить из образа очаровательной наставницы, Молодой Человек — она видела это — забил тревогу. Ей казалось, что, испуганный и растерянный, он замышляет побег. Она заметила, что наблюдает за ним с холодным интересом, спокойно обдумывая, какую линию поведения он выберет, и, когда стало ясно, что, приписав ее резкость напряженности ситуации, он решил не отступать, она почувствовала облегчение и в то же время некоторое разочарование.

Настал момент, когда она должна была сказать мужу. Она

верила, что с помощью одного этого очистительного акта ей удастся избавиться от тяготивших ее сомнений и тревог. Если муж будет чернить Молодого Человека, она сможет ответить на его нападки и в то же время отнести их за счет ревности. Он, по крайней мере, не лишит ее удовольствия выдержать открытый бой и произнести вслух ту защитную речь, которую она непрерывно повторяла про себя. Кроме того, ей не давало покоя ребяческое любопытство: Как Отнесется к Этому Ее Муж, любопытство, которому она из приличия старалась придать вид вполне понятного стремления к ясности. Признания, сделанные друзьям, казались ей бледными репетициями того окончательного признания, к которому она готовилась. Быть может, весь ее роман с самого начала тяготел к этому мгновению, ради него он только и был задуман. Любовь мужа должна была подвергнуться последнему, решительному испытанию, чтобы до конца выявить свою подлинную глубочайшую сущность. Сколько ни проживешь с человеком, думала она, никогда не почувствуешь всю силу его любви. Обычно любовь выдается маленькими порциями и всегда с какими-то примесями, она настолько неотделима от мелочей повседневной жизни, что ее и не замечаешь. Любовь никогда не концентрируется в каком-то одном мгновенье: она растекается по прошлому и будущему, пока не превращается в едва ощутимую пленку где-то на поверхности вашей жизни. Только перед лицом гибели любовь может проявиться в полную меру и, однажды проявившись, стать свершившимся фактом.

Ей не пришлось разочароваться. Она сказала ему за завтраком в одном из дорогих ресторанов, потому что, объясняла она, при посторонних легче справиться со своими чувствами. Когда он тут же потребовал счет, она испугалась, что в припадке ярости или горя он оставит ее одну, выставив на всеобщее обозрение и к тому же не оправдав ее ожиданий. Но они вместе вышли из ресторана и, держась за руки, шли по улицам с лицами, залитыми «безудержно льющимися слезами», как она отметила шепотом. Потом они сидели в парке около искусственного озера, глядя на плавающих уток. Солнце светило очень ярко, и ей казалось, что в пристальном и неестественном внимании, с которым они разглядывали эту пасторальную сцену, было что-то по-настоящему патетическое. Она знала, что переживает самые значительные, самые острые и самые идиллические минуты своей жизни. Наконец-то вибрировали все струны ее существа. Она была действующим и страдающим лицом одновременно: она причиняла боль и

разделяла ее. И в то же время она была врачом, ибо если она стала оружием, нанеся рану, то она же была и бальзамом, способным утишить боль. Только она могла понять, как ему тяжело, и у нее же он искал сочувствия, которое она с готовностью ему дарила. Одной рукой вручая ему уведомление об отставке, другой она привлекала его к себе. Она завоевывала его снова и снова, стремясь к более глубокой близости, чем та, которая существовала раньше, вынуждая его к безоговорочной капитуляции. Ей нужно было полное понимание, сострадание и прощение. Когда, наконец, в ответ на ее настойчивые и умоляющие «Я люблю тебя» он сжал ее руку и нежно сказал: «Я знаю», она поняла, что победила. Она заключила с ним поистине мистический союз. Их брак получил свое завершение.

Потом все было гораздо прозаичнее. Она позвонила Молодому Человеку и пригласила его на совещание *à trois* *, совещание благоразумных, воспитанных людей, как она сказала. Молодой Человек был немного смущен и даже слегка прослезился, что привело в замешательство двух других участников совещания, но, в конце концов, подумала она, его нельзя обвинять. Он попал в трудное положение: ему досталась самая неблагоприятная роль. Муж держался так безукоризненно и так любезно, что Молодой Человек не мог не проиграть от сравнения. Он, конечно, предпочел бы скандал с оскорблениями и угрозами, чтобы иметь возможность предстать в образе рыцаря-защитника. Но ей учтивость мужа была скорее приятна — в какой-то мере его поведение и ее представляло в лучшем свете. Молодой Человек явно ожидал, что ему удастся увести ее с собой, но его надежды не оправдались.

— Это было бы слишком бессердечно, — прошептала она, когда они на мгновение остались вдвоем. — Мы должны пойти куда-нибудь все вместе.

Они вышли втроем, решив пойти выпить, и она почти с отчаяньем заметила, что муж становится все более рассеянным и уделяет все меньше внимания разговору, который она так мужественно поддерживала. Ему скучно, подумала она, он сейчас уйдет. Перспектива остаться наедине с Молодым Человеком внезапно показалась ей невыносимой. С уходом мужа исчезло бы третье измерение, придававшее глубину этому спектаклю, и началась бы плоская, вульгарная любовная сцена. Испугавшись, она подумала: а что, если драма слишком затя-

* Втроем (франц.).

нулась, что, если исповедь в ресторане и прощение, полученное в парке, были вершиной этого художественного произведения, а предстоящий развод и второй брак — это уже спад! Несмотря на безупречную вежливость мужа, она чувствовала, что в его отношении к ней начала проскальзывать ирония. Неужели он подумал, что они вернутся из парка и все пойдет по-старому? Вполне вероятно, что он воспринял ее заверения в любви совсем не так, как следовало, и его безмерная нежность была вызвана не мыслью о ее уходе, а мыслью о ее возвращении — без всяких вопросов. Если это правда, телефонный звонок, совещание и прогулка должны были показаться ему чудовищной бестактностью, надругательством над здравым смыслом и хорошим вкусом, которого он никогда ей не простит. У нее загорелись щеки. Посмотрев на него еще раз, она подумала, что его взгляд ясно говорит: я все понял, теперь я тебя знаю. Впервые он показался ей совершенно чужим человеком.

Когда он ушел, она почувствовала разочарование, которого так боялась, но вместе с тем и некоторое облегчение. Она убеждала себя, что его самоустранение только к лучшему, так как оно облегчило ее решение. Теперь не оставалось ничего иного, как довести роман до конца, каким бы этот конец ни оказался, и вполне возможно, что именно этого ей больше всего хотелось. Если бы пронизывающее чувство близости, возникшее в парке, сохранилось, она могла бы, поколебавшись, отказаться от затеянной авантюры и вернуться к привычной жизни. Но, здраво рассуждая, об этом не стоило и думать. После сцены в парке даже авантюра с Молодым Человеком начала казаться ей несколько банальной: каким же банальным показалось бы ей возвращение к прежней семейной жизни? Если ее признание положило конец драме с тремя действующими лицами, то для драмы с двумя оно оказалось смертельным.

К тому же, как выяснилось, внешний разрыв семейных отношений не привел к полному уничтожению треугольника. Хотя она оставила квартиру мужа и нашла прибежище у подруги, ей приходилось ежедневно с ним видеться. Нужно было упаковать одежду, разделить имущество, перечитать вместе любовные письма и поплакать над какими-то воспоминаниями. Еще бывали иногда страстные полуобъятия, и нежные слова, и обещания. И хотя муж не переставал иронизировать, ему это не всегда удавалось. Его ирония была не оружием против нее, как она сначала подумала, а всего лишь мечом из «Тристана

и Изольды», постоянно лежавшим между ними и напоминавшим о благоразумии.

А кроме того, они часто встречались у общих знакомых.

— Что я могу поделать? — говорила она. — Я понимаю, что это неделикатно, но мы знакомы с одними и теми же людьми. Не думаете же вы, что я откажусь от своих друзей.

Появления в Обществе стали особенно волнующими, так как теперь зрители, так сказать, заранее имели программки и были полностью в курсе всех сложностей интриги. Она решила, что посещать вечера с танцами приятнее, чем встречаться за коктейлем, потому что на таких вечерах можно было танцевать то с мужем, то с возлюбленным, вызывая зависть всех присутствующих.

Эта интермедия радовала ее и в то же время терзала; скупала она лишь в те вечера, которые проводила наедине с Молодым Человеком. К сожалению, период, наступивший вслед за Оглашением, по самой своей природе мог быть только интермедией и, несомненно, должен был перейти в какую-то следующую стадию. Она не могла бесконечно находиться в таком неестественном положении. Это было бы непорядочно, и, кроме того, все на свете приедается. Для знакомых треугольник был прекрасной забавой, пока он представлял собой что-то новое, но, став постоянной проблемой, он приобрел бы совсем иной вид. Однажды они все втроем напились и устроили скандал, и, хотя он вызвал много толков, друзья, как ей показалось, стали относиться к ней чуть прохладнее, чуть более критически. Ее начали спрашивать, когда она собирается в Рино. Потом она заметила, что муж пользуется большим успехом, чем Молодой Человек. Совершенно естественно, что все его жалели и старались быть с ним как можно любезнее. И тем не менее...

Когда она узнала от мужа, что ему оказывают внимание члены ее собственного кружка и что он получает приглашения, почему-то не распространяющиеся на нее и Молодого Человека, она тут же пошла на вокзал и купила билет. Прощание, которое она наметила на последние часы перед отходом поезда, состоялось преждевременно, за два дня до ее отъезда. Муж куда-то спешил, и в душе она боялась, что речь шла о Веселом Уикенде за городом. У него нашлось для нее только несколько минут; он желал ей приятного путешествия, и, разумеется, он будет писать. Его бокал был пуст, в то время как ее рюмка оставалась еще почти полной; он беспокойно ерзал на стуле, и она сознавала, что ведет себя как старый моряк,

но чувство собственного достоинства не позволяло ей торопиться. Она надеялась, что ради нее он пропустит поезд, но он этого не сделал. Она осталась в баре, и в тот вечер Молодой Человек, как он выразился, ничего не мог с ней поделать. Ей никуда, совершенно никуда не хотелось идти, с раздражением говорила она, никого не хотелось видеть и ничего не хотелось делать.

— Ты должна что-нибудь выпить, — заявил он с видом врача, ставящего диагноз.

— Выпить, — саркастически откликнулась она. — Меня тошнит от всего, что мы уже выпили. Джин, виски, ром, что еще осталось?

Он привел ее в бар, она плакала, но он заказал ей чудесный коктейль, какое-то шипучее питье под названием «Джин Рамос», и она слегка успокоилась, так как раньше никогда его не пила. Потом в бар зашли знакомые, они вместе выпили еще по рюмке, и она почувствовала себя лучше.

— Вот видишь, — сказал Молодой Человек по дороге домой, — разве я не знаю, что тебе нужно? Разве я не знаю, как с тобой обходиться?

— Конечно, знаешь, — ответила она самым униженным, самым женственным тоном, на который только была способна, но ей стало ясно, что их жизнь внезапно вступила в новую фазу, что они перестали быть центром своего кружка и превратились в еще одну молодую пару, не знающую, как убить вечер, жаждущую развлечений и раздумывающую, пойти ли им в гости к своим женатым друзьям или зайти куда-нибудь выпить. На этот раз средство, предложенное Молодым Человеком, помогло, но, честно говоря, им просто повезло, что они встретили знакомых. Во второй или в третий раз они будут тщетно вглядываться в лица других посетителей, попросят повторить заказ, будут исподтишка коситься на дверь и в конце концов уйдут в одиночестве, и по их виду каждому будет ясно, что идти им некуда.

Когда через два дня Молодой Человек пришел провожать ее позже, чем обещал, и им пришлось бежать по платформе, чтобы успеть на поезд, она вдруг почувствовала, что ненавидит его. В порыве великодушия он заявил, что поедет с ней до 125-й улицы, но она всю дорогу сердилась, так как боялась неприятностей с контролером. На 125-й он, стоя на платформе, посылал ей воздушные поцелуи и выкрикивал какие-то слова, которые она не могла разобрать сквозь стекло. Она раздраженно покачала головой, но, увидав, как он отшат-

нулся от окна, увидав, какой он беспомощный, растерянный и милый, она неохотно поднесла руку к губам и тоже послала ему воздушный поцелуй. Остальные пассажиры смотрели на нее, она это знала, и, хотя их взгляды были благожелательны, а не насмешливы, все происходящее казалось ей унижительным и пошлым. Когда поезд тронулся и Молодой Человек побежал по платформе, посылая воздушные поцелуи и что-то выкрикивая, она встала, резко отвернувшись от окна и направилась в салон-вагон. Там она опустилась в кресло и заказала виски с содовой.

Несколько мужчин, сидевших в салон-вагоне, одновременно подняли головы, когда она сделала заказ, но, увидав, что все они относятся к категории пожилых дельцов средней руки, которые столь же неизбежны в салон-вагоне, как проводник в белом пиджаке и «Сатердей ивнинг пост» в кожаном переплете, она не удостоила их своим вниманием. Внезапно наступила депрессия и появилось ощущение утраты; это состояние было ей совершенно незнакомо, потому что в нем не было ничего драматичного и ничего приятного. За последние полчаса она ясно поняла, что никогда не выйдет замуж за Молодого Человека и что в ее зыбком будущем не видно ни одного указателя, который помог бы ей выбрать правильный путь. В молодости почти все женщины боятся, что им не удастся выйти замуж, думала она. Страх остаться старыми девами мучает их с самой ранней юности. Даже если они пользуются успехом, им страшно, что они не встретят ни одного действительно интересного мужчину, который увлечется настолько серьезно, что захочет жениться. Даже обручившись, они боятся, что случится какая-нибудь неприятность и помещает им. Когда они все-таки выходят замуж, им кажется, что произошло что-то из ряда вон выходящее, и, хотя после нескольких лет брака весь этот процесс при взгляде назад представляется совершенно естественным и закономерным, они все еще продолжают безотчетно гордиться тем, что с ними произошло подобное чудо. Но в конце концов они полностью изживают свой давний страх и уже не помнят, что когда-то он отравлял им жизнь. Тогда женщины начинают думать о разводе. Как я могла об этом забыть, удивилась она и стала размышлять, что же ей делать дальше.

Она могла снять квартиру в Гринич Вилледже. Встречаться с новыми людьми. Развлекаться.

Но если я приглашу знакомых на коктейль, думала она, неизбежно наступит момент, когда они должны будут уйти; мне

придется остаться одной, и, чтобы никто не чувствовал себя неловко, я буду делать вид, что у меня есть еще какие-то планы. Если я приглашу гостей к обеду, будет то же самое, но мне, по крайней мере, не придется притворяться, что меня где-то ждут. Я буду давать обеды. Но ведь другие тоже будут приглашать меня на коктейль, подумала она, и, приходя одна, я всегда буду немного задерживаться, надеясь, что какой-нибудь молодой человек или даже несколько молодых людей пригласят меня обедать. А если мои надежды не оправдаются и никто меня не пригласит, мне придется с позором уходить одной, притворяясь, что я куда-то спешу. Я буду проводить вечера у себя дома с хорошей книгой, и мне незачем будет ложиться в постель, и, наверное, я буду читать всю ночь напролет. И будут утра, когда мне незачем будет вставать, и, наверное, я буду оставаться в постели до самого обеда. Я буду обедать в кафе вместе с другими одинокими женщинами, потому что в хороших ресторанах женщины без мужчин привлекают общее внимание и кажутся такими несчастными. И потом, мелькнуло у нее в голове, я состарюсь.

Никогда в жизни не решила бы она на этот шаг, с раздражением подумала она, зная, что сжигает за собой все мосты. Никогда она не оставила бы одного мужчину, не найдя другого, готового занять его место. Но теперь она поняла, что Молодой Человек был всего лишь миражем, который она позволила себе принять за оазис.

— Если мужчины нет, необходимость создает его, — прошептала она.

Именно это с ней и произошло. Она стала жертвой обмана. Но если это так, оживилась она, если, нуждаясь во втором, в новом муже, она создала его в своем воображении, вполне вероятно, что под влиянием каких-то бессознательных импульсов она поступила более разумно, чем может показаться. Возможно, что, находясь в состоянии гипнотического транса, она выполняла какой-то ритуал, требующий, чтобы муж был исключен из числа действующих лиц. Кто поручится, что она не предназначена судьбой на роль *femme fatale* *, но в таком случае стремление к безопасности, меры предосторожности против одинокой старости были бы просто лицемерием, если не грубым промахом. Она может выйти замуж второй раз, третий, четвертый или остаться в одиночестве. Но в любом случае для расчетливого мещанского страхования любви с ежедневными взносами терпения, снисходительности

* Роковой женщины (франц.).

и покорности она больше не годилась. Она станет, радостно сказала она себе, демоном-искусителем.

Она была или скоро будет Молодой Женщиной, Разошедшейся с мужем, и в этом положении есть свое очарование. Свидетельство о разводе будет для нее документом, дающим права гражданина мира. Мысленно она благодарила Молодого Человека за то, что, сам того не желая, он помог ей совершить переход к новой жизни. Она оглядела своих спутников. Позднее она с ними заговорит. Оч, конечно, сплзсят, куда она направляется; это обычный способ завязать дорожный разговор. Ответ следует хорошенько обдумать. Сказать без всяких обиняков: «В Рино» — было бы вульгарно, в таком ответе чувствовался бы привкус дешевой откровенности. Но солгать и ответить, например: «В Сан-Францис..о», — значило бы просчитаться, преуменьшить собственное значение, внушить собеседнику, что он имеет дело с заурядной путешественницей, едущей по самым обычным делам. Нужно избрать какую-то среднюю линию: сообщить некоторые сведения, но так, чтобы казалось, будто она ничего не сказала, намекнуть на *vie galante* *, но заставить соблюдать границы. Лучше всего, наверное, сказать: «На запад», — решила она сказать, сначала колеблясь, как бы раздумывая. Затем, когда собеседник станет настаивать, можно рискнуть зайти так далеко, что ответить: «В Неваду». Но не дальше.

ЛОВКАЧ



Чтобы дать мне работу, мистер Шир выставил стенографистку. Тогда я не могла понять, почему он так легко расстался с квалифицированной секретаршей, работавшей за десять долларов в неделю, и взял неопытную помощницу за одиннадцать. Теперь я уверена, что он был должен ей деньги. В то лето она несколько раз появлялась в магазине — неумело накрашенная блондинка в темном платье, которое от жары и сидячей работы собиралось спереди гармошкой. Они о чем-то шептались в первой комнате, потом она уходила. Позднее, расставшись с мистером Широм, я тоже много раз приходила к нему, чтобы получить жалованье. За моим столом сидела

* Легкомысленную жизнь (франц.).

другая девушка, а меня в знак особого расположения принимали во второй комнате, куда допускались только постоянные посетители. Мистер Шир шепотом беседовал со мной и иногда совал мне в руку сложенную в несколько раз пятидолларовую бумажку с таким видом, будто делал что-то неприличное. В результате целого ряда таких посещений мне удалось по мелочам получить все, что он оставался должен, но я была исключением. Обычно, имея дело с кредиторами, мистер Шир всегда поступал одним и тем же образом: отказывался от их услуг. Это прекрасно помогало во всех случаях, кроме тех, когда речь шла о плате за телефон, так как канцелярских магазинов, фотографов и домовладельцев много, а Американская телефонно-телеграфная компания одна.

Мистер Шир вообще был необычайно изобретателен в финансовых делах. Это он научил меня, как бесплатно получить стакан лимонада в душный летний день. Вы подходите к автомату (один из них находился как раз напротив нашего дома) и берете несколько ломтиков лимона, разложенных около крана с чаем для любителей этого напитка. Потом наливаете стакан воды со льдом, выжимаете лимон, находите на одном из столиков сахар, добавляете и размешиваете.

Мистер Шир — высокий мужчина с бесцветными глазами — торговал предметами искусства; у него было два костюма и бесконечное количество забот. В указателе по дому его магазин значился как «Галереи Сэвиля», и множественное число наводило на мысль о бесконечной анфиладе комнат, в которых таинственно поблескивают экспонаты, собранные владельцем. Но, как и самому мистеру Ширу, этой грамматической форме, свидетельствовавшей о фантазии и размахе, не хватало правдивости.

На самом деле «Галереи Сэвиля» состояли из двух небольших комнат, темных и тесных, казавшихся еще более сумрачными из-за тяжелых бархатных портьер бордового и темно-зеленого цвета, которые свисали от потолка до пола, прикрывая унылые конторские стены. В третьей, совсем маленькой комнате портьер не было, и она производила более жизнерадостное впечатление, но эта клетушка считалась служебным помещением — здесь сидели стенографистка и мальчик-негр, служивший рассыльным, тут же хранились канцелярские принадлежности, книга адресов и телефонов выдающихся общественных деятелей, справочник деловой жизни Пура, и здесь же время от времени держали на привязи модель для очередной миниатюры.

Потому что магазин мистера Шира был в некотором смысле единственным в своем роде. В первый день, полная надежд, я с любопытством разглядывала небогатую коллекцию риз, китайских статуэток, часов, бронзы, фигурок из слоновой кости, старого серебра и фарфора, но не нашла ничего, кроме жалких крох, подобранных в аукционных залах на Пятьдесят девятой улице. В углу под стеклянным колпаком лежало несколько гранатовых ожерелий, серьги из кованого итальянского серебра и не внушавшее доверия сапфировое кольцо с камнем, вделанным в старомодную оправу. На стенах висели две выцветшие картины гудзоновской школы и несколько чересчур ярких видов Венеции, которые, как я потом обнаружила, мистер Шир собственноручно подписал первыми попавшимися итальянскими именами. (Он говорил, что в этом нет ничего дурного — покупателю приятнее, когда на картине есть подпись, и, в конце концов, он ведь не приписывал их Рафаэлю.) В то утро, еще ничего не зная о мистере Шире, я вглядывалась в эти потускневшие предметы (я ожидала чего-то более внушительного, более художественного, более содержательного), и слезы выступали у меня на глазах при мысли о том, что мне придется рассказывать об этом жалком месте своим родным и друзьям. И тогда я почувствовала запах.

— Псина, — сказал мистер Шир. — Тут-то и зарыта собака.

Я смотрела на него, широко открыв глаза. Он ушел в служебную комнату и вернулся с футляром, в котором лежала пара хрустальных запонок. Внутри прозрачных камней можно было разглядеть изображение двух крошечных скоч-терьеров.

— Портреты с натуры, — сказал он, — мы делаем их здесь, в галерее. Не так надоело, как монограммы. — Он держал передо мной запонки, чтобы я могла хорошенько их рассмотреть. — Разве не великолепная работа? — спросил он. Его глаза загорелись, когда он произнес эти слова. — Посмотри на шкуру. Можно разглядеть каждый волосок.

Мистер Шир рассказал мне, что художник, нарисовавший скоч-терьеров, был довольно пожилым человеком, французом по национальности; перед войной он сделал портреты-миниатюры всех собак кайзера — достижение, о котором мистер Шир никогда не забывал упомянуть, диктуя мне деловые письма. Я не представляла себе, как много это для него значит, пока однажды не посоветовала выбросить историю о кайзере

из письма с очередным необычайно выгодным предложением. Это был единственный случай, когда мистер Шир на меня рассердился. В тот день я поняла, что он относится к мсье Равассу иначе, чем к другим своим помощникам, — старается ему угодить, платит жалованье, выслушивает его брань, просит у него совета — не только из уважения к его талантам. Все, что делал мсье Равасс, действительно приводило мистера Ши́ра в восторг, каждая запонка, каждая брошь казались ему чудом. Но я боюсь, что еще большее чудо произошло с самим мистером Ши́ром; поддавшись чарам собственного красноречия, он перестал отделять мсье Равасса от кайзера.

Во всяком случае, выражаясь юридически, мсье Равасс и впрямь был нашим единственным достоянием, и в то жаркое лето, когда я работала в «Галереях Сэвиля», мистер Шир занимался главным образом тем, что выколачивал заказы на хрустальные запонки с изображением собак. Это было не такое уж выгодное дело, к тому же достаточно хлопотливое, но ничем другим нам не удавалось соблазнить состоятельных людей Лонг-Айленда, Нью-Джерси, Адирондэкса и Канады, считавших себя бедняками. В письмах, которые я писала под диктовку мистера Ши́ра, все наши предложения выглядели как «необычайно выгодная сделка», «самопожертвование фирмы», «исключительный случай», «прекрасное помещение капитала, особенно в наше время». Но богатые люди редко нам верили. Сколько бы ни повторял мистер Шир, что «такая возможность вряд ли представится еще раз», этот довод производил впечатление, только когда дело касалось собак. Гобелен семнадцатого века мог подождать до лучших времен (если они когда-нибудь наступят), его покупку можно отложить и в крайнем случае немного переплатить. Но собаки умирают, да и пожилой художник, родившийся как-никак при Луи Наполеоне, тоже не вечен. Поэтому, поддавшись на уговоры мистера Ши́ра «воспользоваться этим исключительным стечением обстоятельств», некоторые соглашались поторопиться.

За лето у нас перебивало несколько бедлингтонских терьеров, один карликовый скоч-терьер, два голубых терьера, три-четыре немецкие овчарки и даже одна чи-хуа-хуа, которую мистер Шир считал самой неинтересной моделью из-за ее крошечных размеров. Кроме того, велись напряженные переговоры с некой дамой, владевшей тридцатью одним карликовым спаниелем, но мистер Шир никак не мог договориться с ней о цене (она считала, что такое количество собак дает

ей право на скидку), и от сделки, в конце концов, пришлось отказаться.

С собаками из Лонг-Айленда или Нью-Джерси дело обстояло довольно просто. Их приводили, они позировали несколько часов и отправлялись домой до следующего сеанса. Разумеется, миниатюру хоть раз приходилось переписывать заново, так как владельцам всегда казалось, что их любимцам не воздали должное, но это было не так уж трудно. Настоящие неприятности начинались, когда мы получали заказы из дальних штатов. Собак отправляли к нам поездом в клетках, и они прибывали, одичав от голода. Владельцы, конечно, договаривались с проводниками, и те обещали позаботиться о кормежке, но, насколько нам было известно, никогда этого не делали. Мы вносили клетку в служебное помещение, открывали дверцу, животное пулей вылетало наружу и вцеплялось мне в ногу. Один черный скоч-терьер вырвался из клетки как пушечное ядро и бешено метался по комнате все то время, пока жил у нас. Обычно собаки оказывались в таком плохом состоянии, что, прежде чем заставить их позировать, приходилось обращаться к ветеринару. Со скоч-терьером так ничего и не получилось. Мы долго держали его у себя, безуспешно пытаясь привести в нормальное состояние, и, только когда он укусил рыжеволосую любовницу мистера Ши́ра, мы отослали его хозяину, который даже собирался подать на нас в суд за то, что произошло с его собакой.

Но, несмотря на неизбежные трудности, постоянное напряжение, расходы, запах и незначительную прибыль, в моей комнате почти всегда обитала какая-нибудь собака, питавшаяся самым лучшим собачьим мясом, в то время как мистер Шир обходился без обеда. К концу лета запах псины настолько смешался с затхлым запахом старых бархатных портьер, с ароматами, исходившими от цветного мальчика и от двух задубевших от пота костюмов мистера Ши́ра, что мы сами насквозь пропитались ее запахами и даже за стенами галереи, на улице, несли с собой присущий ей дух.

О доходах не было и речи. Даже с заказами на запонки нам не удавалось остаться при своих. Придя на работу на второе утро, я увидела приземистого человека с каким-то значком, вешающего объявление на нашу дверь. В объявлении было написано: «Сегодня аукцион».

Я достала ключ и осторожно сказала:

— А я и не знала, что назначен аукцион.

— В самом деле? — спросил человек. — Может быть,

у вас найдется сорок три доллара восемьдесят пять центов? — Он ткнул мне какую-то бумагу.

— Вы хотите сказать, что надо заплатить долг?

— Не разыгрывай меня, сестренка, — сказал человек. — Я судебный исполнитель.

Я торопливо начала говорить, что мистер Шир наверняка ничего об этом не знает, что произошла какая-то ошибка, что он через минуту будет здесь сам и что судебный исполнитель должен дожидаться его прихода. Но в холле появился еще один человек и стал помогать прикреплять объявление; судебный исполнитель вместо ответа отделивался шутками, обращаясь главным образом к своему помощнику, который находил их очень забавными. Я прошла в свою комнату, положила голову на машинку и заплакала.

В ту же секунду судебный исполнитель оказался рядом со мной и, наклонившись, положил руку мне на плечо.

— Бог с тобой, не плачь, сестренка, — сказал он. — В чем дело? Ты что, влюблена в этого типа?

— Нет, — всхлипывала я.

— Он тебе что, родственник?

— Нет.

— Господи боже, чего ж ты тогда плачешь?

— Я не привыкла, чтобы со мной так разговаривали.

Он в изумлении опустил руку. Потом отошел и снял объявление.

— Ты думаешь, этот тип заплатит?

— Да.

— Ну, ладно. Смотри, чтобы не позднее четырех деньги были у меня в конторе.

Они ушли и унесли объявление.

В двенадцать часов мистер Шир осторожно проскользнул в комнату. Я ожидала, что он разделит мое негодование и станет возмущаться произволом закона, но ему, видимо, оказалась ближе точка зрения судебного исполнителя. Он удивленно выслушал мой рассказ, с облегчением рассмеялся, несколько раз пожал мне руку и сказал, что из меня получится прекрасная секретарша.

— Но вы должны сейчас же отнести деньги, — сказала я.

— Конечно, — уклончиво ответил он.

Тем не менее я пилила его, пока он не начал звонить кому-то по телефону, плотно закрыв за собой дверь служебной комнаты. Потом он ушел; судебный исполнитель больше не появлялся, так что, видимо, мистер Шир заплатил долг.

Мистер Шир часто вспоминал о визите судебного исполнителя. Наверное, он считал этот эпизод поворотным пунктом своей карьеры. Как я потом узнала, он ждал его прихода и пытался всюду, где только можно, достать денег, но у него ничего не вышло. Поэтому он появился только в двенадцать часов: мистер Шир не любил встречать опасность лицом к лицу. Он заранее смирился с потерей магазина и с неизбежной в таких случаях потерей репутации. Он уже чувствовал себя осужденным, отброшенным назад в мрачное небытие, из которого когда-то выбрался, ему уже казалось, что он снова погружается в мир теней, где публичная распродажа, банкротство и тюрьма не считаются позором. Он уже выслушал приговор — и вдруг узнал, что в одиннадцатом часу каким-то чудом его помиловали. Ему, так сказать, дали еще один шанс, а вместе с ним пришло второе дыхание, и он без труда, с помощью нескольких телефонных звонков добился того, чего не мог добиться неделями, — разрешения отложить уплату долга в 43 доллара и сколько-то центов. После этого случая мистер Шир стал еще настойчивее подчеркивать свою респектабельность, потому что перестал бояться, что, попав в капкан, не сумеет из него выбраться.

Какими бы непривлекательными и нелепыми ни казались «Галереи Сэвиля» придирчивым знатокам, для мистера Шира в этих комнатах с темными драпировками, фарфоровыми чайниками, статуэтками, свисавшими с потолка засаленными ризами, маленькими стульями в стиле рококо и мягким бархатным диваном воплощались сразу две мечты. Еще мальчиком, живя на Западе, мистер Шир, как он сам говорил, любил собак и культуру. Когда-то, в Сан-Франциско, он служил у одного богатого человека; на его обязанности лежал уход за собаками и поливка газона около дома, за что ему время от времени разрешали полюбоваться роскошной библиотекой хозяина, в которой, как он восклицал, не утратив прежнего благоговения, были собраны «все эти замечательные произведения Шекспира и *vice versa*» *. И сейчас он по-прежнему считал, что самый естественный и короткий путь к культуре — это собаки, поэтому дисгармония между потрепанной роскошью окружающей его обстановки и прозаичностью его живого товара не вызывала у него ни малейшего смущения.

Он начал свою карьеру бутлегером вскоре после введения «сухого закона». Наверное, попал в тюрьму (его рассказы

* Наоборот (латин.).

о прошлом всегда были расплывчаты и противоречивы); так или иначе он оставил винный промысел и стал помощником ветеринара. Проработав некоторое время гонщиком на собачьих бегах, он купил небольшой собачий питомник и незадолго до нашего знакомства сделал следующий шаг вперед, перейдя от торговли собаками к торговле их изображениями. Он случайно познакомился у себя в питомнике с мсье Равассом и загорелся его идеей открыть новое ювелирное дело, занявшись главным образом хрусталем. Но хрусталь говорил его воображению гораздо меньше, чем стенные часы, резная слоновая кость, церковная утварь, каминные доски с китайским орнаментом и другие эффектные и причудливые вещи непонятного назначения, обычно захламляющие ювелирные магазины, поэтому вывеска «И. Ф. Шир, ювелир» незадолго до моего появления сменилась вывеской «Галереи Сэвиля». Галерея оказалась самым невыгодным из его начинаний, но самым дорогим его сердцу. Торгуя предметами роскоши, мистер Шир проявил завидное рвение и достиг наконец такого положения, когда «настоящие люди», с которыми он до тех пор поддерживал только отношения продавца и покупателя, могли бы стать его деловыми знакомыми, если бы он уговорил их стать его покупателями.

Ибо, любя культуру, мистер Шир не забывал о деньгах, и ему не всегда удавалось отделить одно от другого (владельцем пресловутой библиотеки был человек богатый). Иногда даже трудно было сказать, любил ли он культуру как принадлежность богатства или бескорыстно ради нее самой. Мистер Шир питал слабость к изобразительному искусству, к длинным словам и ко мне, но не потому ли, что надеялся с моей помощью, а также с помощью изобразительного искусства и длинных слов стать преуспевающим джентльменом? Не знаю. Он так и не научился правильно употреблять длинные слова и до конца своих дней с трудом отличал Челлини от Ремингтона, но даже в этом отсутствии вкуса сказывалась его искренность.

Он по-настоящему гордился своими сокровищами, восхищаясь всем подряд без разбора. Если ему нечего было делать, он прогуливался по галерее, разглядывая экспонаты. Когда ему хотелось поделиться своими восторгами, он звал меня и, указывая на какую-нибудь картину с изображением канала или зеленой листвы, восклицал:

— Разве это не прекрасная живопись! — Или о вазе: — Подойдите поближе, мисс Саржент, посмотрите на эту глазурь.

В его собственных владениях ему все казалось прекрасным.

Мистер Шир необычайно ценил всякого рода хитроумные поделки: коробочки с двойным дном, часы с кукушкой, овальные миниатюры школы Буше, под которыми, если нажать кнопку, можно было увидеть порнографическую сцену. Ему нравились статуэтки, внезапно извергавшие струи воды, викторианская керамика — какие-нибудь кувшины, напоминающие птичьи гнезда, с птичкой, которая хватала клювом монетку и отдавала ее обратно, если нажать на рычажок. Но вершиной хитроумия был для него великий *trompe-d'oeil* * самого искусства, благодаря которому нарисованный канал был похож на настоящий, а фигура из бронзы походила на человека. Современное искусство, в том числе и прикладное, не вызывало у него никакого интереса (хотя он знал, что это модно); его удивляло и огорчало, что кто-то может сделать настольные книгодержатели, похожие просто на книгодержатели. Сама идея функционализма вызывала у него отвращение, потому что он воспринимал искусство как некий блестящий мошеннический трюк, и мастер, не сумевший так или иначе обмануть публику, был для него кем-то вроде предателя или злого штрейкбрехера.

Мальчик-негр, работавший у нас, обладал более тонким вкусом; в нашем маленьком служебном помещении мы с ним образовали лигу знатоков и вершили суд над новыми приобретениями. Но критические замечания — исходили ли они от меня, от мальчика-негра, от другого дельца или от покупателя — только раздражали мистера Ши́ра. Они казались ему изменой его делу и самому искусству. Он видел в них что-то неестественное и всегда подозревал какие-то скрытые мотивы. Другой делец, несомненно, пытался его задушить из соображений конкуренции; мальчик-негр позволял себе вольности, потому что ему не платили жалованье; покупатель вообще не любит вещей такого рода, а я — девица, окончившая колледж и помешанная на современном искусстве.

Возможно, что восприятие мистера Ши́ра было продиктовано гордостью собственника — все его сокровища были частями его «я», одинаково дорогими его сердцу. Действительно, довольно часто, когда мы шли с ним по Пятьдесят седьмой улице и видели какой-нибудь гобелен, по-моему, точно такой же, как наш, мистер Шир останавливался и доказывал, что его гобелен лучше. Правда, доказывал с некоторым раздра-

* Обман (франц.).

жением, потому что в глубине души он понимал, что гобелены ничем не отличаются друг от друга.

Но если даже в мистере Шире говорила гордость собственника, то этим он был обязан только своему воображению, потому что никакой собственности у него не было. Как я обнаружила, ни одна из выставленных в магазине вещей не принадлежала мистеру Ширу, а что касается декоративного искусства, то за всю свою жизнь он никогда не владел ничем более ценным, чем булавка для галстука.

Его галерея была забита вещами, полученными на неопределенный срок от владельцев других магазинов, это был товар, взятый «под расписку». Кое-что ему предлагали добровольно — какой-нибудь делец, у которого случайно оказалась вышедшая из моды мраморная статуэтка, полученная, скажем, в счет уплаты за крупную покупку, обещал мистеру Ширу комиссионные за ее продажу, так как не мог сбыть эту вещь никому из своих клиентов. Кое-что попадало в магазин в результате более сложных маневров. Услышав, что у кого-то есть прекрасный нефрит, мистер Шир говорил, что один из его клиентов как раз интересуется камнями. Владелец передавал ему нефрит, и мистер Шир немедленно выставлял его у себя. Потом он водил за нос хозяина камня, ссылаясь то на одно обстоятельство, то на другое, пока вместо вымышленного покупателя не появлялся настоящий. Если же настоящий покупатель так и не находился, мистер Шир в конце концов возвращал нефрит, но обычно проходило довольно много времени, прежде чем он признавал себя побежденным. С помощью таких уловок ему удавалось держать в магазине множество самых разнообразных вещей. Обычное стремление торговцев окружать свои дела тайной и прибегать к всевозможным хитростям было только на руку мистеру Ширу. Каждый из тех, с кем он имел дело, считал, что он один пользуется «Галереями Сэвиля» как дополнительным рынком сбыта. Торговцы с Пятьдесят девятой улицы необычайно удивились бы, узнав, что вопреки своим собственным намерениям дали мистеру Ширу возможность держать конкурирующий с ними магазин.

Что же касается самого мистера Ширы, то он так тщательно опутывал свои дела густой паутиной лжи, что из всех связанных с ним людей только мальчик-негр, на обязанности которого лежала доставка товаров в магазин и покупателям, догадывался о правде. Как и все предыдущие открытия, связанные с мистером Широ, мое последнее открытие тоже было сопряжено с неприятностями и произошло случайно. Мистер

Шир не отличался откровенностью; все, что он рассказывал о себе по собственной инициативе, обычно не представляло интереса или не соответствовало действительности. Он вообще фанатически боялся правды; ему казалось, что сказать правду — когда бы то ни было, кому бы то ни было, по какому бы то ни было поводу — это значит подвергнуться серьезной опасности, поэтому любой факт, даже самый незначительный, если только это действительно факт, лучше скрыть, ибо факты обладают огромной взрывчатой силой. Работая у него, я, например, не знала, где он живет. Вечером он исчезал, утром появлялся. Если он опаздывал, покупатели и кредиторы вынуждены были его ждать, и мне каждый раз приходилось им объяснять, что связаться с ним по телефону невозможно. Потом я часто поддразнивала его за эту скрытность, а он в ответ рассказывал мне какую-нибудь историю. То он говорил, что у него была женщина, о чем я догадывалась; то — что он скитался по дешевым гостиницам и ночлежкам и стеснялся сказать об этом, что казалось мне вполне правдоподобным; то утверждал, что спал на диване в магазине, и это была правда, потому что как-то летом, когда он проспал, я застала его там, потного, в измятых шортах. Но все эти объяснения — вместе и по отдельности — ни в чем меня не убеждали. Может быть, одно из них или даже все они были правдивы, но за ними крылось что-то еще.

Пока я работала у мистера Ши́ра — мысленно я теперь называю это время периодом дохождений в стиле бульварных романов, — я, в сущности, ничего не знала о галерее. Все свои открытия я сделала уже под конец. Может быть, сумей я вовремя отказаться от мысли, что мистер Шир обыкновенный делец, попавший в затруднительное положение, мне было бы легче понять, что происходит вокруг меня.

Все началось с телефонных звонков какого-то человека по фамилии Бирман, для которого мистер Шир всегда отсутствовал, но которому всегда просил передать несколько слов, столь почтительных и в то же время бессодержательных, что было ясно: Бирман — это особый случай, может быть, кредитор, но, во всяком случае, не из тех, кто обивает пороги.

— Скажите, что я позвоню ему через час, — неизменно шептал мне мистер Шир, а выходя, как он говорил, на несколько минут, не забывал напомнить: — Если будет звонить Бирман, скажите, что я позвоню ему через час.

Мистер Шир ни разу ему не позвонил, а Бирман со дня

на день беспокоил нас все чаще и чаще, пока его звонки не начали раздаваться каждые пятнадцать минут, так что я не могла больше повторять эту бессмысленную фразу и мне пришлось попросить мистера Ши́ра или изменить ее, или вообще ничего не передавать, или поговорить с Бирманом, который становился все более и более раздражительным. Но мистер Ши́р отказался. Он считал, что таким образом проявляет свое уважение к Бирману. Не передать ничего — все равно что указать человеку на дверь. Кроме того, это словосочетание обладало в его глазах некой чудодейственной силой, чего я не знала, пока не познакомилась поближе с мистером Ши́ром и с его манерой вести дела. Обещания мистера Ши́ра чем-то напоминали бумажные деньги, выпускаемые по мере надобности без всякого обеспечения: он раздавал их, не заботясь о последствиях и тем более о ценности. В этом отношении мистер Ши́р отличался от обычных должников, которые под давлением обстоятельств дают обещания вместо чека, нисколько не обманывая самих себя относительно смысла этой замены, но рассчитывая обмануть кредитора; мистер Ши́р обманывался сам и нисколько не заботился о кредиторе. К тому же он обещал золотые горы не только кредиторам. Мистер Ши́р раздавал обещания направо и налево с щедростью убежденного филантропа. Он был готов почти даром достать мне горностаевую накидку (в которой мне некуда было пойти). Ему ничего не стоило познакомить Элмера, нашего мальчика-негра, с человеком, который устроит ему выступление в кабаре клуба хлопководов (Элмер был серьезным мальчиком и не умел танцевать). Никакой реальной стоимости его обещания не имели. Их ценность была в другом. Они служили чем-то вроде приводных ремней, соединяющих действительный мир с миром вымыслов, в котором жил мистер Ши́р, это была электростанция грез, дававшая ток механизмам, поддерживавшим его существование. Поэтому одна и та же фраза, которую я без конца повторяла по его поручению, успокаивала мистера Ши́ра в такой же мере, в какой бесила Бирмана.

Когда Бирман начал кричать на меня и, что, по мнению мистера Ши́ра, было еще хуже, упоминать о юристе, ему пришлось все-таки отказаться от своего магического заклинания. Он увел меня в дальнюю темную комнату, усадил на обитую бархатом кушетку и с трогательно-мрачным видом объявил, что хочет открыть одну тайну. Бирман был ювелиром, сказал он, и речь шла о брильянтах. Его рассказ постепенно обрастал подробностями и становился все более запутанным, в течение

нескольких следующих дней мне пришлось выслушать несколько различных вариантов, но в одном я не сомневалась: Бирман был ювелиром, и речь шла о брильянтах.

Я знала это наверняка, потому что, когда дело еще только начиналось, я разговаривала с самим Бирманом у него в конторе.

Но, может быть, даже сейчас я проявляю излишнюю самоуверенность, потому что, как мне ни неприятно, я хорошо помню, с помощью какого трюка мистер Шир оттянул расплату с одним из своих кредиторов. Он взял у некой женщины, торговавшей, как и он, предметами искусства, бронзовую скульптуру, изображавшую сцену соколиной охоты, и попросил «Абернети и Рича» выставить ее в той же витрине, где они выставляли различное охотничье снаряжение. С их помощью он продал эту вещь какому-то спортсмену из Лонг-Айленда. К тому времени, когда миссис Мартино, так звали женщину, захотела получить деньги, они были уже поделены между домовладельцем, хозяином магазина канцелярских принадлежностей, фотографом и телефонной компанией. Мистер Шир не отрицал, что продал бронзу, но говорил, что ему еще не заплатили. В течение нескольких месяцев это удерживало миссис Мартино на почтительном расстоянии, но в конце концов она начала проявлять неприятную настойчивость, и мистер Шир понял, что настало время действовать. Он пошел к «Абернети» и попросил разрешения воспользоваться одним из их служебных помещений, «чтобы побеседовать с клиентом». Они предоставили ему комнату, на двери которой висела табличка «Вице-президент». Мистер Шир договорился с миссис Мартино о встрече и пришел немного раньше вместе с одним знакомым, старым водевильным актером. Актер спрятал шляпу и сел за конторку. Когда появилась миссис Мартино, мистер Шир представил своего знакомого как мистера Брауна от «Абернети», и тот, пользуясь изысканным языком времен шотландских баронов-охотников, объяснил ей, что ее вещь продана одному престарелому и весьма почтенному клиенту, который занимается сче-тами один раз в год; английская система, понимаете ли, мы не можем торопить такого человека. На миссис Мартино, испанку по происхождению, это произвело настолько сильное впечатление, что прошло шесть месяцев, прежде чем она снова явилась к «Абернети» и сказала, что хотела бы увидеть мистера Брауна. Тогда мистеру Ширу пришлось немедленно заплатить ей деньги, правда, на следующий день он одолжил у ее мужа половину того, что отдал ей.

Но Бирман, наверное, существовал на самом деле, потому что в предстоящем разговоре роль подставного лица должна была играть я.

Мистер Шир утверждал, что взял брильянты у Бирмана, чтобы показать их своему приятелю, какому-то повесе по фамилии Кэри. Но Кэри, собиравшийся купить их для хористики, которую он содержал, исчез вместе с брильянтами, так и не успев прийти к какому-нибудь решению. Передача другому лицу драгоценностей, полученных под расписку, считается преступлением, поэтому надо было во что бы то ни стало удержать Бирмана от официальных действий, пока мы не разыщем Кэри. Я должна была явиться к Бирману и, разыграв роль богатой вдовы, купившей брильянты у мистера Ши́ра, сказать, что я смогу за них заплатить лишь после того, как мне в очередной раз выплатят дивиденды.

— А если он захочет на них посмотреть? — спросила я.

— Скажите, что вы отправили их домой в Питтсбург, чтобы заменить оправу.

— Но разве я похожа на богатую вдову?

— Вы рано вышли замуж, — настаивал мистер Шир. — Неужели вы хотите, чтобы я попал в Синг-Синг?

Мне все-таки удалось убедить его, что в роли богатой вдовы я вряд ли могу рассчитывать на успех у Бирмана. Но я сказала, что готова пойти к нему и от своего собственного имени сказать правду, чтобы добиться небольшой отсрочки. Мистер Шир в конце концов согласился, взяв с меня слово, что я не назову Кэри. Я должна была просто сказать, что камни отданы для замены оправы и что произошла не зависящая от нас задержка.

Когда я уже уходила, у мистера Ши́ра появилась еще одна идея. Он попросил меня сказать Бирману, что в случае осложнений он сможет его компенсировать, так как у его матери есть брильянт, который стоит дороже всех камней Бирмана, вместе взятых, и он готов телеграфировать в Калифорнию, чтобы она выслала его Бирману в качестве обеспечения.

— А у вашей матери действительно есть брильянт? — спросила я, с удивлением услышав, что у мистера Ши́ра есть мать.

— Конечно, — с раздражением ответил он.

Но больше мистер Шир никогда об этом брильянте не заговаривал. Не знаю, из уважения ли к его матери или к его воображению, ни Бирман, ни я, как ни сильно было искушение, ни разу не напомнили ему об этом обещании.

В маленькой конторе позади ювелирного магазина я рассказала Бирману — низенькому человеку с седой головой — придуманную мистером Широм историю, завершив ее фантастическим описанием сказочного брильянта в Калифорнии. Я не надеялась его убедить. Но когда я кончила, мне показалось, что он мне поверил. Не столько, конечно, моим словам (вряд ли он был так наивен), сколько тому, что лежало за ними, — желанию покончить дело миром. После этой встречи мне впервые пришло в голову, что мистер Шир хорошо относится ко мне и изредка платит мне жалованье не потому, что он, как я иногда думала, был снобом и считал меня леди, и не потому, что ему хотелось приблизиться к культуре и он считал меня образованной женщиной, а просто потому, что среди его окружения я была единственным человеком с правдивым лицом.

Мне удалось провести судебного исполнителя, я уладила Бирмана, и скоро я уже выполняла самые сомнительные поручения, пока мистер Шир отсиживался в «Галереях Сэвиля», зная, что в моей честности никто не усомнится. Теперь не он, а я добивалась кредита у торговцев, я расплачивалась по счетам, я шла на Мэдисон-авеню, зажав под мышкой одни из наших часов, и обходила подряд все ювелирные магазины, стараясь раздобыть наличные деньги. И когда нужно было, сидя в какой-то темной комнате, снятой на час в подозрительной гостинице, показывать крошечного — восемь на десять — Рембрандта, наверняка краденого, как я теперь думаю, это тоже делала я, и, пока какие-то скользкие личности, приходившие в строго назначенное время, разглядывали картину, мистер Шир сидел в стенном шкафу и ждал результатов.

Конечно, для того, чтобы приносить ему пользу, я должна была верить, что чеки не поддельные, что Рембрандт подлинный и приобретен законным путем, что если история, которую я рассказала Бирману, была выдумкой, то настоящая история, рассказанная мне, была все-таки правдой, не вызывающей сомнений. И в этом состояла главная сложность для мистера Ши́ра: держа меня в неведении (что было довольно трудно, поскольку я вела все его дела), он рисковал своим положением, так как, допустив какой-нибудь грубый промах, я могла навлечь на него серьезные неприятности, но, сказав правду, он развратил бы меня, лишив той искренней серьезности, которую никогда не удастся подделать. Под конец он понял, что это противоречие неустранимо. Но на протяжении всего лета его мозг лихорадочно работал и в служебное и в неслу-

жебное время, потому что каждый свой обман он должен был продумывать в двух вариантах: в одном для кредиторов и в другом для меня.

Оглядываясь теперь назад, я понимаю, что в случае с Бирманом Кэри был персонажем, выдуманным для домашнего употребления. Он наверняка существовал только в воображении мистера Шира, потому что, когда дело с брильянтами подошло к развязке, ни о каком Кэри даже речи не было, и за все годы знакомства с мистером Широм я ни разу не видела его и ничего не слышала об этом, как он говорил, повесе, который занимал такое большое место в моей жизни в то лето. В разделе хроники его фамилия мне тоже никогда не попадалась.

Я вернулась из магазина Бирмана, горя желанием взяться за дело.

— Прежде всего, — сказала я, — нужно немедленно найти Кэри.

Мистер Шир, как мне показалось, отнесся к этой идее со странным равнодушием. До него доходили слухи, в конце концов пробормотал он, что девчонку, которую содержал Кэри, видели в Атлантик-Сити.

— Значит, мы должны сейчас же справиться о нем в Атлантик-Сити, — решительно заявила я. — Как вы думаете, в какой гостинице он мог остановиться?

Мистер Шир назвал гостиницу, и я позвонила туда по междугородному телефону. Среди проживающих в этой гостинице Томас Кэри не значился. Я позвонила во второй, в третий отель, но Томаса Кэри нигде не было. Мистер Шир тоже увлекся поисками, и мы вместе обзвонили все гостиницы в Атлантик-Сити, но по-прежнему безрезультатно. Тогда я вспомнила, что в детективных романах мужчины, отправляющиеся с девицами на морской курорт, часто останавливаются в гостиницах под чужими фамилиями, сохраняя только свои инициалы, чтобы запись в регистрационной книге соответствовала пометкам на их багаже. Я предложила поискать человека с инициалами «Т. К.». Мистеру Ширу страшно понравилась эта идея, и мы снова звонили по всем телефонам, но в некоторых гостиницах клерки отказывались выполнить нашу просьбу, а в других мужчины, бравшие трубку, возмущались и негодовали, когда мистер Шир спрашивал, не говорит ли он с мистером Кэри. Правда, мистер Шир уверял, что ни один из тех, с кем он разговаривал, не был похож по голосу на его приятеля. На это ушла вся вторая половина дня, и мы оба не заметили,

как пролетело время: я — потому что увлеклась ролью проницательного и ловкого сыщика, мчащегося по горячим следам за беглецом, а мистер Шир — потому что любые мистификации доставляли ему удовольствие и поиски воображаемого Кэри были для него приятным отдыхом от повседневных забот.

Но его настроение изменилось, когда я сказала, что, хотя нам не удастся найти Кэри, мы все-таки на верном пути и надо попытаться разыскать девушку. Я спросила, как ее зовут. Но мистер Шир не ответил на мой вопрос.

— Знаете, мисс Саржент, — сказал он, поднимаясь, — мне пришло в голову, что, действуя таким образом, мы напрасну тратим время. Самое лучшее — это обратиться к детективу. Пожалуй, я сейчас выйду и поговорю с О'Бэнноном. Если будет звонить Бирман, скажите, что я позвоню ему через час.

Он приподнял шляпу, задержался, как всегда, у двери, оглядывая коридор, и вышел.

О'Бэннон, друг мистера Шири, был частным детективом, которого хорошо знали в торговых кругах, так как у него под началом состояла отборная команда штрейкбрехеров, готовых явиться по первому зову, но впоследствии он заслужил еще более громкую славу, попав в тюрьму за попытку ограбить районного прокурора во время расследования какого-то политического дела. Я видела его один или два раза, когда он ждал мистера Шири; это был низкорослый, коренастый человек, страдавший плоскостопием, с черной сигарой во рту и в сдвинутой на затылок шляпе. Когда он сидел в красном бархатном кресле, угрожающе поглядывая на поблескивавшие на стене ризы, его откровенно профессиональная внешность придавала нашей первой комнате особенно мрачный вид. (В первой комнате всегда кто-нибудь сидел и ждал мистера Шири: серебряных дел мастер, занимавшийся подделками, какая-то темная личность, торгующая сведениями о лошадях на ипподроме, перекупщик пишущих машинок, мужской портной, профессиональный игрок в карты и, конечно, рыжеволосая пьянчужка Билли, любовница мистера Шири. Он держал их там часами, а сам тем временем болтал со мной в служебном помещении, или звонил по телефону, или «выходил на минутку» по каким-то таинственным делам. Решившись, наконец, кого-нибудь принять, он входил к ним и знаком приглашал пройти во вторую комнату с тем успокаивающим, заискивающим и в то же время несколько садистским видом, который бывает у зубного врача, приглашающего пациента пройти в

кабинет. Но хотя О'Бэннон внешне не очень отличался от наших обычных посетителей, он не принадлежал к числу за-всегдатаев.)

Начиная со следующего дня наступило затишье: предполагалось, что О'Бэннон разыскивает Кэри. Но через некоторое время Бирман начал звонить снова, и скоро его сменил юрист, говоривший более учтиво, отчего его слова производили еще более зловещее впечатление. О'Бэннон не мог похвастаться никакими успехами. Мне стало по-настоящему страшно; мистер Шир ходил как в воду опущенный, нос заострился, на осунувшемся лице, в бледно-зеленых глазах светилось отчаянье. Мы перестали писать письма и не делали никаких попыток спасти галерею. Я приносила на работу том Пруста, а мистер Шир проводил целые дни, безучастно листая книгу адресов и телефонов выдающихся общественных деятелей. Но, наконец, однажды утром он сообщил новость: О'Бэннон выследил девушку. Сам Кэри, как говорил О'Бэннон, бесследно исчез. Брильянты лежат у девушки в целости и сохранности, и она готова с ними расстаться, если ей уплатят пятьсот долларов.

— Они с Кэри поссорились, — сказал мистер Шир. — Девушка утверждает, что Кэри должен ей деньги, и она держит брильянты в качестве обеспечения.

— Но ведь они ей не принадлежат, — воскликнула я. — Она должна немедленно их вернуть.

Мистер Шир печально покачал головой.

— Обыкновенный грабеж на большой дороге, — ответил он с покорностью человека, достаточно повидавшего на своем веку.

— Я бы не давала ей денег, мистер Шир, — горячилась я, — где вы возьмете пятьсот долларов?

Я прекрасно понимала, что, если бы у мистера Шира было что-нибудь, что можно продать, он бы уже давно это сделал.

— Есть, например, эта бронза, — задумчиво сказал он.

— Какая бронза?

— Ну, та самая, «Последний лагерь Кастера»*, — сердито буркнул он.

Я ничего не знала об этой бронзе, и меня очень удивило, что у мистера Шира есть какая-то вещь, связанная с историей Америки. Вообще ему нравились пышные украшения в европейском вкусе, и в то время, как всякий другой делец такого

* Дж. А. Кастер (1839—1876) — американский генерал, погибший во время экспедиции против индейцев; место его последней стоянки превращено в национальный заповедник.

ранга выставил бы на самом видном месте портрет Линкольна или покрывало времен войны за независимость с изображением континентального конгресса, мистер Шир по каким-то причинам избегал патриотических тем и отзывался с презрением даже о серебряных изделиях Поля Рэвера. Но я еще не знала, что мистер Шир с готовностью торговал всем, что так или иначе попадало ему в руки. Время от времени он продавал собак, а в тот день, когда я показывала в гостинице Рембрандта, мне были даны полномочия предложить за тысячу долларов автомобиль «изотта — фраскини». И конечно, если только мистер Шир говорил правду, он пытался продать брильянты Бирмана.

Мальчик-негр куда-то сбегал, и, когда он вернулся с огромной бронзовой скульптурой, изображающей высокого американца в ковбойской шляпе с ружьем, стоящего на холме в окружении похожих на дервишей индейцев, я поняла, что в этой группе есть какое-то удалство, которое должно было привлекать мистера Шира. Но я не могла себе представить, чтобы кто-нибудь захотел ее купить. Я ошиблась.

Мистер Шир позвонил Капорелло, маленькому белолицему итальянцу, который занимался подделкой серебряных изделий и проводил все свое свободное время у нас в галерее.

— Что это вы собираетесь делать? — спросила я. — Ему понадобится слишком много времени, чтобы изготовить копию, и откуда вы знаете, что он станет возиться с бронзой?

Мистер Шир был недоволен моей непочтительностью к бронзе, потому что как раз в эту минуту бронза вызывала у него восхищение.

— Капорелло как-то говорил, что, наверное, сумеет продать эту вещь, — коротко ответил он.

Когда итальянец явился, мистер Шир увел его в дальнюю комнату; через некоторое время Капорелло ушел, но потом вернулся снова, мальчик-негр завернул скульптуру в коричневую бумагу, отнес ее в лифт и вместе с Капорелло поставил в такси, после чего Капорелло уехал и три дня не показывался на глаза.

— Удрал в Италию, не иначе, — уныло твердил мистер Шир, ходя взад и вперед по комнатам, и каждый раз, когда он произносил эту фразу, мы оба начинали хохотать. Потому что мистер Шир обладал чувством юмора, причем довольно своеобразным — больше всего он ценил мрачные шутки, — и, если ему в изящной форме преподносили очередной неприятный сюрприз или подобные сюрпризы начинали следовать

один за другим, он был вполне способен смеяться над самим собой. Смерть всегда вызывала у него приступ веселости, и даже когда он сообщал вам, что такого-то или такого-то постиг «ужасный конец», вы видели, какого труда ему стоило сохранить маску серьезности, и почти слышали переливы смеха, готовые вырваться у него из горла. Однажды он рассказал мне о смерти своего близкого друга.

— Он был пьян, — сказал мистер Шир, — и нырнул в бассейн... — Пауза, взрыв смеха. — А там не было воды! — Мгновенно опомнившись, он прибавил: — О мисс Саржент, это был ужасный конец. Он сломал себе шею.

В другой раз, несколько лет спустя, зайдя как-то к нему в контору, я увидела, что он трясется от смеха.

— Знаете, что случилось? — спросил он. — Мой лучший покупатель только что приказал долго жить.

В одной из его самых веселых историй рассказывалось о смерти богатого старика, фабриканта мыла («Мисс Саржент, он был мне все равно что родной дядя»), который провел свой последний час в какой-то гостинице на Бродвее, подписывая чеки двадцати или тридцати рослым блондинкам из ревю, выступавшего в ресторане «Рейнбау», а те, окружив его смертное ложе, помогали ему держать вечную ручку в слабеющей руке.

Наш меланхолический смех достиг в конце концов угла, где сидел Элмер, мальчик-негр, проводивший день за днем в печальных размышлениях о неполученном жалованье и о полевом бинокле, который он хотел купить для работы в лагере вневойсковой подготовки.

— Мистер Шир, — шепотом сказал он, — вы беспокоитесь насчет Напорелло? Я тоже никогда ему не доверял, из-за этого я записал номер машины, когда ставил к нему в такси нашу бронзу.

Мы жили в обстановке детективного романа, это повлияло на всех нас.

Мистер Шир был необычайно горд сообразительностью Элмера.

— Молодец, негр, — сказал он.

В ту субботу он даже заплатил ему жалованье, но страшно возмутился, узнав, что Элмер истратил его на покупку полевого бинокля, и поэтому долгое время опять ничего ему не платил.

— Этот негр играет на моих чувствах, — заявил он. — Мне хотелось помочь его бедной матери — старуха занимается стиркой.

Мы без труда разыскали водителя такси, которого так поразили размеры «Последней стоянки Кастера», что он тут же вспомнил, как он возил Капорелло к «Тимпени». Мы позвонили к «Тимпени» и выяснили, что маленький итальянец продал им бронзу и должен на следующий день получить чек. Мистер Шир вполне мог обойтись без посторонней помощи, но ему хотелось, как он сказал, «немного позабавиться», поэтому он велел О'Бэннону подежурить около «Тимпени» и схватить Капорелло, как только тот выйдет из магазина. Бедняга Капорелло дрожал, как старый наркоман, когда его под конвоем доставили в галерею. Он получил сто долларов комиссионных и, не помня себя от радости, выскочил за дверь, а мистер Шир и О'Бэннон уселись на диване и хохотали до упаду.

Теперь, достав деньги, мистер Шир мог просто пойти к девушке и выкупить брильянты. Но как ни измучили его тревоги и заботы, он все-таки не мог отказаться от своих обычных приемов.

— Во-первых, — заявил он, — нужно захватить с собой О'Бэннона; во-вторых, кто-то должен изображать владельца брильянтов.

— Но почему? — допытывалась я.

— Вы не знаете, как делаются эти дела, — ответил он.

В конце концов мистер Шир решил, что его подруга Билли, полнотелая одутловатая дама с претензиями на светскость, вполне подойдет для этого спектакля, и всю вторую половину дня он просидел в дальней комнате, разучивая с ней роль. Было решено, что на следующее утро они втроем — О'Бэннон, Билли и мистер Шир — встретятся с девушкой у нее в квартире.

Эпопея подходила к концу. Я испытывала такое глубокое чувство облегчения, что, прежде чем пойти обедать, угостила Билли двумя коктейлями.

Но здесь опять, как в случае с Капорелло, маленькие человеческие слабости чуть не разрушили хитроумный план, придуманный мистером Широм. Без десяти десять О'Бэннон позвонил и сказал, что он болен и не может приехать из Флэтбуша. Мистер Шир отправился на поиски другого детектива, а тем временем раздался еще один телефонный звонок, и юрист сообщил, что он собирается в два часа быть в полицейском суде и потребовать ордер на арест мистера Ширы.

— И я его получу, — злорадно добавил он.

Мистер Шир, наконец, вернулся с высоким седоволосым детективом, уверявшим, что он знает девушку по делу Старра

Фейсфула, и с еще одним детективом-негром, который никого ни в чем не уверял и только необычайно подозрительно смотрел на Элмера. В эту минуту мы заметили, что Билли тоже не явилась. Детектив-негр в конце концов нашел ее в квартире какого-то летчика, но она еще не проспалась. Пока мы ее ждали, я рассказала мистеру Шире о двух рюмках коктейля.

— Ужасная ошибка, мисс Саржент, — сказал он мрачно, — но вы не могли этого знать. Два месяца у нее не было во рту ни капли спиртного, в трезвом состоянии она настоящая леди.

В час дня они все сидели в такси; Билли с остекленевшими глазами раскачивалась из стороны в сторону, повиснув на руке детектива-негра, и пыталась вспомнить свои реплики, а мистер Шир уговаривал ее их забыть.

— Только не раскрывай рта, Билли, — повторял он. — Когда мы туда придем, хватай стул и садись.

Юрист Бирмана уже подъезжал к полицейскому суду, когда вся эта компания ворвалась в квартиру на одной из пятидесятих улиц и увидела маленькую курносую блондинку в тонком шелковом халатике, которая лежала на кровати, подтянув колени к самому подбородку. Блондинка с визгом принялась их уверять, что она передумала, что пятьсот долларов — это слишком мало и что она никогда в глаза не видела мистера Ширы. Детектив-негр стащил ее с постели, взвалил себе на плечо и заявил, что отправляется в полицейский участок на Пятьдесят второй улице. Билли совсем развезло. Девушка начала вырываться, халатик соскользнул сначала с одного плеча, потом с другого и, наконец, упал на пол. По знаку седовласого детектива негр отпустил ее, мистер Шир вынул деньги, и девушка, совершенно голая, плача, нырнула под кровать, где на пыльном полу валялось, наверное, не меньше дюжины пар туфель. По словам мистера Ширы, она рыскала среди них, как маленький мопс, наугад хватая то одну туфлю, то другую, и со злостью вытаскивала из них чулки. Одновременно с чулками появились брильянты, кольца, браслеты, булавки и клипсы. Зрелище этих богатств привело мистера Ширу в такое возбуждение, что он не мог сразу вспомнить, какие из брильянтов принадлежат Бирману. Он как во сне взял несколько камней, негр подхватил Билли, совершенно потерявшую способность двигаться, и они удалились, оставив девушку, которая сидела на полу в позе молящегося индуса и обливалась слезами над кучкой брильянтов.

— Я так растерялся, — рассказывал потом мистер

Шир, — что, пока мы не вышли из дома, даже не сообразил, что надо было забрать все, что там валялось.

Он сокрушенно улыбнулся и покачал головой.

Прошло около месяца, и как-то утром в галерею вошел невысокий человек со сломанным носом.

Я почти забыла о Бирмане. Мистер Шир вернул брильянты, и несколько дней мы только и делали, что обсуждали эту историю, как будто она доставила всем нам массу удовольствия. Но потом с Запада прибыл нервный терьер немецких кровей, и снова началось изготовление хрустальных запонок. А если с каким-нибудь делом было покончено, то уже навсегда. Мы больше никогда не встречались с людьми, которые были с ним связаны, и ничего о них не слышали. Мистер Шир обладал способностью наглухо запирать какие-то уголки своей души, подобно тому как на подводной лодке задраивают отдельные отсеки, чтобы сохранить жизнь в остальных. Это производило настолько ошеломляющее впечатление, что начинало казаться, будто события, в которых вы лично участвовали, вам просто приснились, что не только Кэри был выдумкой, но и девушка тоже, и даже брильянты. Но тут происходила осечка.

В то время я предпочитала не подвергать сомнению слова мистера Ши́ра; мне было приятнее верить, что он, сам того не подозревая, попал в безвыходное положение и с моей помощью честно преодолел все трудности, чтобы больше никогда не оступаться. Я изо всех сил старалась удержать его на стезе добродетели и охраняла его с такой воинственностью, так бдительно и так настойчиво, как будто он был пьяницей, бросившим пить. И как подобает жене пьяницы, я излучала оптимизм и благопристойность.

В то утро мистер Шир куда-то вышел, но, увидав человека со сломанным носом, да еще одетого в клетчатый костюм, я тут же решила, что это не покупатель, а кто-то из его друзей. Владелец клетчатого костюма сказал несколько ласковых слов Элмеру, окинул оценивающим взглядом наши сокровища и спросил, как идут дела. Я ответила, что дела идут хорошо, и, считая бодрый тон своей неременной секретарской обязанностью, добавила:

— Мистер Шир недавно продал несколько вещей!

— Да неужто? Сам-то я торгую собаками, уже давно, с тех пор, как ушел с ринга. Теперь никто не покупает собак, даже странно, что кто-то вообще что-то покупает.

В его словах было столько скептицизма, что я замолчала и начала печатать письмо. Мне было слышно, как он продолжал настороженно ходить по комнатам.

— Скажите-ка, вы не знаете, тут у него была одна бронзовая вещь. Такая большая, «Последняя стоянка Кастера», куда она делась?

Элмер отчаянно закашлялся у себя в углу.

— Конечно, знаю, — сказала я, радуясь, что ступила на безопасную почву, — она продана, и уже давно.

— Здорово! Надеюсь, он получил за нее кругленькую сумму.

— Довольно большую, — согласилась я.

Он почти сейчас же ушел, попросив, чтобы мистер Шир ему позвонил. Я продолжала печатать одно из наших обычных писем («Мне хотелось бы, чтобы вы одним из первых увидели гобелен, только что полученный мной из-за границы. Прилагаю фотографию, которая дает, конечно, весьма отдаленное представление о красоте оригинала. Это замечательный образец средневекового искусства...»), и тут из угла донесся слабый голос Элмера:

— Мисс Саржент, я думаю, мне лучше вам сказать. Бронза принадлежала этому человеку.

Мои руки застыли на клавишах.

— Ты думаешь, мистер Шир продал ее и не дал ему знать?

Элмер кивнул.

— Это очень худо, — продолжал он, — нельзя было так делать. Он выступал на соревнованиях в полусреднем весе.

Услышав новость, мистер Шир ни в чем не упрекнул меня.

— Это должно было случиться, — сказал он.

Но ему нужно было немедленно заплатить деньги, и не шестьсот долларов, которые он получил за «Последнюю стоянку Кастера», а восемьсот, поскольку бывший участник соревнований в полусреднем весе оценил принадлежавший ему шедевр именно в эту сумму.

— Элмер боится, что он вас изобьет, — сказала я.

— Не изобьет, — успокоил меня мистер Шир, и задумчивая улыбка осветила его бледное заострившееся лицо. — Знаете, мисс Саржент, странная вещь, сколько я ни мошенничал, никто меня ни разу пальцем не тронул. Почему бы это, как вы думаете?

— Не знаю, мистер Шир, — ответила я печально.

Наконец это слово было произнесено. Отчасти я была да-

же благодарна ему за то, что он сказал правду, но то, что это произошло случайно и никак не задело его самого, произвело на меня удручающее впечатление; как будто это «мошенничал» было чем-то совершенно естественным, чем-то само собой разумеющимся. Созданный мной образ исправившегося, переродившегося мистера Шира распадался у меня на глазах по мере того, как я все яснее понимала, что ни о каком исправлении не могло быть и речи, потому что для исправления не было почвы, потому что, иначе говоря, мистеру Ширу просто нечем было торговать. Я поняла, в чем состояла трагедия его деловой жизни: нетерпеливые кредиторы все время вынуждали его продавать чужие вещи ниже их стоимости. В случае с Бирманом, чтобы выйти из положения, ему пришлось продать за шестьсот долларов бронзовую скульптуру, стоившую восемьсот; чтобы компенсировать убыток, понесенный на бронзе, он продал за восемьсот долларов гобелен, стоивший тысячу, из-за этого ему пришлось отдать чашу, оцененную в тысячу двести долларов, за тысячу, и так без конца — каждый раз, когда он продавал какую-нибудь вещь, он не только рисковал попасть в тюрьму, но и терял деньги. В действительности деньги терял, конечно, не мистер Шир (у него их просто не было); в убытке — теоретически — всегда оставался последний кредитор, и, если бы цепь долгов когда-нибудь вдруг оборвалась, потери кредитора, оказавшегося последним, равнялись бы сумме потерь всех его предшественников. Но мистер Шир не допускал даже мысли о том, что цепь может оборваться, наоборот, он мечтал о времени, когда, заключив «настоящую сделку», он сможет регулировать ее натяжение по своему усмотрению. Пока же он цеплялся за нее, как за спасательный круг.

— Мне бы только держаться на две головы впереди шерифа, и все в порядке, — говорил он.

Но я не верила в «настоящую сделку», и шериф, по-моему, явно вырывался вперед. Домовладелец, телефонная компания, торговцы канцелярскими принадлежностями не давали нам вздохнуть. Элмер не получал жалованья; он сидел в своем углу мрачный и, наверное, голодный. Галерея была забита вещами, которыми никто не интересовался и которые мы все равно не имели права продавать. У Билли был запой, и каждые пятнадцать минут она звонила по телефону, грозя покончить жизнь самоубийством. Наигранная жестокость мистера Шира («Ну что ж, Билли, рад услышать эту новость, я устрою тебе роскошные похороны») напоминала мне о сцене, которую я старалась забыть: маленькая белая курносая хористка с плачем

вырывается из рук детектива-негра. Было жарко, собачья клетка стояла нечищенная, и я думала, что мне, пожалуй, пора уходить.

Но откуда мистер Шир возьмет восемьсот долларов, чтобы расплатиться за бронзу? Я решила подождать, пока он выпутается из этой истории, и потом уйти.

Мистер Шир ходил взад и вперед перед многостворчатой ширмой из японского шелка, на которой была изображена сцена охоты на оленя. Когда-то это была одна большая портьера, но он собственноручно разрезал ее на несколько панно, чтобы, как он сказал, не занимать так много места. В отличие от остальных наших вещей ширма даже в покалеченном виде представляла настоящую ценность, и в течение всего лета мы просили за нее тысячу двести долларов.

— Если я уступлю ее за восемьсот, — задумчиво сказал он, — миссис Ла Плант ухватится за нее руками и ногами.

Миссис Ла Плант, владелица карликовых спаниелей, была вдовой директора театра; у нее всегда был такой вид, будто ей предстояло пройти таможенный осмотр. Она обожала делать покупки, и торговцы завалили ее вещами; она носила двенадцать колец, пять-шесть ниток бус, прикалывала на воротник и на рукава куски дорогих кружев и надевала по две меховые накидки в самый жаркий летний день. Мистер Шир мог бы продать ей все, что находилось в галерее, если бы только решился это сделать, продать и по-прежнему выставлять у себя, потому что предыдущие покупки не оставили в доме миссис Ла Плант ни дюйма свободного места, и теперь, купив какую-нибудь вещь, она просто оставляла ее в магазине и время от времени заходила полюбоваться на свое новое приобретение.

В сущности, эта толстая старая дама была прекрасной клиенткой. Она приглашала всех и каждого в свой комфортабельный дом в Лонг-Биче, где гости ели и пили сколько душе угодно и плавали в бассейне, когда им хотелось освежиться. В начале лета мистер Шир провел у нее несколько уикендов, и тогда-то начались эти бесплодные переговоры о хрустальном ожерелье с изображением карликовых спаниелей. Но внезапно он перестал у нее бывать, и, хотя миссис Ла Плант без конца звонила и приглашала его, он неизменно отказывался, пряча в глазах голодную тоску.

Вначале я думала, что это просто каприз, и пыталась его уговаривать. Но он заявлял, что миссис Ла Плант интересуется только дешевыми покупками; делец, который что-нибудь ей продает, всегда остается в убытке. Я напоминала ему о бес-

платном столе и винах, но он отвечал, что в доме миссис Ла Планта слишком много народу. Конечно, миссис Ла Планта была «такой привлекательной штучкой», что ее обхаживало не так мало людей, но главная причина, как я начала понимать, заключалась в том, что мистер Шир был довольно робким человеком. Он избегал незнакомых людей, особенно большого общества, и размах нашей корреспонденции показывал, что он предпочитал обращаться к клиентам письменно, хотя в торговых делах разговор по телефону или личное общение гораздо более эффективны. Еще больше его устраивало, если переписку с клиентом вел кто-нибудь другой, и тогда сделки заключались практически без его участия. Мистер Шир считал меня превосходной стенографисткой прежде всего потому, что я сама составляла его письма. До моего появления он обычно прибегал к помощи двух престарелых журналистов из «Кантри лайф», диктовавших его секретарше описания новых вещей, напоминая, как я обнаружила из подшивок, отчеты о спортивных состязаниях. «Это чемпионка», — говорилось в одном из писем о ценной фаянсовой вазе.

И все-таки я не могла поверить, что мистер Шир перестал бывать у миссис Ла Планта только потому, что боялся встреч с другими рыцарями торговли. Быть может, произошло какое-то *quid pro quo* *, и он защищался не менее отважно, чем Ипполит.

В его лице, несомненно, было что-то стоическое, когда он в пятницу одолжил у меня деньги на железнодорожный билет и отправился в Лонг-Бич.

Мистер Шир вернулся в понедельник, у него были ввалившиеся глаза. Его сопровождали два хорошо одетых молодых человека с безупречными манерами.

— Это Фрэд, мисс Саргент, а это Эрнест, — сказал он. — Они меня привезли на автомобиле.

Не знаю почему, мне показалось, что они похожи на наемных стражей.

— Я продал ей ширму, — объявил мистер Шир, когда мы остались вдвоем, — но, знаете мисс Саргент, ноги моей больше там не будет. Я ни на минуту не сомкнул глаз.

Я не ответила. Я знала, что у него не было другого выхода, но не могла подавить отвращения.

— О мисс Саргент, это было ужасно, — продолжал он, глубоко вздохнув.

* Недоразумение (латин.).

— Можете не трудиться рассказывать, — сказала я раздраженно.

— Вы хотите сказать, что и так поняли? — спросил он.

— Что поняла?

— Что это за молодые люди.

В доме миссис Ла Планта, как поведал мне мистер Шир, последнее время властвовали три молодых человека — портной-модельер, обойщик и агент по продаже недвижимости, — которые занимались тем, что выкачивали из нее деньги, причем гораздо успешнее своих многочисленных предшественников. Мистер Шир познакомил меня с обойщиком и агентом. Раньше никому не удавалось выдерживать беседы с миссис Ла Планта больше одного уикенда, а эти три молодых человека спокойно жили в ее владениях, занимались шитьем, вязаньем и играли с карликовыми спаниелями. Их нельзя было назвать платными компаньонами в обычном смысле слова, потому что они держались как добрые друзья. Миссис Ла Планта называла их своими дорогими мальчиками, а они считали, что старая дама является их безраздельной собственностью, и отстаивали свою точку зрения с такой настойчивостью, что для всякого постороннего посетителя уикенд превращался в пытку. Один ювелир нашел у себя в постели ужа, меховщику незаметно подсыпали в стакан слабительного, мистера Шира выкупали в плавательном бассейне в одном из его двух костюмов — и миссис Ла Планта непрерывно заливалась смехом.

— Мальчики возвращают мне молодость, — говорила она мистеру Шир.

Один за другим торговцы отступились от нее; мистер Шир оказался настойчивее, но и его хватило ненадолго.

— Это такие мелочные людишки, мисс Саржент, и такие хитрецы, — жаловался он. — Мне просто больно видеть, как они грабят эту беззащитную старую даму.

Когда мальчики начали требовать комиссионные за каждую покупку, которую делала миссис Ла Планта, мистер Шир сдался.

В тот уикенд его подвергли особенно изощренной пытке. Дом миссис Ла Планта был битком набит мальчиками и их приятелями, так что ему пришлось спать в одной комнате с Фредом, обойщиком.

— На одной кровати? — спросила я.

Мистер Шир мрачно кивнул:

— Я боялся закрыть глаза.

Две ночи он лежал на краешке матраса, сжавшись в ко-

мок, и настороженно следил за обойщиком, который ворочался с боку на бок. Утром, когда мистер Шир засыпал, Фрэд впускал в комнату спаниелей. Собаки вскакивали на постель, и мистер Шир с громкими стонами просыпался. Тогда появлялась миссис Ла Планта в халате, отороченном мехом, и спрашивала, правда ли, что его мучает нечистая совесть.

— Я больше никогда к ней не поеду, — повторял он, и в тот день я застала его спящим на бархатном диване во второй комнате.

Но, наверное, миссис Ла Планта чувствовала себя одиноко в обществе одних только мальчиков. Через несколько дней она позвонила и сказала, что у нее есть новое предложение: рисовать спаниелей группами. Перед такой приманкой мистер Шир не мог устоять. В тот же вечер он уехал в Лонг-Бич. Потом он провел там два уикенда подряд. В доме было по-прежнему полно народа. Он выразил готовность спать на кушетке в гостиной, но от его жертвы вежливо отказались, и после каждой поездки мистер Шир несколько дней подряд дремал после обеда на нашем заплесневелом диване. Что, впрочем, не имело никакого значения, так как все это время у нас не было ни одного клиента, кроме миссис Ла Планта.

Стояла такая жара, что даже кредиторы стали менее назойливы. От безделья мистер Шир начал раздумывать, нельзя ли как-нибудь обойти мальчиков. Он уже не считал эту задачу невыполнимой. Первое, что ему пришло в голову, это подружиться с ними. По его мнению, их союз вполне можно было расширить. Двумя неделями раньше они казались ему невыносимыми созданиями, теперь он был склонен проявить большую терпимость. В конце концов, как говорил он, не их вина, что они родились такими, а не другими. Мистер Шир бросился в атаку, и в результате его успешных маневров деловая жизнь в «Галереях Сэвиля» оказалась полностью парализованной. Мальчики заполнили все помещение, они смеялись над выставленными вещами, звонили по междугородному телефону всем своим знакомым на атлантическом побережье и терзали Элмера непристойными предложениями. Каждый раз, когда они появлялись в городе, их нужно было приглашать на обед, причем непременно к Майяру или Шрафту. Дело кончилось тем, что маленький обойщик, с которым мистер Шир делил постель, украл у меня из сумочки пять долларов, и я сказала мистеру Ширу, что он должен решить: я или они. Мистер Шир довольно безразлично посоветовал мне не обращать внимания на такие мелочи, но постепенно и сам охладел к мальчикам,

потому что независимо от моего к ним отношения стало очевидно, что его наступательная операция ничего не дала. Мальчики использовали свою осведомленность в делах мистера Шира главным образом для того, чтобы снабжать миссис Ла Плант новыми документально подтвержденными сплетнями. Мимолетное знакомство с Капорелло, который снова начал осторожно наведываться в галерею, дало им повод заявить, что мистер Шир занимается подделкой серебра и все его серебряные изделия — копии. (Насколько я знаю, это было не так. Мистер Шир действительно часто сам устанавливал авторство или время создания вещи. Иногда он долго ходил с прищуренными глазами перед какой-нибудь японской лакированной шкатулкой, как будто о чем-то с ней беседовал, и, наконец, с просветленным лицом восклицал, возможно специально для меня, а может быть, только для себя:

— Ба, да ведь это период Хэйан!

С этой минуты вопрос считался решенным. Но подобное злоупотребление собственной проникающей способностью не имело ничего общего с ремеслом Капорелло. Мистер Шир не прикасался к современным копиям серебра времен королевы Анны, которые от случая к случаю приносил ему итальянец, — ко всем этим кофейникам или высоким пивным кружкам с искусно подделанными старыми пробами.

— Можете думать что хотите, мисс Саргент, — сказал он мне однажды, — но я никогда до этого не унижусь.

Очевидно, существовала какая-то моральная граница, не видимая простым глазом, преступать которую он считал для себя невозможным, и я несколько раз больно задевала его самолюбие, прежде чем научилась ее различать.)

Во всяком случае, чем теснее становилась дружба мистера Шира с мальчиками, тем холоднее относилась к нему миссис Ла Плант. Это заставило его задуматься. Он решил последовать примеру своих новых друзей и поступить с ними так же, как они поступали с ним. Он подружился с владельцем одного ночного клуба, который когда-то работал вместе с покойным мистером Ла Плантом, и уговорил его посетить миссис Ла Плант, чтобы произнести следующую речь:

— Миссис Ла Плант, до меня дошел слух, что вы дружите с Фредом таким-то, Эрнестом таким-то и еще одним типом из той же компании. Миссис Ла Плант, я едва поверил собственным ушам, когда мой друг, мистер Шир, сообщил мне об этом прискорбном факте. Мистер Шир, конечно, слишком неопытен, чтобы заподозрить мальчиков в чем-нибудь дурном.

Он рассказал мне о вашей дружбе просто к слову. Но я-то достаточно опытный человек. Я слышал об этих людях, и я говорю вам: Питер Ла Плант перевернулся бы в гробу, если бы узнал о том, что происходит. Послушайте, миссис Ла Плант, это же настоящие выродки, это же гомосексуалисты!

Владелец ночного клуба действительно поехал в Лонг-Бич и честно выполнил поручение. К сожалению, из-за одного пустяка вся эта затея полностью провалилась — миссис Ла Плант не знала, что такое гомосексуалист, и, как потом сказал этот человек, объяснять такие вещи даме ее возраста бесполезно. Мистер Шир сдался. От ожерелья с портретами спаниелей снова пришлось отказаться, и у нас опять все замерло.

Примерно в это время выключили телефон. Своими междугородными переговорами мальчики нанесли ему *coup de grâse* * Мы обходились без телефона, расширив переписку, чтобы как-то компенсировать свою недосыгаемость. Но через десять дней кончилась бумага, а без оплаты прежнего счета никто больше не хотел печатать наших бланков. Мы оказались совершенно отрезанными от внешнего мира, и, хотя мистер Шир нашел в конце концов писчебумажный магазин, где ему согласились предоставить бумагу в кредит, прошла неделя, прежде чем были готовы новые бланки, целая неделя полного безделья: стоял уже сентябрь, но в помещении было так жарко, что нельзя было даже читать. Когда бланки, наконец, появились, мистер Шир нашел, что они худшего качества, чем прежние, тем не менее он собирался извлечь из них все, что можно. Я как раз начала писать новую серию писем, когда пришел какой-то человек и унес пишущую машинку.

Машинка казалась мне неременной и постоянной принадлежностью галереи, но она тоже была чужой. Мистер Шир взял ее напрокат в каком-то агентстве.

Я решила уйти. Я была лишена возможности выполнять свои обязанности; кредиторы сделали меня недееспособной. Работа у мистера Шира превратилась в роскошь, которую я не могла себе позволить. Он уже довольно давно не платил мне жалованья, и пятицентовые и десятицентовые монеты то и дело перекачивали из моей сумочки к нему, а от него в телефон-автомат в вестибюле нашего дома. Не говоря уже о том, что мы с ним так подружились, что я не могла уйти в шесть часов из галереи, зная, что ему не на что пообедать. Поэтому обычно, если никто из нас не получал дру-

* Последний удар (франц.).

гих приглашений, он обедал за мой счет. Мистер Шир знал наперечет все рестораны с табльдотами, где можно пообедать за 85 центов. За едой он рассказывал мне о своем прошлом. Только много времени спустя я узнала, каким счастливым он чувствовал себя все это ужасное лето. Но тогда он вызывал у меня жалость, хотя это естественное чувство было мне явно не по средствам. В любом случае, говорила я себе, его крах — это только вопрос времени, и как бы там ни было, я не хочу, чтобы расправа произошла у меня на глазах.

Но после того как мы расстались, я часто заходила к мистеру Ширу и по-прежнему находила на месте и его и Элмера, и только за моим столом, как я уже говорила, сидела другая девушка, за другой пишущей машинкой. Я всегда просматривала указатель по дому, чтобы убедиться, что «Галереи Сэвиля» все еще существуют. Довольно долго они действительно продолжали существовать, но однажды, всего через несколько дней после моей последней встречи с мистером Широм, они исчезли из указателя; новый адрес не сообщался. Спасательный круг, видимо, не выдержал.

Но оказалось, что это еще не конец. Примерно через год я случайно встретила мистера Шира в более просторном и богатом магазине, полускрытом в пассаже на Сорок седьмой улице. На нем был все тот же костюм, и его новая галерея казалась увеличенной копией прежней. Он взял с собой Элмера и бархатные портьеры — бордовые и зеленые; комнаты были темные, и на стенах поблескивали, казалось, те же ризы. Мне бросилось в глаза несколько скульптурных изображений лошадей, которых раньше не было, и новая любопытная коллекция парных «кресел любви» эпохи Людовика Пятнадцатого, взятых, как он сказал, напрокат на каком-то театральном складе.

Я поздравила его с новыми приобретениями.

— Меня со дня на день должны выселить, — прошептал мистер Шир.

Но настроение у него было превосходное. Он вытащил из кармана пачку судебных повесток с таким видом, будто вынимал чековую книжку. Повесток было, наверное, не меньше двадцати.

— Боюсь, что на этот раз они меня сцарапают, — сказал он, придавая своему лицу то похоронное выражение, которое, по его мнению, приличествовало человеку, попавшему в столь

затруднительное положение. — Говорят, мне лучше объявить о банкротстве. Но как раз сейчас я ни за что не хочу этого делать. Видите скульптуры лошадей? — Я кивнула. — Это замечательное дело, мисс Саржент, даже не сравнить с собаками. Я завязал столько интересных знакомств, и мне совсем не улыбается попасть сейчас под суд. Вы знаете, мисс Саржент, если кое-что выйдет наружу... Ничего особенного, как вы понимаете, но...

— Конечно, — сказала я.

Через два дня мистер Шир попал в тюрьму. Он позвонил мне оттуда и попросил одолжить сто долларов. От него потребовали оплаты судебных расходов, связанных с возбужденным против него делом, и, так как он не смог этого сделать, шериф арестовал его за неуважение к суду.

Я сказала, что у меня, к сожалению, нет ста долларов.

— Я так и думал, мисс Саржент. Мне просто пришло в голову, что вам будет интересно узнать обо всем этом. Тут есть люди, которые сидят уже много лет. По большей части дела об алиментах. Очень занято.

Я сказала, что, если он может подождать один день, я попытаюсь собрать деньги.

— Не стоит, — ответил он неуверенно. — Мне не хочется этого делать. Когда человек проводит ночь в тюрьме, на нем все равно остается клеймо...

На следующий день его выпустили. В тюрьме мне сказали, что долг был уплачен в три часа утра. Я побежала в роскошную новую галерею, но его там не оказалось. Перед домом стоял мебельный фургон, двери галереи были распахнуты, и почти все, что висело на стенах, уже вынесено. В пустых комнатах звонил телефон. Окрыленная бессмысленной надеждой, я подбежала и сняла трубку, в моем сознании успела промелькнуть мысль, что в эту отчаянную минуту по мановению свыше может вдруг состояться «настоящая сделка», которая спасет его. Но я услышала лишь сладкий голосок девушки из телефонной компании: она звонила, чтобы напомнить об уплате по счету. Я сказала, что передам мистеру Ширу и что это просто какая-то ошибка. Я ждала весь день, пока не унесли последнюю знакомую вазу и не забрали кресло, на котором я сидела, но мистер Шир не появился, и никто не знал, где он.

Несколько лет спустя, когда я однажды вечером выходила из театра, какой-то человек тронул меня за локоть. В прикосновении было что-то вороватое, и я с возмущением обернулась. То, что я увидела, было апофеозом мистера Ширы —

передо мной стоял высокий цветущий мужчина, хорошо подстриженный и хорошо одетый, источающий тонкий аромат дорогих кароновских духов «Pour l'homme» *. Его преуспевание было в глаза, и я невольно подумала, что он вернулся в тот таинственный темный мир, из которого когда-то вышел. Мне стало грустно при мысли о его моральном падении, хотя я почувствовала облегчение от сознания, что теперь он, по крайней мере, не должен больше выбиваться из сил.

Но, порывшись в нагрудном кармане, мистер Шир вручил мне визитную карточку, на которой я прочла фамилию вполне уважаемого антиквара, и под ней мелкими буквами: «И. Ф. Шир, уголок спортсмена».

И это была истинная правда. В двенадцать часов ночи он повел меня осматривать магазин, где у него был личный кабинет, обшитый сосновыми панелями, с уютным гнездышком для секретарши тут же, рядом, и двумя комнатами, заполненными самыми разнообразными предметами — деревянными и бронзовыми скульптурами, гобеленами, вазами, урнами, шелковыми панно и ширмами, кольцами и серьгами, настольными книгодержателями и дверными ограничителями, — связанными с одной и той же темой: спорт в веках. В одной из комнат стояла персидская лошадь, вроде той, которую позднее показывали на большой персидской выставке, а под стеклянным колпаком лежал золотой критский кинжал с изображением охоты на кабана. На средневековых гобеленах и японской перегородчатой эмали были запечатлены различные охотничьи сцены, и огромная современная бронзовая скульптура представляла состязание борцов.

— У меня есть все, кроме рисунков из египетских гробниц, — радостно прошептал он.

И это тоже была правда. Он действительно почти исчерпал предмет. Но больше всего меня поразило то, что его экспонаты стояли, видимо, довольно дорого и не вызывали подозрений. Я верила в персидскую лошадь, я почти поверила в кинжал. Мистер Шир провел меня в основную часть галереи, производившую еще большее впечатление своей в меру подчеркнутой изысканностью. Здесь были собраны самые разнообразные вещи: мистер Шир показал мне обеденный сервиз, принадлежавший Францу-Иосифу, несколько медальонов Пизанелло с портретами семьи Эсте, старинные четки и prie-dieu, которой, как он говорил, пользовалась королева Елизавета.

* Для мужчин (франц.).

И при всей разношерстности этих предметов они были так удачно расставлены, что галерея ничем не напоминала аукционный зал или комиссионный магазин. Когда осмотр закончился, мистер Шир с гордостью продемонстрировал мне свою одежду, которая тоже была «настоящей», — костюм от Триплера, рубашка от Маклафлина, галстук от Салки и даже носки из магазина Сэкса на Пятой авеню.

И все-таки в этом ночном посещении темной галереи, освещенной только рефлекторами, бросающими свет на гобелены и золотистые лакированные панели, и в самом мистере Шире, который пробирался на цыпочках по ворсистому ковру из комнаты в комнату, было что-то такое, что заставляло меня, идя за ним по пятам, чувствовать себя злоумышленницей. Все время, пока он рассказывал, как ему удалось занять такое положение, как «Галереи Эрмитажа» вытащили его из грязи и поставили за прилавок, как он продавал и продавал и, наконец, получил в свое распоряжение целый отдел, а в недалеком будущем собирается стать компаньоном в деле, — все это время меня не оставляло ощущение незаконности нашего вторжения, и я ждала, что вот-вот раздастся стук ночного сторожа и нам прикажут удалиться.

Эпопея его восхождения казалась мне совершенно фантастической и, судя по возбуждению, с которым он говорил о своих успехах, ему, наверное, тоже. Позднее, когда я увидела при дневном свете, как он обхаживает покупателей, доверительно беседует с владельцами магазина, уверенно распоряжается девушками из конторы, я уже могла поверить тому, что произошло: мистера Шири взяли на это место, потому что по-своему он был, конечно, пионером: он первым начал продавать старинные вещи владельцам собак и лошадей, которые при обычных обстоятельствах не переступили бы порога антикварного магазина. Хрустальные запонки с изображениями собак помогли ему создать новую клиентуру, которую он увлек за собой по великой дороге открытий. И его клиентов — таких же неискушенных в тайнах антикварной торговли, как он сам, — привлекали в нем именно эти черты первооткрывателя. «Неужели этот человек сумеет одурачить нас, как, судя по слухам, дурачат покупателей другие антиквары? — наверное, спрашивали они себя. — Для этого он слишком невежествен, слишком прост, слишком похож на нас самих».

Но мистер Шир не понимал причин своего успеха, и от этого ему было не по себе. Я видела в ту ночь, что он тоже чувствовал себя браконьером в этом заботливо ухоженном за-

погедники культуры, и сознание, что он проник туда, не имея на это никаких прав, возвышало его в собственных глазах и в то же время унижало. Он сказал, что оставляет спортивный отдел; ему уже поручили договориться о продаже гобелена, сделанного по рисунку Рембрандта, в ювелирном отделе его ждет Челлини, в отделе бронзы Вероккио и Донателло. А впереди, возможно, еще более крупные сделки. Вот Херст, например, купил содержимое нескольких комнат за раз. Или этот тип, который разбогател, продав коллекцию Романовых... Но чем больше великих имен он называл, тем мрачнее становился его голос. Новые товары создавали новые проблемы. В спортивном отделе он чувствовал почву под ногами. В конце концов, не так трудно указать стати гончей. Но в чем, собственно, заключаются стати Челлини?

Он попросил меня заняться его образованием.

В ту ночь я согласилась давать ему уроки правильной английской речи и искусствоведческого жаргона, хотя в глубине души чувствовала, что, если он когда-нибудь научится обращаться свысока со своими покупателями, его карьера будет кончена.

К счастью для мистера Шира, он не принадлежал к ученикам, делающим гигантские успехи. Мы занимались во время обеда, за ужином, в театре, а иногда в темной пустой галерее поздно вечером или днем в воскресенье. Я пыталась объяснить ему, что такое византийский стиль или барокко, но скоро увидела, что он интересуется главным образом искусством на низывания прилагательных превосходной степени, подходящих для описания его товаров. Мистер Шир считал, что гораздо важнее научиться правильно произносить слово Longchamp*, чем усвоить части речи.

Я начала понимать, что ему нужны от меня вовсе не уроки английского языка, а что-то другое.

Когда мистер Шир поднялся на самую верхнюю ступеньку своей деловой карьеры и стал одним из компаньонов, исполнилась, наконец, его честолюбивая мечта: он завоевал право входить в дома богатых людей как гость, через парадную дверь. Вначале его приглашали только на холостяцкие вечеринки с приезжими дельцами со Среднего Запада, но вскоре он начал бывать в Эйкене, Палм-Биче и на Лонг-Айленде, когда там устраивались большие приемы. Как ни жаждал он этих приглашений, они доставляли ему удовольствие, только пока

* Местность вблизи Парижа, где происходят бега.

он ждал очередного вечера или когда вспоминал о нем. Сами вечера были для него пыткой. Боязнь неправильно употребить какое-нибудь слово и смущение, которое он всегда испытывал на людях, настолько выхолащивали его речь, что превращали ее в набор мертворожденных истин. Когда ему приходилось говорить, он ограничивался самыми общими замечаниями о политике, о погоде, о дамских туалетах и о делах; когда можно было молчать — поддерживал интерес собеседника с помощью всех этих «Правда?», «Ну, не скажите», «Да, да, очень интересно», к которым постоянно прибегают так называемые «хорошие слушатели».

И все-таки это была вершина его карьеры, и он это знал. И был несчастен, чему сначала никак не мог поверить, а потом не переставал удивляться. Он все больше и больше цеплялся за те несколько вечерних часов, которые мы проводили вместе, делясь воспоминаниями о прежнем недостойном времени.

— Вы знаете, Маргарет, — говорил он, — как это ни странно, вы единственный человек, с которым мне хорошо.

Он объяснял эту странность тем, что со мной он мог быть «самим собой», хотя дело было не только в этом. Он дорожил мной потому, что я была единственным человеком, который знал, и это было главное. В моем сознании — так же, как и в его, — постоянно присутствовали два мистера Шира: бледный, с потным лбом мистер Шир прошлого и блистательный мистер Шир настоящего. И только благодаря мне эти два совершенно непохожие друг на друга человека существовали как нечто реальное. В истории его восхождения было одно обстоятельство, которое стало для него источником постоянных огорчений, — невозможность рассказать эту историю. Прежний мистер Шир не имел права показываться на людях, и его новым друзьям оставалось предположить, что теперешний мистер Шир появился в расцвете сил прямо из головы «Галерей Эрмитажа».

Больше того, если в горячке первых успехов, в самое счастливое время оба мистера Шира были в равной мере полны жизненных сил и энергии, то теперь, в обстановке будничной респектабельности, прежний мистер Шир медленно умирал. Мистер Хайд превратился в доктора Джекила, и нужны были какие-то сильнодействующие средства, чтобы вернуть его в первоначальное состояние. Воспоминания, которыми мы обменивались, были одним из этих средств. Мистер Шир перепробовал множество других.

Я уже говорила, что он часто бродил по галерее в неслужебное время. Когда-то он чувствовал себя в этих комнатах браконьером, теперь он пытался возродить это ощущение, копируя свое прежнее поведение. Но ни один полицейский, ни один последователь Шерлока Холмса ни разу не задержал его, в какое бы время ночи он ни явился, потому что теперь полицейские с Пяťдесят седьмой улицы знали, кто он такой, и почтительно здоровались с ним.

Другой попыткой вернуться к прошлому были постоянные переезды из гостиницы в гостиницу. Одну неделю он проводил в «Сент Реджисе», потом перебирался в «Готхэм», потом в «Уэйлин» и так далее, пока не доходил до фешенебельных гостиниц второго разряда, и тогда начинал сначала. Но это был лишь суррогат неуловимости, потому что теперь его секретарша всегда знала, где его найти. Положение преуспевающего человека делало это необходимым.

Точно так же, в память о прошлом, он пытался слегка украсить свою деловую жизнь мелким жульничеством. Ни о каких серьезных махинациях не могло быть и речи, потому что все счета проверял бухгалтер, и он же распоряжался деньгами. Но никто не мог помешать мистеру Ширу сочинять фантастические истории о вещах, которые он продавал, приписывать картину одной школы другой, ставить подписи там, где их не было, и спокойно выпускать из вида несущественные, по его мнению, различия между современными копиями и оригинальными произведениями мастера. Не говоря уже о том, что ему доставляло удовольствие разбалтывать служебные тайны и давать обещания, которые нельзя было выполнить. Будь его воля, каждая сделка превращалась бы в тайный сговор, так как он считал, что лучше выдать гобелен французской королевской мануфактуры за гобелен, изготовленный в Бовэ, даже если цена останется прежней. Однажды на моих глазах он убедил самого себя (первый необходимый шаг на пути к обману), что бронзовая статуэтка Дега принадлежит вовсе не Дега, а Родену.

Но его изворотливость в значительной мере была таким же подлогом, как и его неуловимость. Прежде всего потому, что она была ненужна: он достиг той стадии своей карьеры, когда мог продавать доверенные ему ценности в соответствии с их стоимостью. Кроме того, хотя его жульничество было опасно — а этого-то ему и хотелось, — и секретарша и компаньоны бдительно следили за тем, чтобы он не повредил себе. Они были всегда наготове:

— Мистер Шир ошибся. Ему приходится помнить о стольких вещах, сейчас мы исправим его оплошность.

Он находился в положении богатого kleптомана, за которым всегда следует кто-нибудь из родственников, чтобы немедленно превратить любую его кражу в покупку.

Чем дольше все это продолжалось, тем труднее становилось мистеру Ширу верить в свою двойную жизнь. Ему все еще казалось, что он может быть «самим собой», когда мы остаемся вдвоем, но и наши встречи все больше заполнялись разговорами о политике, о погоде, о модах и о делах, пока мистер Шир-отщепенец, с которым я обедала, не утратил последних черт, отличавших его от мистера Шира, которого можно было увидеть в галерее или на охотничьем завтраке где-нибудь в Нью-Джерси. И наконец, стало очевидно, что не мистер Шир обманул весь деловой мир, сумев использовать его в своих интересах, а деловой мир использовал мистера Шира, отбросив в нем то, что оказалось ненужным или вышло из моды. Он никого не перехитрил, как ему казалось вначале, наоборот, как-то незаметно получилось так, что перехитрили его.

Но мистер Шир по-прежнему воспринимал жизнь как маскарад. Преуспевание в своей собственной личине было ему так же тягостно, как тягостно некрасивой женщине подозрение, что ее любят ради нее самой. Исподволь, как будто нечаянно он начал готовить свою гибель. Больно было видеть, что даже в этом он полностью подчинился условностям мира деловых людей. Тот самый мистер Шир, который когда-то радостно искал опасности, пользуясь сотнями необычных обходных путей, сейчас уныло тащился по проторенной дороге, ведущей в пропасть благопристойного крушения.

Он завел роман с женой своего лучшего клиента, он играл на фондовой бирже. Но ни то, ни другое нисколько его не интересовало. Он даже не трудился просмотреть газету, чтобы узнать курс своих акций, или позвонить по телефону женщине, ради которой столько поставил на карту. Он ожил, только когда его надул маклер, а сам он случайно привел свою любовницу в дом мужа в вечернем платье, надетом наизнанку, только тогда к нему вернулся его прежний мрачный юмор, и он без конца рассказывал об этих двух неудачах.

Но в «Галереях Эрмитажа» видели его насквозь, и клиент, искавший повода разойтись с женой, охотно его простил. Никогда раньше я не видела мистера Шира таким унылым; он начал жаловаться на здоровье. По утрам к нему приходил

массажист, вечером он посещал гимнастический зал; он следил за своим обменом веществ и регулярно делал анализ мочи и анализ крови, принимал тонизирующие средства, чтобы взбодриться, и бромистые препараты, чтобы успокоиться, и, несмотря на это, все время чувствовал ничем не объяснимую усталость. В прошлом году ему удалили аппендикс и зубы; операция не избавила его от постоянного чувства утомления, но внушила ему глубокое уважение к скальпелю.

Недавно я провожала его в больницу; ему должны были вырезать желчный пузырь.

— Вы знаете, Маргарет, это очень опасная операция, я могу и умереть, — сказал он. И впервые за долгое время радостно хихикнул.

СОДЕРЖАНИЕ

Вьетнам	6
Мэри Маккарти и увиденный ею Вьетнам.	
И. Щедров ,	7
Внутренняя политика	11
Жертвы успеха	30
Идеологи	49
 Онинь холодным взглядом	 74
Рассказы Мэри Маккарти. Ю. Родман	75
Вон тот человечек, кто он?	79
Жестяная бабочка	94
Негодяй	118
Д.О.Б.	127
Сорняки	136
Друг дома	160
Жестокое и бесчеловечное обращен	186
Ловкач	199

Маккарти Мэри

ОКИНЬ ХОЛОДНЫМ ВЗГЛЯДОМ. Пер.
М., «Молодая гвардия», 1970.
240 с., с илл.

И (Амер)

Редактор **Л. Беспалова**
Художественный редактор **А. Степанова**
Технический редактор **Е. Брауде**
Корректоры **Г. Киселева, Г. Василёва**

Сдано в набор 4/IV 1970 г. Подписано к печати
28/VIII 1970 г. Формат 84×108^{1/32}. Бумага № 2.
Печ. л. 7,5 (усл. 12,6). Уч.-изд. л. 14,5.
Тираж 100 000 экз. Цена 88 коп. Т. П. 1969 г.,
№ 438. Заказ 653.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая
гвардия», Москва, А-30, Суцеская, 21.

88 коп.



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ